ISSN 0130-6545

ИЛ ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2015
5

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

“Я В БЕРЛИНЕ. СИДОРОВ”

“ЯЗЫКИ КОЛИБРИ” В РУБРИКЕ “МИКРОРАССКАЗ”

ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ: “ГЕНРИ МИЛЛЕР”

Основан в 1955 году

“ИЛ” *до конца 2015 года*

Последний роман французского писателя, лауреата Нобелевской премии, ПАТРИКА МОДИАНО **“Ночная трава”.**

В 2015 году гостем “Иностранной литературы” впервые будет знаменитый американский еженедельный журнал **“Нью-Йоркер”**. В специальном номере мы предполагаем напечатать рассказы, стихи, документальную прозу, критику и публицистику “Нью-Йоркера” последних лет.

Номер, посвященный литературе Португалии, открывается дебютным романом известного португальского писателя АНТОНИУ ЛОБУ АНТУНЕША **“Слоновья память”**. Эта автобиографичная проза – художественный протокол тройной травмы. Ее боль и тоску пытается преодолеть силой воспоминаний главный герой, врач-психиатр, вернувшийся с колониальной бойни в Анголе, расставшийся с любимой женой и вынужденный приспосабливаться к несвободе и лжи обыденной жизни при диктатуре.

В том же номере публикуются фрагменты самого значительного, существующего уже на многих языках сочинения ФЕРНАНДО ПЕССОА, романа-эссе “Книга неуспокоенности”, которые сопровождаются сонетами поэта из цикла **“Крестный путь”.**

Эссеистика одного из крупнейших испанских писателей ХАВЬЕРА МАРИАСА.

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР, МАРТИН ВАЛЬЗЕР, ПЕТЕР СЛОТЕРДАЙК, ХАНС-УЛЬРИХ ТРАЙХЕЛЬ и другие интеллектуалы – в Литературном гиде **“Немецкая эссеистика сегодня”**. Вот некоторые темы их эссе: “обитатели европейского континента и их брюссельские опекуны», “массовое производство идиотизма», “радости и горести бездетности», “неистребимая живучесть поэзии» и “есть ли запасной выход у космического корабля Земля?”

Роман гватемальского писателя ЛУИСА ДЕ ЛИОНА **“Время начинается в Шибальбе”** воссоздает жизнь индейского селения, где повседневность пронизана древней символикой, а мир людей не отделен от подземного царства мстительных богов. Опубликованный посмертно и ставший памятником новейшей латиноамериканской словесности, роман писателя, бессудно казненного в ходе гражданской войны, заставляет вспомнить новаторскую лирику Сесара Вальехо и мифопоэтическую прозу Хуана Рульфо.

Дебютный роман классика английской литературы XX века МЮРИЭЛ СПАРК **“Утешители”**.

В рубрике “Переперевод” читатель познакомится с новым переводом - и трактовкой – поэмы **“Литтл Гиддинг”**, крупнейшего англо-американского поэта-модерниста XX века ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА.

В романе классика австрийской литературы XX в. ЙОЗЕФА РОТА **“Исповедь одного убийцы”** завсегдатай русского ресторана в Париже рассказывает, как он стал убийцей. Впрочем, имя героя – Семен Семенович Голубчик – не очень вяжется с образом заправского злодея, да и само убийство оказывается не настоящим.

[5]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Литературный гид:
“Я в Берлине. Сидоров”

3 Аюкава Нобуо *Фронтовая модернистская лирика о Второй мировой войне.* Перевод с японского и комментарии Артема Третьякова и Марии Третьяковой

16 Витторио Серени *Афинская девушка.* Стихотворение. Перевод с итальянского и вступление Петра Епифанова

22 Генрик Ворцель *Вотан уедет на поезде.* Рассказ. Перевод с польского К. Старосельской

35 Дариуш Томаш Лебёда *Могила немецких солдат, найденная в городе Бромберг* Стихотворение. Перевод с польского Владимира Штокмана

37 Янош Хаи *Дедовы сказки.* Глава из книги “Выбраться к солнцу”. Перевод с венгерского и вступление Юрия Гусева

41 Примо Леви *Стихи* из книги “В нежданный час”. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

46 *Фронтовые репортажи журналистов Би-би-си (1944–1945).* Фрагменты книги. Перевод с английского Татьяны Ребиндер

NB

78 Гаспаре Дори *Алмазы.* Драма в двух действиях. Перевод с итальянского и вступление Валерия Николаева

Микрорассказ

115 *Языки колибри.* Из антологии испанских и латиноамериканских микрорассказов. Переводы с испанского

Из будущей книги

127 Александр Ливергант *Генри Миллер.* Главы из биографии

177 Генри Миллер *Два эссе.* Перевод с английского Елены Калявиной

Литературное наследие

191 Мадам де Севинье *“В Вашем дружестве – вся моя душа, вся моя жизнь”.* Из писем к дочери. Перевод с французского, вступление и примечания С. Райского

Писатель путешествует

254 Григорий Стариковский *Мир Кристины*

БиблиофИЛ

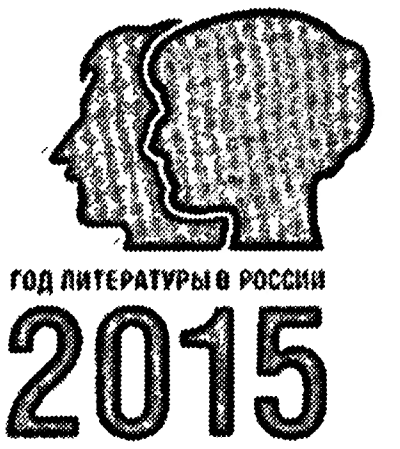
270 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

Авторы номера

280

© “Иностранная литература”, 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

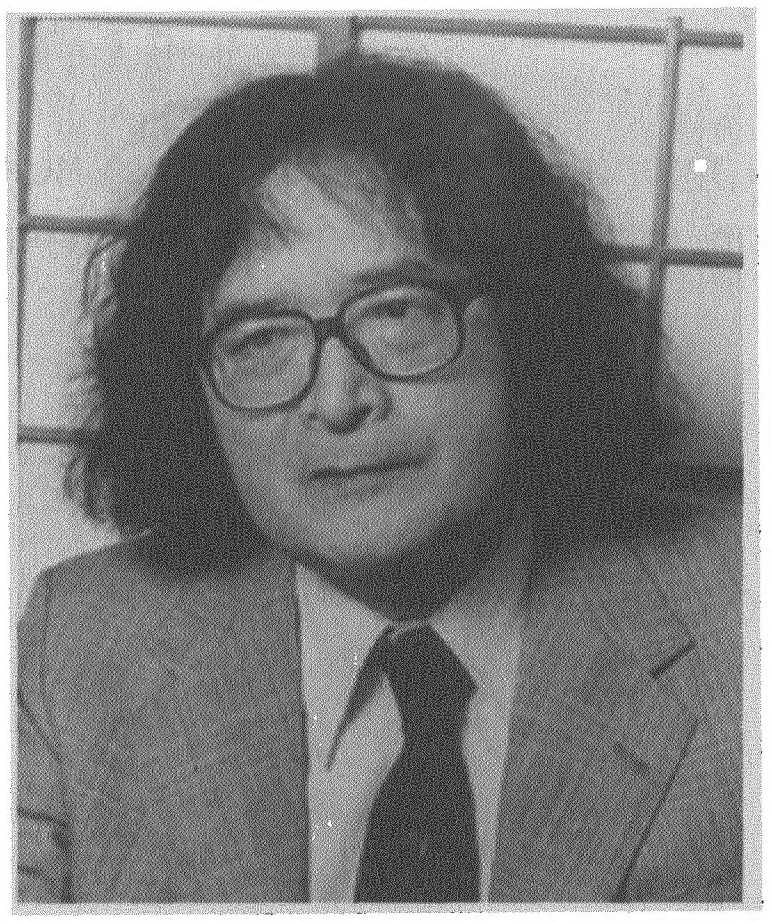
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Аюкава Нобуо



Фронтовая модернистская лирика о Второй мировой войне

Перевод с японского и комментарии
Артема Третьякова и Марии Третьяковой

Аюкава Нобуо, один из основателей поэтической группы “Арэти” (“Пустошь”, 1947 — середина 1960-х гг.), вошел в японскую литературу не только как талантливый критик, но и как один из крупнейших представителей фронтовой модернистской поэзии о Второй мировой войне. Опираясь на традиции орнаментальной полифонической поэтики Т. С. Элиота, Аюкава Нобуо сформировал свой самобытный художественный стиль, для которого были характерны акцент на логическую (а не ассоциативную) связь между образами, острый драматизм, гражданская проблематика и поиск новых ценностей в условиях послевоенного духовного кризиса и становления в Японии демократического общества. Творчество Аюкавы Нобуо и поэтической группы “Арэти” оказало существенное влияние на развитие лирики послевоенного периода (гэндайси) и не теряет своей актуальности в современном мире японского литературоведения (эссе Торю Китагавы и др.).

© Артем Третьяков, Мария Третьякова. Перевод, комментарии, 2015

Для русскоязычного читателя поэзия Аюкавы Нобуо представляет особую ценность, поскольку в русской литературе о Второй мировой войне фронтовая модернистская лирика — явление редкое и малоизученное (избранные стихи Б. Пастернака, С. Липкина, Д. Самойлова, И. Дегена и др.).

Приведенные ниже стихи Аюкавы публикуются вместе с комментарием Ооки Макото и Таникавы Сюнтаро, поэтов-современников Аюкавы Нобуо.

черты лица

за дверьми
стая тихого пламени
разрушает форму вещей.
звук воды, что течет под землей,
питает вздрагивающие корни.
по другую сторону дверей —
потайной ящик,
укрывающий человека.

гибче, чем тело,
быстрее, чем зверь или птица,
приходит ночь отовсюду.
из узкой щели в дверях
кто-то смотрел
на далекое серое небо,
меркнул свет, везде проникающий,
не знающий границ.

если притвориться, что спишь,
то приходит только ветер
и расчесывает тебе волосы.

глаза живых существ, что вглядываются во всё...
как малы эти глаза в моих воспоминаниях,
светящих ярче, чем горящая лампа.

1940

Стихотворение “черты лица” было опубликовано в 1940 году. Как отмечают Оока Макото и Таникава Сюнтаро, произведение относится к раннему творчеству Аюкавы, однако не уступает послевоенной лирике автора. “Этому произведению, вероятно, можно отвести особое место в творчест-

ве Аюкавы, поскольку для этого стихотворения характерно по-юношески острое и тонкое восприятие мира. Кроме того, как произведение своего времени, оно отражает специфический лиризм милитаристской эпохи", — считают комментаторы.

буй вдалеке

унылый буй
стучит о волны:
“прощай, несчастная пехота!”
нет демона еще такого,
что разлучит нас с этим буем,
с опустошением
и болью.
так, в памяти моей,
в далеком порте
всегда всплывает буй.

буй не утонет,
но для черта
везде найдется пехотинец...

смерть стала для меня далекой.
пока так будет,
мы не встретимся второй раз,
унылый буй.

1952–1954

Оока Макото и Таникава Сюнтаро пишут следующее: “Аюкава Нобуо поступил на военную службу в октябре 1942 года. Хотя к тому моменту он уже числился в университете Васэда на факультете английской литературы, писатель не смог продолжать обучение из-за нехватки военных кадров и был вынужден на три года оставить университет. Не имея высшего образования, Аюкава не смог получить звание офицера. Писатель был направлен в наземные войска, в так называемую пехоту второго ранга императорской армии. В апреле 1943 года <...> Аюкава Нобуо прибыл на остров Суматра, но в мае 1944-го из-за болезни был вынужден вернуться в Японию. Возвращение на госпитальном судне, по-видимому, произвело сильное впечатление на Аюкаву, и образ госпитального корабля стал центральным для целого ряда произведений поэта.

<...> Образ буя возникает в памяти лирического героя как нечто неотступное, чего ‘не отнять даже черту’, поэтому автор называет буй ‘унылым’. Что же касается образа ‘несчастного пехотинца’ — скорее всего, это сам

Аюкава. Поскольку буй — шрам войны в душе лирического героя, этот образ не угасает в его памяти".

божественный пехотинец

1

павший воин останется жить
в Позолоченной Книге[1],
но плоть его не воскреснет.

пехотинец идет
умирать, умирает еще один раз,
кто из нас
хоть в одной той атаке
не сгинет,
вернется домой?

мы идем,
нам не тронуть уже
фронтовых —
гробовых —
неразменных зарплат.
мы уйдем,
и не взять нам с собой
Золотые Пустые Слова —
договор от богов о спасении нас на ненужной войне.

пехотинец идет
умирать, умирает еще один раз,
кто из нас
хоть в одной той атаке
не сгинет
и уцелеет?..
в море,
на разбросанных островах
формируется цепь
столетий.

Золотые Пустые Слова — гонорар,
что не взять с собой после смерти.

1. Имеется в виду Библия. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2

в мае 1944 года, ночью,
я видел умирающего солдата.
он лежал на деревянной полке
еще живой
и мучился от лихорадки.
объятый пламенем бледной памяти,
он все плакал по матери, сестре, возлюбленной.
между ним и мной
лежала непреодолимая граница.
было видно, как он корчится
в тени блеклого света,
в колышущихся огнях дня и ночи.

госпитальное судно плыло в Восточно-Китайском
море.

он умирал,
проклиная войну,
отвергая гонорар, обещанный нам всеми богами,
отвергал, чтобы умереть навеки.

(человечность-человечность...
этот прекрасный солдат
уже не воскреснет.)

а где-то в далекой стране
его святая смерть
теперь сокрыта в книге с золотой каймой...
над книгой низкий голос и
мягкая женская рука.

1952–1954

Приведем комментарий Ооки Макото и Таникавы Сюнтаро: "Погибнут солдаты или вернутся из боя живыми, зависит лишь от того, верят ли они своим богам, верят ли в их 'божественный гонорар'". Речь идет о своеобразном негласном договоре между богами и людьми, согласно которому в обмен на почести богам божества обязуются защищать людей, а также обещают посмертную жизнь в раю. В стихотворении умирающий пехотинец проклинает войну и отказывается от "гонорара, обещанного богами", то есть не воздает им почести и поэтому вынужден "умереть навеки". Тем не менее, согласно Ооке Макото и Таникаве Сюнтаро, сцена мучительной смерти пехотинца "прекрасна с религиозной точки зрения", поскольку "отрекшись от бессмертия, солдат принес себя в жертву во имя 'человечности'".

больничная каюта

госпитальное судно
(то пустое, то снова тяжелое)
плывет в неизвестную родину.
“магнитная стрелка ведет нас”, –
говорит капитан.
но куда?
там не Европа, там больше не Азия —
эфемерные острова.
а за толстым стеклом иллюминатора —
только маленькое круглое море.

“цвет лица того раненого...”
“желтизна” азиатов теперь —
не то приговор, не то медицинский диагноз.
желтизна пристает к лицу, как судьба, что дана...
о, моя с желтоватым лицом больная страна!
посмотри —
там, вверху только желтое солнце.

к четырем пополудни загорается море, кипит.
снова спуск...
затем не к добру растущий изгиб —
в пузырях атакующих волн еще шевелится “банзай!”,
а в постелях их все полощет каким-то вином,
но вино отдает человечиной...
больные уже обманывают богов,
подражая умершим.
так тихо, тихо...
потом размыкаются веки,
радужка застилается мутью,
отрешенный человек надевает маску смерти.
тень... идет неразлучно, всю жизнь, тянет лапы...
теперь везде этот желтый и теплый запах.

в темноте, похоже, нет нигде двери.
судорожно пытаюсь нащупать ручку.
если и прежде лилось столько крови,
то хорошо бы людям превратиться в трубы.
“там кто-то подсматривает”.
в замочной скважине — глаз
и молчание, заслоненное всей шириной двери.
по груди расползается тяжесть.
горячими глазами я ищу выход,
переглядываюсь с замочной скважиной.

— Послушайте,
море,
мама,
дайте мне убежать!
в темноте только дверь без ручки
и маленькая замочная скважина.

1942–1951

Как отмечают Оока Макото и Таникава Сюнтаро, образ госпитального судна в этом стихотворении служит метафорой души самого автора. Образ раненого солдата на судне также метафоричен, поскольку это символ больной Японии. Так, желтый цвет кожи солдата в стихотворении — и знак болезни, и знак этнической принадлежности, то есть, согласно логике автора, признак "больного народа". Затем появляются строки о том, что люди "обманывают богов, подражая умершим". Речь идет о том, что японцы пытаются, но не могут избавиться от своей желтой кожи, то есть уйти от своей несчастной судьбы, "запаха" (в буквальном переводе "рокового нечистого духа"). В последней строфе возникает образ Японии как трубы, из которой бесконечно выливается кровь. Что же касается глаза, который, не моргая, смотрит в замочную скважину, Оока М. и Таникава С. не дают однозначного ответа, оставляя его на усмотрение читателя.

выход из порта

было тихое утро,
когда в одиночку я порвал все узы,
и корабли выходили в море.
прекрасное утро.
мы стояли на палубе —
я и мой новый друг, — взявшись за руки.
а пальмовый лес в зеленой пене
провожал нас грустными глазами чаек,
провожал тех, кто скрылся из виду.
(не могу вспомнить, как тебя звали, приятель.)
в море
дни и месяцы проносятся быстро,
быстрей, чем это казалось сначала.
(что происходило в тот год, я тоже не помню.)

митамаэ[1].

1. Митамаэ — синтоистский ритуал поминовения умерших.

не знаю,
когда на ветру
мы обрели удивительно легкие крылья!

не помня ни дня, ни ночи,
мы в большом пустующем небе
искали какой-то остров...
а нос корабля,
что увешан смешными кругами,
смотрит теперь только на Южный Крест
и все ходит по кругу.

<1952–1954>

Приведем комментарий Ооки Макото и Таникавы Сюнтаро: “На первый взгляд, в произведении ‘Выход из порта’ нет того тягостного ощущения, которое характерно для цикла стихотворений о госпитальном судне. <...> Однако это относится лишь к воспоминанию [лирического героя] о том моменте, когда госпитальное судно выходило из порта. В то ‘прекрасное утро’, когда герой Аюкавы обрел “легкие крылья”, госпитальное судно вышло из порта и, нигде не останавливаясь, отправилось искать остров призрачной ‘страны предков’. Теперь судно обречено ходить по кругу под звездами Южного Креста. И здесь, соединившись с душами умерших, лирический герой в безысходности думает о том, что в этом месте нет ничего, кроме моря и неба. Отметим, что этот момент в стихотворении показан очень удачно. <...> Читая его, нельзя не вспомнить слова Аюкавы о поэзии, написанные им сразу после войны: ‘О том, что мы [современные японцы] владеем страной наших предков, говорить преждевременно’ (из статьи ‘Что такое современная поэзия?’, 1954)”.

умерший мужчина

...например, из тумана и разных звуков,
шагов на лестнице
появляется распорядитель завещания,
с отсутствующим видом.
это и есть начало всего.
вчера уже далеко...
мы на стульях в темном баре,
не знаем, куда девать искаженные лица.
словно почтовый конверт, вывернутый наизнанку.
“это правда? нет ни образа, ни формы?” —
если представить себе смерть, то, пожалуй, все было
именно так.

знаешь, М., в лезвии бритвы до сих пор видно
вчерашнее голубое равнодушное небо.
но не вспомнить, когда и в каком месте
я потерял тебя из виду.
КОРОТКОЕ ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ —
тебе дали его под залог,
который теперь ты вернул богам, в их божественную
казну.
“да, это наш старый чек”, — бубнит распорядитель.

всегда была осень,
и вчера, и сейчас.
“опадают тоскливые листья”, —
этот голос идет к человеку, по улице,
идет путем черного корабля.

в день похорон нет слов,
и некого встретить.
горечи и гневу, недовольству
нет нигде места.
подняв глаза к небу,
засунув ноги в тяжелые ботинки,
ты тихо лег на бок:
“прощай.
нельзя больше верить
ни в солнце, ни в море”.
скажи,
твоя грудь болит до сих пор?
ответь мне,
ответь
мне,
М., уснувший в земле.

1942–1947

Впервые стихотворение “Умерший мужчина” было опубликовано в журнале “Дзунсуй-си” (“Чистая поэзия”), в февральском номере 1947 года. Однако широкой публике оно стало известно благодаря антологии “Сборник стихов ‘Арэти’ 1951 года”, куда были включены наряду с другими произведениями — “Америка”, “Утренняя песня отеля ‘Кэйсэн’”, “Человек на мосту”.

Приведем комментарий Ооки М. и Таникавы С.: “Произведение ‘Умерший мужчина’ — не только характерный пример творчества Аюкавы начала послевоенного периода, но и памятник всей послевоенной японской поэзии. <...> Война унесла жизни огромного количества людей, в том числе жизнь близкого друга Аюкавы Нобуо, поэта Морикавы Ёсинобу (1918—1942), чье творчество оказало влияние на Аюкаву. Морикава умер от бо-

лезни на фронте в Бирме в августе 1942 года, за два месяца до поступления Аюкавы на военную службу. В стихотворении есть обращение “М.”, Морикава, но автор оставляет лишь инициал. И это делает обращение Аюкавы универсальным, адресуя его всем погибшим в то время.

Упоминаемые в первой строфе ‘туман’ и ‘лестница’ — слова, часто встречающиеся в творчестве Морикавы Ёсинобу. Слова эти, сопровождая возникающий из пустоты образ распорядителя завещания, указывают и на личность умершего. <...> Далее в стихотворении говорится о КОРОТКОМ ‘ЗОЛОТОМ’ ВРЕМЕНИ, когда умерший “М.” был еще жив. <...> В последней строфе (‘горечи и гневу, недовольству / нет нигде места... / засунув ноги в тяжелые ботинки, / ты тихо лег на бок’) возникает картина позорной смерти М.”. Смерть в данном случае названа “позорной” потому, что Морикава умер от болезни, а не на поле боя.

“‘Прощай. Нельзя больше верить ни в солнце, ни в море’, — эти слова, произносимые распорядителем завещания, следует понимать как скрытое послание умершего”, — пишут Оока М. и Таникава С.

Возможно, Аюкава здесь снова говорит о “божественном гонораре”. На наш взгляд, данный фрагмент близок к поэтике Т. С. Элиота (традиция “Улисса” Дж. Джойса), поскольку Аюкава не разграничивает тут голос умершего и голос распорядителя.

америка

(фрагменты поэмы)

1

это было осенью сорок второго года.

“ну, будь здоров!
наверное, не свидимся больше.
останемся мы живы или нет,
виды наши на будущее плохи,
и впереди только темнота”.

так, подшучивая над собой,
в неуклюже сидящей на нас форме,
с нелепыми ружьями,
мы уходили из ночного квартала по одному
и гасли, как огоньки.
старики, напоминавшие искусственные цветы,
не скупились на похвалы для нас,
идущих в самые опасные места на земле.
предчувствие было сухим, как ожидание грозы.

а потом гроза принесла ветер и капли смерти.
смерть шлепала нас по головам,
и мы гасли один за другим, по очереди.

послушай, М.,
ты сдержал обещание,
ушел в темноту,
оставив после себя только
запах медикаментов и тяжелые ботинки.

пламя и пепел забрали тебя целиком,
почему же печаль
твоего застывшего лица
не покидает нас, не тронутых смертью?
искусственные цветы.

2

“этот город пересекает мутная река.
лодки замерли у берега, словно задумались...

а помнишь, как долго мы гуляли там,
как глядели по сторонам
то мокрыми, то сухими глазами?
как собака на мосту свернулась в кружок...”
навсегда расстаемся с тобой, дружок,
уходя, оставайся с нами.

помню, блуждая по желудку города, ты ворчал:
“а здесь какая наука, философия?
а здесь какой ритм, цвет?
а здесь такая возможность или невозможность...”
ветер нам на это не сказал ничего.

и когда сегодня я стою на мосту,
я не помню,
где нахожусь,
и стыну от холодного ветра.

1947

Согласно комментарию Ооки Макото и Таникавы Сюнтаро, время, указанное в первой строке — осень сорок второго года — соотносится со временем, когда Аюкава был призван в армию. В следующих строках, помещенных в кавычки, приводятся заключительные слова из романа

"Волшебная гора" Томаса Манна: "...останемся мы живы или нет, / виды наши на будущее плохи"[1].

Почему Аюкава использует именно эти слова, становится ясно из его "Военных заметок": "Перед тем как я поступил на военную службу, я узнал о смерти на войне в Бирме моего уважаемого друга из 'Арэти' — Морикавы. <...> Я вспомнил его слова из последнего, адресованного мне, письма, которое он написал перед отправкой во Французский Индокитай: 'Когда подумаешь обо мне, прочти последнюю страницу *Волшебной горы*. Останусь ли я жив или нет — виды мои на будущее плохи'"[2].

Как считают Оока М. и Таникава С., эти строки, цитирующие Т. Манна, не только свидетельствуют о том, что за инициалом "М" скрыто имя Морикавы Ёсинобу, но и отражают настроения послевоенной Японии. Кроме того, уже накануне войны у многих японцев возникло "предчувствие мрачного послевоенного времени и, естественно, они не могли одобрить войну". Отсюда проникнутые иронией следующие строки Аюкавы: "Так, подшучивая над собой, / в неуклюже сидящей на нас форме, / с нелепыми ружьями, / мы уходили из ночного квартала по одному / и гасли как огоньки".

Поэма "Америка" содержит фрагменты произведений разных авторов (Томаса Манна, Франца Кафки, Ёсинобу Морикавы, Поля Валери) и "вероятно, опирается на слова еще большего количества людей". Как иронично заметил сам Аюкава: "В этом произведении достаточно много плагиата". Разумеется, он имел в виду чужое слово, цитаты и, возможно, поэтическую традицию Т. С. Элиота.

о смерти

в детстве решил: "вот ведь страшная жизнь!
если скажет мама 'давай умрем',
я кивну,
потому что жизнь — страшная, а смерть — легкая".

пришла юность, но с ней пришли и тяготы жизни,
а смерти теперь ты ждешь в страхе и смятении.
мир, все люди тебе отвратительны,
и между "жизнью" и "смертью" стоит знак равенства.

но после приходит зрелость
и с ней немного комфорта.
смерть становится очень простым фактом,
потому что теперь ты мужчина с жидкими волосами.

1. Перевод на русский язык В. А. Зоргенфрея.
2. В переводе "Волшебной горы" на японский язык конец этой фразы звучит так: "впереди темнота".

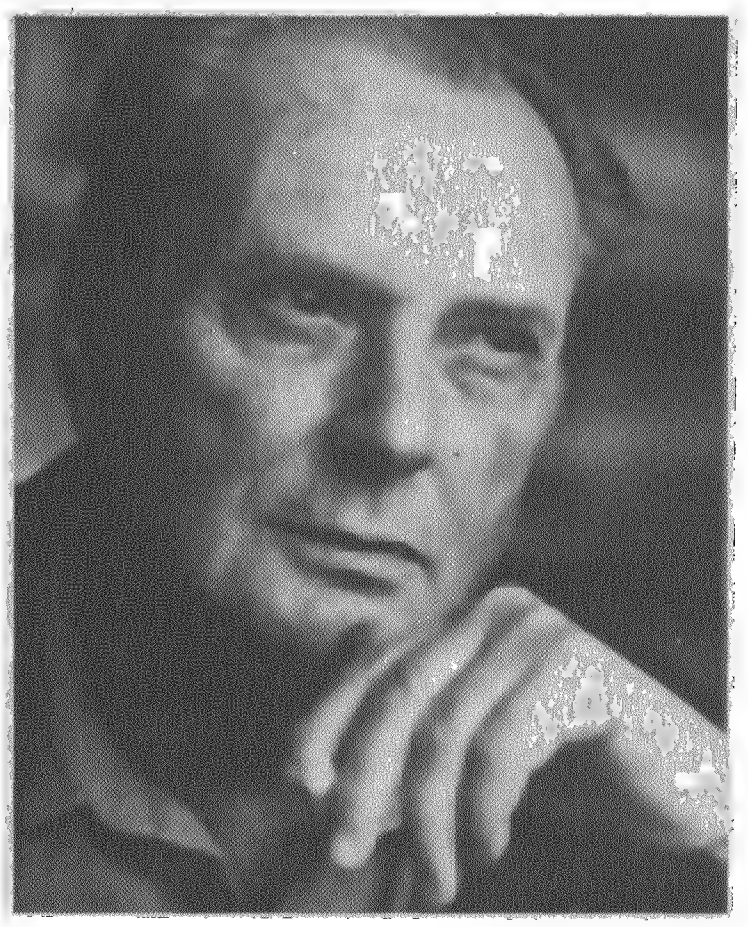
смерть не тревожит,
ты как бы боксер с лишним весом, которого сняли с
ринга.
потом приходит молодежь, разгоняет запах смерти,
и ты похлопываешь по плечу: “ну-ну, привет...”

теперь я не жалею о смерти.
перестал тревожиться о жизни.
но и в том, и в другом случае это ошибка.
вот вам урок смерти: насвистывая,
ты останешься боксировать только с тенью.

1973–1978

Оока Макото и Таникава Сюнтаро пишут: “Стихотворение ‘О смерти’ посвящено тому, как меняется понимание Аюкавой смерти в разные периоды его жизни. Произведение интересно тем, что искусная самокритика здесь сменяется юмором”.

Витторио Серени



Афинская девушка

Стихотворение

Перевод с итальянского и вступление Петра Епифанова

Диалог сквозь войну и смерть

Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
О. Мандельштам, 1937

И мировосприятие, и художественный язык Витторио Серени сложились задолго до первых поэтических опытов, в раннем детстве, а развивались — памятью о нем. Отец Витторио служил начальником таможни на приграничной железнодорожной станции. Луино, городок у отрогов Альп, на берегах узкого северного рукава Лаго Маджоре, — железнодорожные ворота Италии для стран Центральной и Северной Европы. На вагонах поездов, изо дня в день в определенные часы проходивших через Луино, читались названия более чем половины европейских столиц. Такие скромные предметы, как сетка расписания и стрелка вокзальных часов, имели волшебную власть соединять ритмы детской жизни, воображения, игр, снов и мечтаний Витторио с ритмами далеких блестящих городов. Мальчику из семьи, условно говоря, "станцион-

© Arnoldo Mondadori ed. 1965
© Петр Епифанов. Перевод, вступление, 2015

ного смотрителя", кажется, было предопределено иметь особые отношения с пространством и временем. Именно из полусознательного детского опыта он вынесет то острое и индивидуальное чувство вовлеченности в историческое пространство и время Европы, которое на всю жизнь останется характерной, отличительной чертой его поэзии.

Важным этапом в интеллектуальном и эстетическом развитии Серени явилось обучение на философском факультете Миланского университета, в семинаре по эстетике профессора Антонио Банфи. Этот семинар в 1930-е годы оставался одним из немногих непогашенных очагов свободной мысли в Италии. После войны ученики Банфи встали в первом ряду гуманитарных деятелей страны: философы, социологи, писатели, литературные критики, публицисты, педагоги. Крепкие связи среди "банфиан" (в истории итальянского XX века это слово является термином) позволили Серени сделать успешную карьеру — в течение многих лет он являлся главным литературным редактором крупнейшего издательства "Мондадори".

Одно из значительных обстоятельств "банфианского" периода жизни Серени — дружба с соученицей по семинару, поэтессой Антонией Поцци. Если Витторио видел в творчестве, помимо прочего, способ обрести место в обществе, то для Антонии поэзия была сокровенным служением, "исповеданием", реализацией особой религии как связи, единства всего со всем. Поэзии, по ее мысли, подобало собирать и возвращать все явления природы и культуры, будущего (в мистически ощущаемом ею призвании материнства) и прошлого (умерших) к единому исконному животворящему лону.

Витторио и Антонию не связывало любовное чувство: у него была возлюбленная, которой предстояло стать его женой, матерью его детей. Но дружба между обоими была весьма интенсивной и горячей. Во всяком случае, так видится из писем Антонии.

"Ты для меня вот что: существо другого пола настолько близкое, что мне кажется, что у меня в венах течет та же кровь, человек, которому можешь смотреть в глаза без смущения, который не стоит над тобой или перед тобой, а рядом, и идет вместе с тобой, по той же равнине" (*20 июня 1935*).

"Я вижу, что могу сказать тебе все — как самой себе, только той, которая лучше и светлее меня" (*16 августа 1935*).

"Плакала над твоими стихами — лучше сказать: над тем, что мне дали почувствовать твои стихи, по сравнению с неисцелимой поверхностностью всех остальных моих отношений с людьми" (там же).

Активно общаясь с известными поэтами старшего возраста (К. Бетокки, С. Квазимодо, Л. Синисгалли, А. Гатто), Серени был не связан ни с кем из них подобным творческим и человеческим союзом. Сравнение стихов его и Антонии 1935—1938 годов обнаруживает многие переклички, вплоть до взаимного цитирования.

Яркой отличительной чертой раннего Серени было переживание зыбкости мира и европейской цивилизации, ускорения исторических часов, предчувствие близкой войны. Подробное ощущение, нарастая до отчаянно-

Витторио Серени. Афинская девушка

го, катастрофического, возникает и в стихах Антонии. Оба, каждый по-своему, чувствуют и передают приближение роковой грани.

За несколько месяцев до своей смерти Антония отдала Витторио записи своих стихов последних лет. Возможно, он увидел в этом знак принятого решения: мысль о самоубийстве не оставляла Антонию уже давно. Вскоре им было написано стихотворение “Диана”, обращенное к скрытой под вымышленным именем женщине, или добровольно ушедшей из жизни, или готовящейся уйти. Не беремся уверенно судить, какова связь между именем Дианы, девственной богини-охотницы, и Антонией, девственницей, спортсменкой, участницей конных охот своего отца. Копию этого стихотворения, сделанную рукой Антонии, нашли при ее бесчувственном теле в день самоубийства, 2 декабря 1938 года. Внизу было приписано: “Прощай, Витторио, дорогой, — мой дорогой брат! Вспоминай меня вместе с Марией[1]”.

Трагедия в каком-то смысле закрепила их связь. Антония стала внутренним собеседником поэта. Серени будет отзываться на голос подруги еще спустя два десятилетия после ее смерти.

Серени призвали на военную службу сразу после свадьбы, в июле 1939-го, в 1940-м он вернулся домой, а через год, осенью 1941-го, был повторно мобилизован буквально от колыбели новорожденной дочери. Время с августа по ноябрь 1942-го Серени вместе со своей пехотной дивизией провел в Греции, ожидая отправки в Северную Африку. Поражение под Эль-Аламейном обрушило эти планы, дивизию перебросили обратно: теперь флот и войска союзников грозили самой Италии. В июле 1943-го — за два дня до падения Муссолини — лейтенант Серени был взят в плен американцами близ Трапани (Сицилия); два тягостных года прошли в лагерях Алжира и Марокко. Серени никогда не разделял агрессивно-имперского пафоса фашизма. Войну он принял как закономерную судьбу заблуждавшейся нации. Вместе с нею ему довелось пройти сквозь свое “чистилище”. В молчании пустыни, в стороне от решающих событий войны, поэт, тем не менее, не выпадает из истории. Чувство истории в его алжирских стихах только сгущается. И, как в самых первых опытах, в них снова присутствуют детские спутники Витторио — сетка расписания и часовая стрелка.

Не знают, что они мертвы,
мертвые вроде нас,
не знают покоя.
Они повторяют упрямо жизнь,
находят слова поддержки,
читают в небе вечные знаки.
Вертится серый алжирский круг
в мелкой сетке недель и месяцев,
но упирается стрелкой в одно названье: ОРАН[2].

1. Мария-Луиза Бонфанти — невеста Серени, переводчица английской прозы.
2. Перевод Евгения Солоновича.

Через порт Оран пленные после освобождения могли добраться до родных мест.

В 1947-м выйдет сборник военных стихов Серени под общим заглавием "Алжирский дневник". Книга сделает его поэтом не только знаменитым, но действительно нужным своему поколению в момент отрезвления от имперско-милитаристского самообмана.

Первую часть сборника составляет цикл "Афинская девушка". Содержание стихотворения, давшего название всему циклу, не предполагает ни любовного романа, ни даже просто знакомства с его центральным персонажем. Но, вызывая в поэте волну глубоких, далеко не только личных переживаний, "афинская девушка" становится одним из ярких образов мистической посвятительницы, проводницы в странствиях поэта, в каком-то смысле приближаясь к центральным женским образам двух столпов итальянской поэзии — Вергилия и Данте.

Вся ранняя поэзия Серени содержит постоянную отсылку к Европе, не только как к родному для Серени культурному миру, но и как к живому существу. В стихотворении "Итальянец в Греции" (август 1942[1]) мы прочитываем важное обращение: "Europa, Europa che mi guardi... Европа, Европа, которая смотришь на меня..." Эта строка моментально вызывает в памяти слова Антонии Поцци: "Poesia... Poesia che mi guardi... Поэзия... Поэзия, которая смотришь на меня..."

Поэзия для Антонии неразделимо соединяется с совестью. Функцию совести, некой твердой моральной опоры, имеет и образ Европы у Серени. Серени видит в Европе проявление того же божественного творческого принципа, который чтит Антония. Оба поэта идут рядом, как писала Антония семью годами раньше.

Греция была близка Антонии во многих смыслах. С семнадцати лет всю ее судьбу определила ее первая и последняя любовь — любовь к Антонио М. Черви, филологу-грецисту, преданному поклоннику Афин эпохи Платона и Перикла. В силу того же чувства древнегреческие культурные корни юга Италии — земли, связанной с любимым, — Антония воспринимала как свои собственные, воспринимая их с мистическим оттенком. Предметы из раскопок, фотографии древнегреческой скульптуры, попадая ей в руки, становились для нее реликвиями. Этим предметам она посвящала и стихи.

В "Афинской девушке" содержится ряд аллюзий на более раннее стихотворение Серени — "Третье декабря" (1940), написанное на смерть Антонии, с рядом скрытых цитат и намеков, понятных ее друзьям. Здесь звучат и ее мысли: единение-отождествление с умершими, одна из ее излюбленных идей, а также вера во всеобщее воскрешение, не христианское, эсхатологическое, а природное, связанное, возможно, с ницшеан-

1. Даты в стихах Серени 1930–1940-х гг. означают не время написания стихотворения, а момент в истории и биографии, с которым оно связано: еще один характерный способ "сверки часов".

ской идеей "вечного возвращения". Голосом безвестной афинянки, олицетворяющей одновременно и Европу Серени, и Поэзию Антонии, миру возглашается весть "милости, надежды, благоговенья".

Восстановление связи с землей, ее природой и прошлым, и с умершими — своего рода "усилье воскресенья" — стало насущной потребностью итальянской поэзии после пережитой нацией катастрофы. Когда Антония Поцци писала об этом десятью-тринадцатью годами раньше, задолго до всего, что суждено было перенести Италии и Европе, ее голос был никому не слышен. Теперь призыв был громко повторен свежим голосом Серени, зазвучавшим с новой силой голосом Унгаретти[1]. Зерно упало на плодоносную почву и проросло. Голоса живых слились с голосами ушедших в чаянии нравственного возрождения страны.

Весь день — как единый вздох,
и вся Аттика — мрак.
И как отсвет стекает по темным,
в беге кружащимся стеклам вагона,
так вдали струится твое лицо
от венчика лампады, что зажигаешь
перед вечерней иконой.
Но здесь,
где все реже, подбитые, падают
жертвы последней охоты[2],
между рощ, уходящих через границу,
ах, беда! — чистый облик
слогов твоих рушится, превращаясь
в эту вымученную кириллицу...
Так и ты — меркнешь мало-помалу.
Ты не можешь остаться — вот, и пропала
в перестуках последнего мóста.

* * *

Скоро буду и я — растерянный странник,
наудачу ищущий путь в тумане.

Изнемогшие на лету, наземь павшие имена —
друг за дружкою нижутся ноты,

1. "Не кричите", "Ангел бедного" (1944), "Земля" (1946), весь сборник "Земля обетованная" (1951).
2. Речь может идти об "охоте" на партизан. Охота — как образ агрессивной и жестокой среды, преследующей поэта, — упоминается у Серени в стихотворении "3 декабря". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

выпадая из хора — гаснущие черты
утраченных дней: Кайдари[1],
нежно-горькая раковина олив,
в моем праздном воспоминанье — или те
растерянные корабли на ветру Пирея.

И всё, что владело взором и слухом,
вдавленное в сырость, уже исчезло.

* * *

...Потому что судьба обернулась круто:
союзный флот крейсирует в море,
и поздние зреют плоды тревоги,
неся урожай другим, не тебе, деспинис[2].
Кто может спать, спит в снегах высоких,
там, в небесах, средь любимых умерших.
Ты с мертвыми встанешь, ты ими скажешь:
“Пусть надо мной вознесется знамя,
что прозвенит моим страданьем,
что просияет моими слезами;
пусть будут поля, где несется пенье
легкое, в годах обновленных, юных.
Та песнь сирен, что меня давила
тревогой, полосовавшей ночи,
вернется пусть измененной в эхо
милости, надежды, благоговенья”.

* * *

Так, дальние, мы друг другу идем навстречу.
И иногда мне кажется, будто
мы рядом, деспинис, и солнце над нами,
счастливое даже для побежденных,
в Аттики милых садах зеленых,

где вновь о тебе распускается память.

Эшелон Афины–Местре, осень 1942,
Северная Аффрика, осень 1944

1. Предместье Афин, где стояла в августе—ноябре 1942 г. дивизия Серени.
2. Греческое уважительное обращение к девушке, аналог итальянского “синьорина”. “Другим, не тебе” — женщинам Италии, для которых пришла очередь вкусить ужасы войны. “Поздние... плоды тревоги”, то есть возмездие, давно причитавшееся Италии как стране-агрессору.

Генрик Ворцель

Вотан уедет на поезде

Рассказ

Перевод с польского К. Старосельской

УЖЕ который день ветер с воем бился о стены и гнал тучи на восток, а завтра немцам уезжать на запад, значит, попутным ветер не назовешь — он будет дуть в лицо.

Стефан час назад вернулся из деревни, где как член комиссии по депортации ходил по домам и объявлял: “Morgen nach Vaterland!”[1] Сегодня он шестнадцать раз повторил эти сакраментальные слова — кажется, больше не понадобится. Сейчас он ждет других членов комиссии, которые должны вот-вот подойти и приказать здешним немцам собираться в дорогу. Собственно, он мог бы и сам спуститься в кухню, где сидит вся семья Хаттвигов, и в семнадцатый раз сказать: “Morgen nach Vaterland!” Мог бы, но лучше — и на то есть причины, — чтобы это сделали те, из деревни, и хорошо б уж они наконец пришли. Давно пора, уже начало пятого, ветер стучит в окна, носится по стенам, по крыше.

И Хелена ведет себя странно. Вернувшись час назад из деревни, он застал ее словно оцепеневшей от долгого ожидания. Потом она долго кружила по комнате, не могла найти себе места, бросала какие-то бессвязные фразы, несколько раз повторила: “Я вниз не пойду, я сегодня вообще туда не пой-

© Henryk Worcell
© К. Старосельская. Перевод, 2015

1. Утром на родину (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ду", — а теперь совсем затихла. Примостилась возле комода и занялась своими тряпками, которые — бог весть каким способом — умудрилась насобирать за зиму. Кажется, это барахло ей милее, чем усадьба вместе с коровами и птицей, за которыми с завтрашнего дня придется ухаживать. "Неужели еще не поняла, что завтра все и начнется? С той минуты, когда Хаттвиги скроются за горой?" А может, у нее хватает ума не радоваться свалившемуся с неба богатству? Пять коров и сорок кур просто так ведь не свалятся, Стефан и сам понимает, и вообще у него ощущение, будто все это добро им дали во временное пользование. Усадьба большая, десять гектаров, но управиться можно, главная морока — электрический мотор, самая важная в хозяйстве вещь, больное место. Уже дважды у него на глазах эта адская машина принималась искрить, дико рычала и в конце концов начинала дымиться. В риге! Пауль Хаттвиг тогда поспешно отключал ток и долго копался в моторе, прежде чем решался снова его запустить. Но с завтрашнего дня Пауля здесь уже не будет, и потому Стефан никак не может отделаться от мыслей об этом моторе и злится на Хелену за то, что она так спокойно перебирает тряпки в комоде.

А тех, из деревни, что-то не видать. За окном безлюдная проселочная дорога, по обочинам фруктовые деревья, голые, сотрясаемые ветром. Земля еще черная, сырая. Из другого окна видно поле Хаттвигов, длинной лентой тянущееся в гору, прямо к черному лесу. Совсем еще недавно на этом поле лежал подтаявший, ноздреватый снег — озимые вылезали из-под него растрепанные, помятые.

— Они уже знают, — сказала Хелена. Она так и стояла у комода. — Я знаю, что они уже знают.

— Чтó знают?! — бросил Стефан с раздражением, будто ученице, не умеющей толком выразить свои мысли.

— Что старуха и Эльза тоже поедут. Люцина не зря гоняла в деревню.

— А мне плевать! Пускай знают!

Это он врал, конечно, ему вовсе не плевать было на старуху Хаттвиг. Добрые глаза, обведенные темными кругами. Голова чуть опущена, негромкий голос... Еще одно — кроме искрящего мотора — больное место. Старая женщина всегда относилась к нему с неподдельной симпатией. Возможно, у нее был свой расчет, но ведь Пауль и Эрна тоже держались подчеркнуто вежливо, даже предупредительно, однако ничем похожим на симпатию тут и не пахло. Такое улавливаешь почти безошибочно, кожей; вот про старуху Хаттвиг он уверенно мог сказать, что рядом с ней ему всегда становилось тепло. И однажды, когда было особенно тепло, она попросила его по-

мочь им с дочкой остаться. Они будут работать, как прежде, не претендуя ни на дом, ни на землю, а там, глядишь, дочь дождется возвращения мужа, который, вроде бы, в плену у русских. И Стефан обещал, что постарается, — в самом деле, что ему стоило? Пусть поживут еще пару месяцев, до следующего этапа выселения. Хотя... связываться с немцами, да еще брать на себя какие-то обязательства? Смешно...

Хелена задвинула ящик комода и сказала:

— Ее бы надо выселить, а не старуху.

— Это кого же?

— Да подлючку эту, Люцину!

— А, Люцину... — махнул он рукой.

Ну, как ее выселишь? Во-первых, девчонке всего четырнадцать, во-вторых, она полька. Во всяком случае, ее родители объявили себя поляками, фамилия у них Петрушке, и по-польски говорят неплохо. Зато Люцина — ни в зуб ногой. За все то время, что служила у Хаттвигов, они с Хеленой от нее ни единого польского слова не слышали. Хотя нет, был один случай, несколько слов сказала. Прошлым летом, когда они только сюда вселились и решили просветить Люцину, сделать из нее настоящую польку. Здесь было дело, в этой самой комнате. Хелена долго ей объясняла, кто такие немцы, рассказывала о концлагерях, о миллионах погибших там людей. Девчонка внимательно ее выслушала, а потом упрямо тряхнула головой и сказала по-польски: "Это вам еще мало".

Тут-то Хелена и запустила ей в голову туфлей; тогда — пожалуй, окончательно — рухнула надежда превратить Люцину в польку. Особая история — ее внешность. Если родители поляки, почему дочь — типичная немка? Волосы рыжие, лицо — студень какой-то, приправленный красным перцем, попа плоская, низкая. Хелена клялась, что такие рожи и такие задницы бывают только у немок. Стефан не спорил, хоть и был несколько обескуражен тем, что его жена обращает внимание на чьи-то задницы.

Снова ветер застучал в окно, загудел в водосточных трубах, среди балок чердачного перекрытия; Стефан увидел, как ветки яблонь гнутся, точно проволочные. Дорога по-прежнему была пуста, никто не шел со стороны деревни.

— Небось опять налакался, — сказала Хелена.

— Кто?!

— Как кто? — удивилась она. — Солтыс[1] Саранецкий.

— Исключено. Сегодня и завтра у него дел невпроворот. Обещал прийти вместе со Стопкой.

1. Деревенский староста.

— Как же, придет он!

Стефан посмотрел на жену с внезапным интересом: что с ней творится? Характер у Хелены всегда был не сахар, но в последнее время она стала какая-то резкая, грубая. Чуть что — выпускает когти. И неизвестно, как быть: махнуть рукой нельзя — совсем одичает, а приласкать... Ее прежняя девичья застенчивость, которая всегда его умиляла, сменилась типично бабской злобностью. Сейчас, когда Стефан смотрел на Хелену, не зная, что сказать, она вдруг показалась ему совершенно чужим человеком, хотя он тут же, с каким-то волнующим, тревожным удивлением осознал, что это его жена. Только что, минуту назад, ею ставшая.

Хелена подошла к окну, показала рукой:

— Полюбуйся, вон как летит!

Люцина. Выскочила из-за горы со стороны деревни и теперь бежала по дороге вдоль яблонь, смешно как-то бежала, потому что платье облепляло ей ноги, путалось в коленях. Возле беседки замедлила шаг, откинула волосы со лба; видно было, как, повернув пылающее лицо к дому и жадно хватая открытым ртом воздух, она глядит на окна верхнего этажа.

— Не хочу ее здесь видеть, — сказала Хелена. — Пусть убирается, рыжая тварь! Сегодня же ей скажи.

Стефан уже готов был пообещать, что скажет, конечно, скажет, но прикусил язык и, помолчав, произнес совсем другое:

— Ну подумай только, их еще нет.

Люцина уже вошла в кухню, хлопнула дверью. Стефан и Хелена молчали, замерев, точно в ожидании взрыва, от которого вот-вот содрогнется дом. Но ничего не происходило. Возможно, будь их комната прямо над кухней и стены потоньше, они бы услышали, о чем говорят внизу, по крайней мере, кто говорит. Но различить можно было только голос Пауля — далекий и приглушенный, как раньше. Потом Эрна что-то выкрикнула, загрохотал стул, и снова стало тихо.

— Наверняка они уже знают, — первой заговорила Хелена. — Знают, можешь мне поверить.

Стефан смотрел на дорогу, на глубокие, словно жирным карандашом прочерченные, колеи, исчезающие за изломом склона, в том месте, где из-за горы торчала макушка колокольни. Когда ж они явятся? Должны бы уже быть. Сколько можно ждать? Дело срочное, откладывать нельзя и, если их не будет, придется самому идти вниз. Хелена останется здесь, а он спустится, откроет кухонную дверь и скажет — но уже не “Morgen nach Vaterland!”, а как-нибудь по-другому. Старуха эта тоже там. Поднимет на него обведенные темными кругами глаза. И ничего говорить не станет, потому что не любит лишних слов, —

только будет смотреть. Кстати, интересно: за десять месяцев пребывания под одной крышей они с ней почти не разговаривали, а кажется, будто часто и горячо спорили. О немцах. О том, чть они сделали. Он клялся, приводил доказательства, называл цифры. Впустую. Оставалось ощущение, что она все знает и полностью с ним согласна — и, тем не менее, с какой-то невозможной, нечеловеческой уверенностью отвечала безмолвно: “Да, но не тебе судить”.

— Что ты говоришь? — повернулся он к Хелене.

— Я? Ничего... Обязательно скажи сегодня рыжей сопляч-ке, чтобы носу сюда не казала. Она еще хуже, чем эти швабы. Как глянет, меня прямо страх берет. Видеть больше не желаю эту дрянь!

— А ее отец хотел, чтоб она осталась у нас работать.

— У-у-у! — Хелена вскинула голову, как-то очень по-бабьи всплеснула руками. Под ударом ветра задребезжало стекло в окне, на первом этаже хлопнула дверь.

Сколько можно ждать? Время идет, ветер гонит тучи над лесом, что́ там, в деревне, неизвестно, тянуть больше нельзя. Внизу, у Хаттвигов, тишина, за одним окном — исхлестанные ветром яблони и пустой проселок, из другого видны темно-зеленые полсти озимых, которые почему-то наводят на мысль о моторе. Стефан смотрит на озимь, а думает про мотор: невелика хитрость, а нет ничего важнее. Этакое ядро, потяжелей свинца, и все в хозяйстве вокруг него вертится. Земля под всходами озимых лежит себе спокойно, да и этот бешеный ветер на дворе совсем не страшен, а мотор временами начинает искрить, рычит зловеще и выпускает вонючее облако дыма. И тогда Пауль поспешно выключает его из сети.

— Что ты говоришь?

— Петрушка этот... Я знаю, почему он хочет, чтобы Люцина здесь осталась. Ха! Очень мне нужно следить за каждым ее шагом! И не спать ночами.

— Да, пожалуй, ты права. Я как-то не подумал.

— А если еще старуха с Эльзой останутся!.. — Хелена выдвинула из комода ящик и уткнулась в него.

Стефан прошелся до двери и обратно, постоял у ночного столика над раскрытой книгой, тупо перелистал несколько страниц и, решительно захлопнув книжку, в сердцах отпихнул к стене. Люцина, Люцина! Почему-то не было в нем ненависти к этой девчонке, да и не хотелось себя накручивать. Соплячка, что с нее возьмешь! Если кто здесь и заслуживает настоящей ненависти, так это Эрна, жена Пауля. Стефан не мог простить ей ледяную вежливость, с которой она всегда с ним разговаривала. Как она цедила сквозь зубы: “Ja, jawohl,

freilich”[1]! А это холодное, с правильными чертами лицо! Не очень-то ей идет роль матери трехлетнего Райнхарда, Эрну легче представить себе в форменной юбчонке, в пилотке на голове и с хлыстом в руке. Муж рядом с ней выглядит невинным подростком. Пауль был на фронте, ранен под Ленинградом, но это не отразилось на его внешности — он смахивает на скаута, который любит играть в разведчиков. Но когда мотор начинает хрипеть и дымиться, лицо у Пауля резко меняется, становится мужским, жестким, и тогда можно уловить сходство между ним и Эрной. Собственно, не будь в кухне старухи Хаттвиг, Стефан охотно бы туда спустился, встал в дверях и, глядя на Эрну, сказал то, что нужно. А именно: пора. Freilich.

— Тебе обязательно завтра с ними ехать? — спросила Хелена.

— А как же. Кто мне обратно пригонит подводу? Но, понимаешь, все это вместе...

Он покачал головой, сам толком не зная, что хочет сказать. Его назначили сопровождающим: завтра он проводит немцев до Лёндек-Здруя, до поезда. Путь неблизкий — двенадцать километров. Позавчера они с поручиком Стопкой были в Милановке, и Стефан видел растянувшийся по деревне обоз. Сущий цыганский табор, снявшийся с места. Телега за телегой, горы манаток, на вещах закутанные по уши дети и женщины, рядом неторопливо шагают мужчины. Местные высыпали на шоссе и хмуро, в молчании, смотрели на эту колонну. Всем было о чем подумать, говорить не хотелось. Поручик Стопка тоже смотрел молча и, только когда проехала последняя телега, сказал Стефану: “Из-за чего, по-вашему, они переживают? Из-за того, что их выселили? Нет, для них другое трагедия. Я немцев знаю, им нужно, чтобы их боялись. Они нам никогда не простят, что мы не боимся”.

Так, значит, это будет выглядеть. До Лёндек-Здруя ехать долго, хватит времени подумать. Колонна пройдет через Милановку, потом через Радоловку, а дальше — чистое поле с низкорослой озимью и дорога, взбирающаяся на гору, где нет ни кустов, ни деревьев, — там сильней всего бушует ветер, гонит табуны туч на восток, то есть в направлении, противоположном тому, куда поедут немцы. А в Лёндек-Здруе прощание. Нет, никакого прощания не будет. Хаттвиги заберут свои узлы и в какой-то момент скроются в одном из станционных строений, а он сядет в пустую подводу и крикнет кобыле: “Н-но, Лот-

1. Да, конечно, разумеется (*нем.*).

ти!" И тут чему-то наступит конец: невозможно себе представить, что будет дальше. А ничего. Все начнется, только когда он приблизится к дому, где его ждет Хелена. Но прежде хорошо бы еще увидеть поезд. Может, повезет: подъезжая на своей подводе к деревне, он увидит с горы ползущие в долине вагоны. Хотелось бы увидеть. Вроде и смотреть не на что: издали вагончики маленькие, точно спичечные коробки, дымок от паровоза — как от сигареты, но сколько всего в этих коробка́х!

— Идут! — громко сказала Хелена.

Да, это они. Поручик Стопка и солтыс Саранецкий. Интересно, те, внизу, их увидели? Тоже смотрят в окно? Кажется, будто поручик Стопка шагает быстрее, чем Саранецкий, но это просто ветер развевает полы его шинели. Что ж, отлично, так и должно быть. Вообще давно все уже идет так, как должно, притом неотвратимо, словно подчиняясь извечным законам природы. Не вздумают же эти двое вдруг взять и повернуть обратно в деревню? Нет, это невозможно. Они идут сюда, потому что так надо. Вот они уже около беседки, возле огорода — Хелена крепко сжимает ладони, ломает пальцы.

— Ты иди, — говорит она Стефану, — а я не пойду. Не хочу.

Ну конечно, ясное дело. Она бы пошла, если б знала, что поднимется шум, крик, скандал, но заранее известно, что все пройдет спокойно — так задумано и просчитано, так надо. И Стефан, оставив Хелену в комнате, сбежал по лестнице в сени и вышел наружу, во двор, дочиста выметенный ветром. Он сразу увидел, что Саранецкий в превосходном настроении, улыбается ему и этой своей улыбкой, словно позаимствованной много у кого в деревне, дает понять: все путем, все идет, как должно идти.

Саранецкий закричал издалека по-русски:

— *Ну, сегодня мы тебя освободим*!

По лицу поручика Стопки промелькнула едва заметная усмешка.

— Все дома? — спросил солтыс.

— Да. Сидят в кухне.

— Послушай-ка, — Саранецкий посерьезнел, — если тебе нужны эти две бабы в помощь, скажи. Можно их оставить.

— Я уже сказал: не нужны.

— И правильно. Ну, пошли.

И первым направился к дому, за ним поручик Стопка, Стефан последний. Вошли в кухню. Их там уже ждали. Похоже, давно. Старуха и Эльза за кухонным столом, Пауль — у входа в смежную комнату, за спиной у него Эрна с маленьким Райнхардом, уцепившимся за материну юбку. Где-то сбоку рыжее пятно: Люцина, кто ж еще.

Все молчали, никто ни с кем не поздоровался. Саранецкий сразу приступил к делу:

— Frau Hattwig, morgen nach Vaterland!

Минутная тишина, и голос Пауля:

— Wieso, meine Mutter auch?[1]

— Freilich. Все. Alle.

Стефан скользнул взглядом по лицам женщин, вернее, поверх их лиц, поверх головы старухи Хаттвиг; теперь он видел только Пауля. Его бледную перекошенную физиономию, острый, как птичий клюв, нос. Смотрел с неприкрытой враждебностью, уже ничего не скрывая, словно крича беззвучно: "Ты!.." — и чувствовал на себе пронзительно злобный, невидящий взгляд.

— Ach, soo...[2] — сказал наконец Пауль.

— Да, так, — подтвердил Стефан.

Это были последние слова, которыми они обменялись.

Саранецкий не любил долгих церемоний, он свое сделал, значит, все путем, можно уходить. Остальное — забота поручика Стопки, немцы ему доверяют, уважают мундир, вот пусть он и скажет, что делать, что брать с собой и в котором часу завтра выезжать из дома.

Стефан последовал за солтысом с облегчением, хотя и чувствовал: что-то он сделал не так. Только с Паулем все было правильно, и с Эрной, ее лицо попалось ему на глаза в последнюю минуту, и, уходя, он унес его с собой; Эрна как будто раздвоилась: одна осталась там, с мужем, а другая — в нем, и Стефан не мог от нее избавиться, хотя лицо этой, второй, Эрны было лишено выражения и тоже как будто незрячее, похожее на лицо Пауля.

Вышли во двор, ветер облепил их весенней сыростью. Стефан захлопнул за собой дверь.

— Представляешь, — прокричал Саранецкий, — вся деревня ходуном ходит. А Петрушке этот... вот кому обломится! К нему, как в банк, несут.

— А к кому же еще нести?

— Брось! Зато теперь понятно, что он их человек, и нечего ему прикидываться поляком. А ты последи за Люциной, она всю ночь будет туда-сюда шастать.

— Ну и что? Гоняться за ней прикажешь, охотиться за чужим добром? Пускай шастает.

— Дело твое. Пойдем, поглядим на скотинку. Черт, да у тебя полный порядок, постройки все как новенькие. Умели твои немцы хозяйничать. Будь жив старый Хаттвиг, не одну бы сле-

1. Как, и моя мать тоже? (*нем.*)
2. Ах так... (*нем.*)

зу сейчас пролил. А заметил, старуха-то приуныла, неохота уезжать. Похоже, тебе ее жаль.

— Скажешь тоже!

Они вошли в хлев, где стояли пять коров, вол, два теленка, две овцы.

— И скотинки немало. Кабы не я, пришлось бы тебе парочку голов сдать. Когда в Щецин скот отправляли. Знал бы ты, как я с ними ругался! Говорю: не забирайте, у него хозяйство большое, двенадцать гектар, навоз нужен и так далее. Махнули рукой. Ты же знаешь, я любого уболтаю.

— Еще бы! — воскликнул Стефан с неподдельным уважением: он и впрямь восхищался этим человеком, его дьявольской прытью и энергией, хотя не раз так и подмывало посоветовать солтысу, чтоб высоко не залетал — больно будет падать.

Саранецкий подошел к волу, пощупал холку.

— Надо думать, ты не собираешься на воле пахать? Как-то оно не по-польски... Небось, заведешь вторую лошадь?

— Вол быстрее окупится.

— И-и... Это я тебе устрою. Замолвлю словечко в гмине[1], его и спишут. Пошел на обязательные поставки — был вол и нету. Ну как?

Солтыс смотрел на Стефана с явной решимостью добиться своего — как всегда, когда ему чего-то очень хотелось и отказа, он чувствовал, не последует. Взгляд у него был открытый, доброжелательный. Настоящий друг...

— Ну?

— Подумаем, — ответил наконец Стефан, уже понимая: что-то здесь не так, как должно быть.

Они обошли подворье, заглянули в конюшню, потом в ригу, куда ветер норовил прорваться сквозь щели между досок.

— Снял бы ты лучше приводные ремни, — сказал Саранецкий, указывая на молотилку. — Хотя бы главный, от мотора.

— Думаешь, Хаттвиги заберут?

— Нет, конечно! Наши шарят по сараям, прибирают, что плохо лежит. Такой ремень — верные десять тысяч злотых.

В ригу вошел поручик Стопка и сразу направился к бумажным мешкам, стоявшим на току у загородки сусека.

— Цианамид? — деловито спросил он.

— Да, — ответил Стефан.

— Продайте. Мне позарез нужен.

— И мне, — засмеялся Стефан.

1. Самая мелкая единица административного деления Польши (до 1954 г.; восстановлена в 1998 г.).

Тем временем Хелена в третий раз кинулась к двери, чтобы бежать вниз. Не могла она сидеть в этой комнате, когда трое мужчин внизу заканчивали чертовски важное дело: слышны были их голоса, хлопнула дверь. Теперь, считай, и для нее путь открыт, они там уже разобрались, поставили точку, значит, можно идти. Смело, громко топая по деревянным ступенькам — чтоб никто не подумал, будто она чего-то боится.

Хелена уже почти спустилась в сени, когда из кухни пулей выскочила Люцина, резко, как дикий зверек, повернула к ней голову, сверкнула глазами и, не останавливаясь, влетела в кладовку. В эту самую минуту из-за неплотно закрытой кухонной двери донеслось невнятное восклицание Эрны и затем отчетливый, чеканящий каждый слог голос Пауля:

— Richtig! Hier einzelne Aktion hat keine Bedeutung, das wäre nur Zeitverlust. Es kommt sicher Zeit, wenn man dieses Vieh massenweise ausrotten wird. Nur massenweise, nur massenweise![1]

Хелена заколебалась — ей нестерпимо хотелось еще послушать, но ясно было, что понять она сумеет не много, и потому поспешила выйти из дому; вдогонку ей несся голос Эрны, такие же, как у Пауля, рубленые фразы, словно под ударами тесака разлетающиеся на мелкие кусочки слогов.

Между тем мужчины вышли из риги и направились к воротам.

— Замерзнете, — приветствовал Хелену поручик Стопка, увидев, что она в одном только легком платье.

— Заботу проявляете! — насмешливо, хотя и улыбнувшись с благодарностью, ответила Хелена. — Ничего мне не станется, закаленная. Они нас так закалили, — она кивнула в сторону дома, — что ого-го. Или на мыло, или... — И, не докончив, обратилась к Стефану: — Поговорил с Люциной?

— А зачем? Завтра отправим ее домой, и дело с концом.

— Если она завтра еще будет здесь околачиваться, я ее поганой метлой... клянусь.

— И правильно сделаете, — одобрил Саранецкий.

— Скажите, а что значит “massenweise”? — спросила Хелена у поручика.

— Massenweise? — повторил Стефан. — Ну, в массовом порядке, всем скопом. А зачем тебе?

— Пауль там кричал: massenweise, massenweise.

1. Правильно! Здесь по отдельности действовать бессмысленно, пустая трата времени. Придет время, когда эти скоты будут массово уничтожены. Только массово, только массово! (*нем.*)

— Это он, наверно, насчет выселения, — догадался поручик Стопка. — Массовое выселение.

Стефан иногда поглядывал на окна первого этажа, за которыми в глубине комнаты маячили чьи-то тени, и вдруг увидел лицо старухи Хаттвиг. Ему показалось, оно там давно: темное лицо в черном прямоугольнике окна над горшками с геранью, точно старый почерневший от времени портрет, который покойный Хаттвиг выставил напоказ и который теперь уже останется здесь навсегда.

— Бабушка за вами следит, — сказал он, почему-то хихикнув, и повернулся к окну спиной, а повернувшись, почувствовал: то ли спина не его, то ли на плечах у него тяжелый груз.

Теперь они стояли возле ворот, вернее, у калитки, врезанной во въездные ворота, в эту пору года постоянно запертые, скрипящие под напором ветра.

— Ну, сегодня можно спать спокойно, — сказал Саранецкий на прощанье. И добавил, обращаясь к Стефану: — А ты помни: завтра провожаешь их до Лёндека. Ты, Калуский, поручик и Моленда, я попозже подъеду на велосипеде. В час чтобы были в Лёндеке — из деревни надо выехать не позже одиннадцати.

— Это не насчет выселения, — ни с того ни с сего брякнула вдруг Хелена. — Massenweise — это что-то про нас.

Все трое разом посмотрели на окна, но там никого не было, только цветы в горшках горели ярким пламенем на черном фоне. Налетел резкий холодный ветер, Хелена съежилась и невольно закрыла ладонями голую шею — мужчины поняли, что пора расходиться, попрощались кивками.

Хелена и Стефан медлили, они знали, что сегодня больше не выйдут из дому. Будут прислушиваться до поздней ночи, а то и до трех утра, пока их не сморит сон, либо пока те, внизу, не перестанут грохотать мебелью, хлопать дверями, ходить взад-вперед по лестнице. Уже смеркается, потемневшие, отливающие синевой тучи нагоняют мрак на пустые поля. Ветер скребет ветвями старой яблони по крыше риги; кажется, видишь, как он напирает на прочные стены дома.

Напоследок они еще оглядели двор, но как-то вскользь, не по-хозяйски. Все начнется завтра, а сегодня Люцина с Эльзой обрядят коров, Пауль задаст кобыле корм — у них достаточно времени, чтобы попрощаться со скотиной, куда больше, чем было когда-то у Стефана и Хелены для прощания с родителями.

Минуту спустя они уже входили в свою комнату, которую, вообще-то, никогда не любили — жили, как в гостиничном номере, где по необходимости проводишь несколько дней. Возможно поэтому, Хелена так часто лазит в комод и переби-

рает свои тряпки, а Стефан то и дело поглядывает из окна на поле, и оба всю зиму чуть ли не каждый день спускались в деревню, к своим... Но с завтрашнего дня они перестанут туда ходить, с завтрашнего дня они начнут разведывать недра этого большого дома и пристроек, заходя все дальше, все глубже, пока не доберутся до самого дна, где уже нет ни следа хаттвиговских рук.

— Что тебе говорил Саранецкий? — спросила Хелена. — Что-нибудь интересное?

— Как бы не так! Вол ему приглянулся. Хочет его обобществить.

— Ого! — выкрикнула Хелена, вскидывая голову; видно, только на это ее и хватило. Лишь погодя добавила: — А мы на чем будем пахать? На одной лошади?

— У него ответ простой: купите вторую лошадь. Заметила, как у мужика аппетит растет? Еще недавно обходился бараном или свиньей. А теперь подавай ему вола или корову.

Хелена помолчала, задумавшись, и неожиданно спросила:

— А почему бы и тебе не записаться в партию? Моленда, вон, уже поумнел, и Калуский, а ты...

"А ты, а ты?" — Стефан повернулся спиной к жене. Никогда еще она не вызывала у него такой неприязни, если не сказать отвращения, и это только усугубляло его беспомощность — он не знал, что ей ответить, как объяснить... До сих пор все шло как надо, словно подчиняясь непреложным неписаным законам, а сейчас начинаются перемены, с сегодняшнего дня дорожка повернула куда-то не туда.

Поэтому лучше стоять себе у окна и смотреть на поле, на пустой проселок, который плавно огибает гору и карабкается на выглядывающую из-за поворота макушку колокольни. Но вдруг на дорогу выскочила Люцина. Борясь с ветром, она во весь дух припустила в сторону деревни, однако внезапно остановилась, подумала и столь же стремительно повернула обратно к дому — видно, что-то забыла. В какой-то момент, подняв лицо к окнам на втором этаже и не замедляя бега, она уставилась на Стефана — рыжий зверек, разъяренный, пышущий злобой. Стефан уже хотел было подозвать Хелену, поделиться и этим зрелищем, и впечатлением, но сдержался. Он знал, как Хелена ненавидит девчонку; незачем лишний раз заставлять жену на нее смотреть. Стефан не столько понимал, сколько ощущал смутно, что столкновение двух ненавистниц резко увеличит общий потенциал ненависти, ее мировой запас; тут свой, престранный, счет: один плюс один вовсе не два, а сто.

Девчонка на минуту забежала в дом, выскочила и опять понеслась в сторону деревни, полетела, как на пожар, сама точно

рыжий язык пламени, высоко над дорогой, поджигая яблони, неутомимая и неудержимая; пожалуй, прав был Саранецкий, говоря, что она всю ночь будет шастать туда-обратно. А когда Хаттвиги уедут, будет долго хранить им верность; с ней деревня получит что-то от Эрны и Пауля, и неизвестно еще, какие костры разгорятся со временем из этой маленькой искры.

— Может, поешь чего-нибудь? — спросила Хелена.

— А что у тебя есть?

— Сыр, масло, мясные консервы...

— Давай попозже.

Стефан оторвался от окна и подошел к Хелене, которая, присев на корточки, разводила в печке огонь. Положил руку жене на голову, ласково взъерошил волосы.

— Завтра переберемся вниз. Там всегда тепло от кухонной печи. Ну а делать что будем? С чего начнем?

— С метлы, — решительно ответила Хелена. — Перво-наперво я все вымету, вымету, вымету! Вымету и выскоблю. Песком, мылом, сидолом, особенно Эрнину комнату.

— Что ж... Только дочиста все равно не получится. — Стефан вдруг рассмеялся и добавил: — Хочешь хороший совет? Подожги дом.

Хелена подняла глаза, посмотрела на мужа.

— Думаешь, я б так не сделала? Остались бы голые, чистые стены.

В комнате стало совсем темно. Стефан хотел зажечь свет, но задержался у окна, того, что выходило на поле Хаттвигов. Уже нельзя было отличить невозделанной земли от полосок озими, везде была просто земля, над которой черной стеной возвышался лес и неслись темные тучи, которые ветер гнал на восток, то есть в направлении, прямо противоположном тому, куда завтра поедет на поезде Пауль. Стефану всегда нравилось смотреть на поле, он с нетерпением ждал весны, чтобы наконец заняться делом — с самого начала, на пустом месте.

— А знаешь, — сказал он, подходя к Хелене, — хорошо, что не нужно поджигать землю.

Дариуш Томаш Лебёда

Могила немецких солдат, найденная в городе Бромберг

Стихотворение

Перевод с польского Владимира Штокмана

Сюда дошли они до границы времени здесь угасли
в их мыслях пихты Шварцвальда
губы Лили Марлен и голос
Гитлера

здесь в сухом песке над Вислой
пятьдесят лет в неглубокой
яме

без имен и медальонов смерти
без глаз и без пульса крови

© Dariusz Tomasz Lebioda
© Владимир Штокман. Перевод, 2015
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации стихотворения на страницах журнала.

кость с костью череп
с простреленной
каской

без гроба и без слова
пастора без жалости

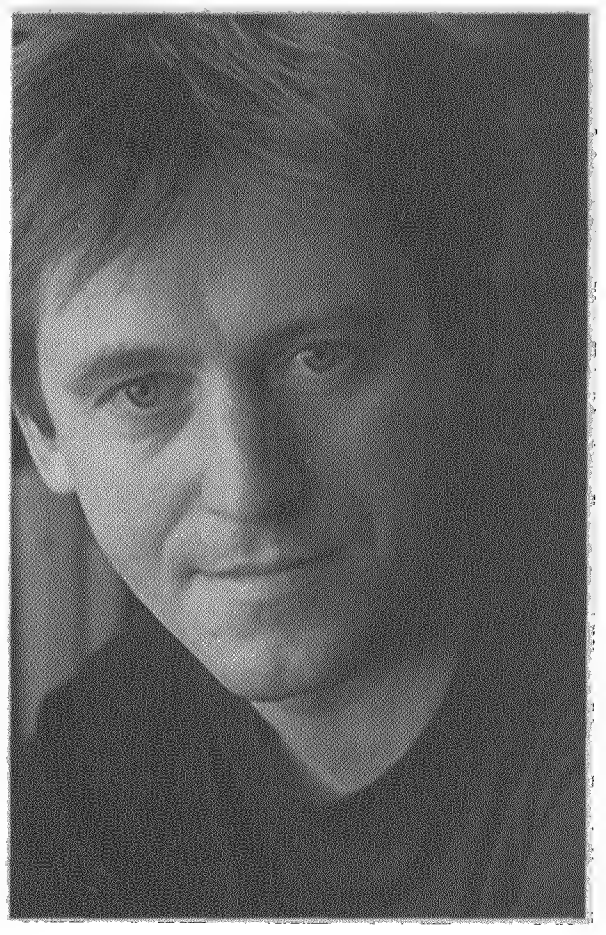
и без музыки
Вагнера

каждая война это
бойня красоты

каждая смерть это
война

проигранная

Янош Хаи



Дедовы сказки

Глава из книги “Выбраться к солнцу”

Перевод с венгерского и вступление Юрия Гусева

Янош Хаи — один из ведущих представителей того поколения венгерских писателей, которое определяет сегодня облик литературы этой страны. Говоря кратко, писатели эти переросли увлечение постмодернизмом с его культом парадокса и (часто самоцельной) игры; их художественному ви́дению жизни свойственна острая, бескомпромиссная аналитическая направленность, но без той, подчас дидактической, тенденциозности, которая была присуща реализму ушедших в прошлое времен. Один из лучших романов Я. Хаи “Парень” вышел на русском языке в 2013 году (Центр книги Рудомино). Книга “Выбраться к солнцу” — во многом автобиографическая: она составлена из отдельных главок-рассказов, в которых отражены моменты становления личности — и самого автора, и, можно сказать, обычного, типичного венгра, со всем тем, что было тяжелого в прошлом и настоящем.

© Háy János, 2014
© Юрий Гусев. Перевод, вступление, 2015

Редакция выражает благодарность Яношу Хаи за любезное разрешение безвозмездно опубликовать главу из книги “Выбраться к солнцу” на страницах журнала.

СПАЛ он между матерью и отцом: своей постели у него не было. Лежать на боковинах двух сдвинутых кроватей было жестко и неудобно, и мать прикрыла ребра полированных досок старыми пеленками. Окажись тут какой-никакой психолог, он в этом что-нибудь этакое бы усмотрел — да не жили тогда в деревнях психологи. Была зима; мать, перед тем как ложиться спать, бросала под перину нагретый на плите кирпич. Малыш тянулся к кирпичу ногами, потом прижимал их к материным бедрам; она вздрагивала от прикосновения холодных ступней, но молчала. Ничего, скоро согреется, думала она. Старики спали в соседней горнице. Малыша часто туда отсылали на ночь. Почему — он не знал, но шел охотно, потому что отец не умел рассказывать так интересно, как дед. У отца в рассказах всегда было только то, что происходило на самом деле: например, когда он служил в армии, пошли они как-то с приятелями в корчму, выпили там, потом драка завязалась из-за какой-то бабы. Ничего себе сказка, думал малыш — и с нетерпением ждал дня, когда его снова пошлют к деду. Случалось это раза два в неделю.

Малыш устраивался под периной рядом с дедом; спалось ему тут вполне удобно: сложения дед был некрупного, к тому же так уставал за день, что ночью не ворочался. Малыш укладывался, прижимал колени к дедову животу и говорил: ну, давай сказку. Сказки у деда были про войну, про то, как они воевали с русскими и еще как в плену жили; был, например, там немец один, майор, так вот, однажды стал он вытирать себе нос, а нос, большой такой, с бородавками, так и остался в платке. Потому что мороз стоял такой, что майор не заметил, как нос себе отморозил, сказал дедушка, и добавил, что у него, у деда то есть, тоже один палец на ноге отморожен. Малыш тогда сказал: вот и у меня ноги — прямо лед. Ну, это не то, сказал дед. Нет, то, настаивал малыш. Ладно, пускай будет то, не стал спорить дед. У малыша все больше оказывалось чего-то такого же, как у деда; а главное, что-то явно происходило у него в голове. Однажды утром, когда мать спросила, сделал ли он вчера то-то и то-то, например, собрал ли яйца из-под кур, — малыш ответил: нет, не собрал. Я бы собрал, конечно, да никак не смог. Как это не смог, удивилась мать. А так, я с дедушкой на войне был, сердито ответил малыш. Где-где был, переспросила мать. На войне, повторил малыш — и стал объяснять насчет всяких военных действий. Как они под градом пуль пробивались через линию фронта и сколько человек из их полка так и осталось лежать на земле. Хотели они их спасти, вытащить с поля боя, да не смогли, потому что неприятель даже по машинам с красным крестом стрелял,

он — такой, для него нет ничего святого. Страшная была бойня, кровь лилась рекой, то есть лилась бы, уточнил малыш, если бы не мороз, минус двадцать, так что кровь сразу так на снегу и застывала. Мать, продолжая помешивать еду на плите, смотрела на сына, на этого маленького, отважного героя, который с пылающими глазами стоял в двух шагах от нее. Хотела было она ему сказать, что не так все было, да ничего не сказала, лишь улыбнулась: ничего, мол, скоро вернется он с войны, забудет это. Вот только отец упорно твердил, дескать, чепуху мелешь, ты все время тут был, с нами, на кухне да на дворе, а ни на какой ни на войне. Но малыша это не смущало: если человек только и умеет рассказывать, как они в корчму ходили, то как можно к его словам всерьез относиться!

Однажды вечером отец сказал, чтобы малыш поменялся с матерью местами. Почему, спросил тот. Чтобы не на досках тебе лежать, сказал отец. Я привык уже, сказал малыш. Все равно поменяйся, сказал отец. Тогда я к дедушке лучше пойду. Не пойдешь ты к дедушке, сказал отец. Нет, пойду, сказал малыш. Нет, не пойдешь, твердо сказал отец. Да отпусти ты его, вмешалась мать. Ладно, сказал отец, уступая: он явно чего-то ждал от этой ночи, а потому не был таким строгим. Малыш ушел спать в другую горницу, и теперь они вместе с дедом рассказывали друг другу про войну. Дед тоже услышал от него кое-что, о чем раньше не знал и что малыш сам, без него, пережил, потому что дед в это время участвовал в другой операции.

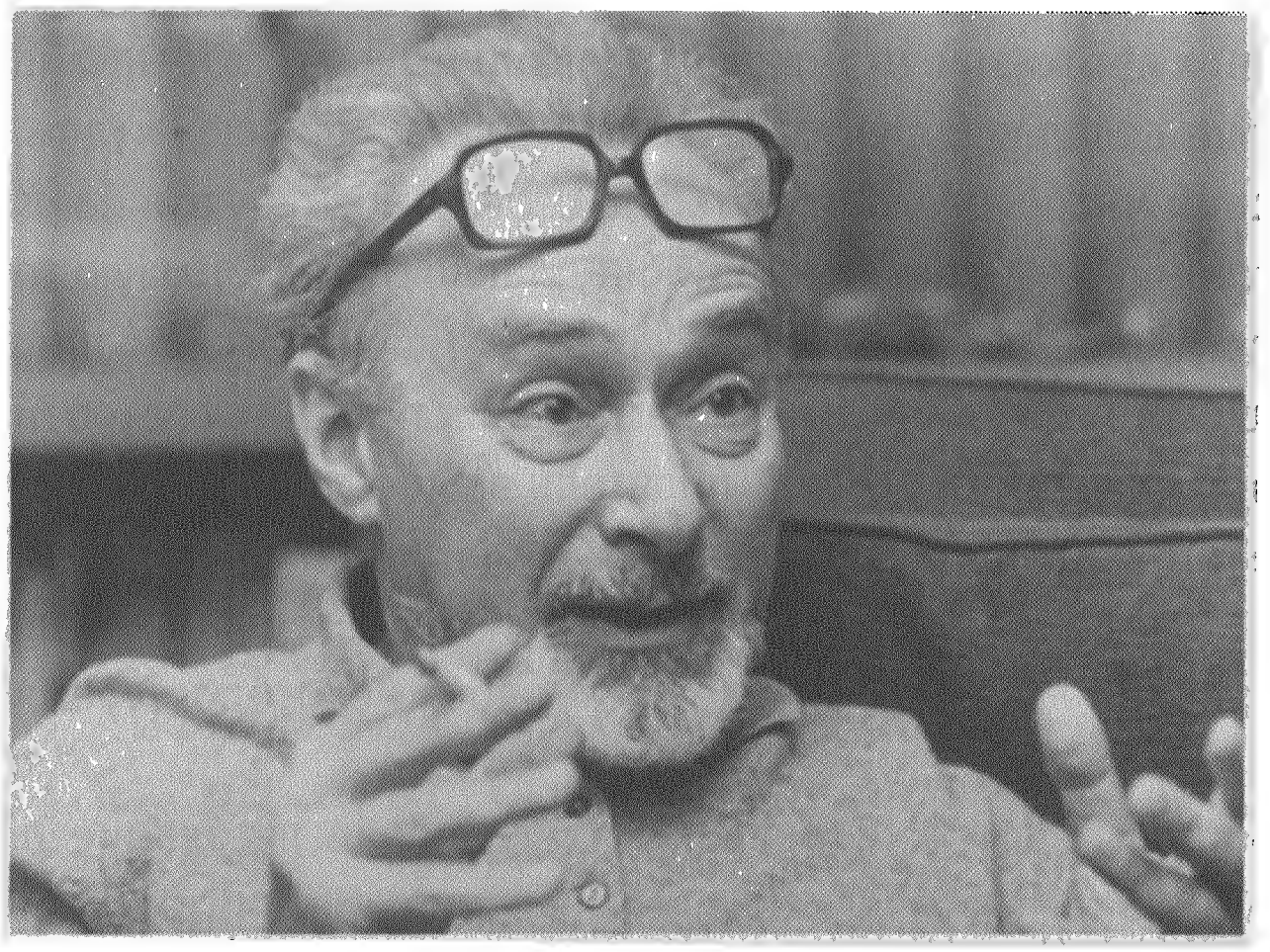
Отец однажды сказал тестю, мол, хватит вам парнишке про войну-то рассказывать, нечего голову ему забивать ерундой всякой, чепуха все это. Не чепуха, сказал тесть. Все равно ни к чему это парню, закричал отец. Старик молчал. Зачем спорить, кто знает, чем это обернется: ведь им под одной крышей жить с этим человеком, которого дочь привела в их дом.

Война продолжалась еще много дней, даже недель, захватила всю зиму, уже и весна пришла, растаял снег, на котором разворачивались героические сражения, талая вода убывала, уходила в поры земли. Время было перед обедом, отец и дед работали в поле, дома оставалась только мать, ну и малыш, конечно. Они находились в кухне; снаружи еще было зябко, а тут солнце светило в окно и давало уже какое-никакое тепло. На прошлой неделе, сказал малыш, наш Мати — это их пса так звали, Мати. Пес был старый, имя он получил в честь одного очень важного политика, которому никто не смел перечить, а тут так хорошо было иной раз прикрикнуть на пса: пшел к черту, Мати!.. В общем, Мати, сказал парнишка,

вдруг, ни с того ни с сего, схватил курицу, ну, знаешь, ту, с голой шеей, если б я не оказался рядом, придушил бы он ее насмерть. Это когда же было? — спросила мать. Неделю назад или две, сказал малыш. В самом деле? И ты это видел? Ну да. Я как раз во дворе был. А не на войне разве? — спросила мать.

Малыш стоял молча, щеки его залила краска. Да нет, не был я на войне. Он стоял, и лицо его было все красное от стыда. Ну и от огорчения, что он вернулся в мир, где не было ни бесстрашных героев, ни индейцев, — в тот мир, про который рассказывал отец и в котором с ним, малышом, ничего интересного не случится. Разве что то же самое, что со всеми другими детьми, — просто он вырастет, вот и все.

Примо Леви



Стихи из книги “В нежданный час”

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

“Первые русские появились днем 27 января 1945 года. <...> Русские — четверо молодых солдат — верхом, с автоматами в руках, настороженно ехали по дороге. Перед колючей проволокой они остановились и, тихо переговариваясь, растерянно уставились на груду разлагающихся трупов, на разрушенные бараки, на нас, живых”[1].

Так в “Передышке”, своей второй книге, рассказывает об освобождении из нацистского лагеря смерти “Аушвиц-Биркенау” Примо Леви, вчерашний узник № 174517. “Передышке” предшествовало главное произведение Леви “Человек ли это?”, принесшее автору мировую известность.

Одновременно с работой над этим мучительным свидетельством о лагерных буднях Леви писал стихи, стихи о лагере, опровергавшие уверенность Адорно в том, что поэзия после Аушвица (Освенцима) невозможна. Оспаривая известное утверждение немецкого философа, Леви скажет со временем: “Мой опыт говорит о другом. Тогда мне казалось, что поэзия лучше, чем проза, выразит накопившееся во мне, поэтому в те годы я бы

© Garzanti Editore s.p.a., 2004
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2015
1. Перевод Е. Дмитриевой.

так перефразировал слова Адорно: после Аушвица, если можно писать стихи, то только об Аушвице".

Лагерь с конвейером уничтожения людей в нем и за его пределами еще долго, до последних лет жизни, отзывался в поэзии бывшего освенцимского заключенного. Мир делал все для того, чтобы не дать человеку, чудом уцелевшему в лагерной мясорубке, замкнуться в себе, закрыть глаза на угрозу новой страшной войны и ее последствий, на опасность, исходящую от тех, чья цель — реанимировать прошлое, осужденное Нюрнбергским трибуналом, на учащающиеся тут и там вспышки националистических настроений.

Свой приговор фашизму будущий писатель вынес, уйдя в 1943 году в партизаны. До настоящих боев с фашистской милицией и с немецкими оккупантами дело, правда, не дошло: взятый в плен, Леви был сначала отправлен в итальянский лагерь под Моденой и через некоторое время уже в Освенцим.

Прозаик с мировым именем, Леви не претендовал на звание поэта, скромно оценивая свои поэтические высказывания. Не считая себя поэтом, он, тем не менее, предпослал своей первой книге в качестве эпиграфа собственное стихотворение, написанное 10 января 1946 года:

Вы, что живете спокойно,
В теплых своих жилищах,
Вы, кого дома по вечерам
Ждет горячий ужин и милые лица,

Подумайте, человек ли это,
Тот, кому нет покоя,
Кто работает по колено в грязи,
Кто борется за хлебные крохи,
Кто умирает по слову "да" или "нет"?

Представьте, что все это было,
Заповедую вам эти строки,
Запечатлейте их в сердце,
Твердите их дома, на улице,
Спать ложась, просыпаясь,
Повторяйте их вашим детям.

А не то пусть рухнут ваши дома,
Пусть болезнь одолеет,
Пусть отвернутся от вас ваши чада.

Подъем!

Нам снились в лютые ночи
Неотступные жестокие сны,
Снились душе и телу:
Вернуться, поесть, рассказать.
Снились, пока не раздастся
Отрывистая команда
“Wstawać?!”[1] —
И сердце рвалось на части.

Наконец мы опять дома,
Наши желудки сыты,
Мы все уже рассказали.
Скоро снова команду услышим
На чужом языке:
“Wstawać?!”

11 января 1946

Эпитафия

Ты, о путник, не первый, кто оставляет
Следы на этом горном снегу, далеко не первый,
Услышь меня, замедли шаг на минуту, не больше,
Здесь, где мои товарищи схоронили меня,
не оплакав,
Здесь, где каждое лето, удобренная мною, трава
зеленее,
Чем где бы то ни было, зеленее и гуще.
Который год я здесь лежу, приговоренный к
расстрелу,
Своими товарищами-партизанами, заслужив
наказанье,
Хотя до этого мало в чем упрекнуть меня было.
Путник, ни у тебя, ни у других я не прощу прощенья,
Не жду ни молитвы, ни слез, ни картины былого,
Одного лишь прошу: пусть этот покой мой длится,
Пусть и впредь надо мной чередуются зной и стужа,
Только бы новая кровь, просочившись сквозь землю,
Не проникала на мою глубину и пагубным жаром
Не будила для новой боли бренные эти останки.

6 октября 1952

1. “Вставать?!” (*польск.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Помпейская девочка

Для нас чужой беды не бывает, и, значит,
Твоя беда остается нашей, хрупкий ребенок,
Девочка, судорожно прижавшаяся к маме,
Словно просилась обратно, в материнское лоно,
Когда небо из голубого сделалось черным.
Тщетно. От ядовитого воздуха не защитили
Закрытые наглухо окна, не стали преградой
И капитальные стены безмятежного дома,
Который ты радовала песнями своими и смехом.
Наперекор векам, окаменелый пепел
Навсегда заточил в себе твое детское тельце,
И ты остаешься с нами съеженным гипсовым
слепком,
Вечной агонией, одним из страшных свидетельств
Отношенья богов к нашему гордому семени
смертных.
Другую память о себе выпало на долю оставить
Голландской девочке, твоей далекой сестре,
описавшей
Детство без будущего, — она сделала это для нас, мы
знаем:
Прах безмолвный ее развеял свободный ветер,
Ее короткая жизнь уместилась в мятой тетрадке.
Все, что осталось от школьницы из Хиросимы, —
Тень на стене, приклеенная тысячесолнцевым
светом,
Напоминанье о жертве на алтаре страха.
Сильные мира, хозяева новых ядов,
Мрачные тайные стражи конечного грома,
Нам хватает с избытком бед, даруемых небом.
Прежде чем кнопку нажать, успейте подумать.

20 ноября 1978

Выживший

Посвящается Б. В.

Since then, at an uncertain hour[1],
С тех пор в нежданный час

1. “С тех пор в нежданный час” (*англ.*). Цитата из “Поэмы о старом мореходе” Самюэля Тейлора Кольриджа.

Боль эта вновь приходит
И сердце жжет ему,
Если невысказанной остается.
Он видит снова лица
Товарищей своих,
Серые от цементной пыли,
Расплывчатые из-за тумана,
Со смертельной печатью во сне:
Ночь каждому дает возможность
Жевать губами
Несуществующую репу.
“Прочь, канувшие, уходите,
Отстаньте, я ничье не занял место,
Я хлеб ни у кого не отнимал,
Вместо меня никто, никто не умер,
Ступайте, возвращайтесь в свой туман,
Моей вины нет в том, что я живу,
И ем, и пью, и утром одеваюсь”.

4 февраля 1984

Фронтовые репортажи журналистов Би-би-си *(1944–1945)*

Фрагменты книги

Перевод с английского Татьяны Ребиндер

От редакции

Книга "Военный репортаж", фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей, — уникальная летопись последних одиннадцати месяцев Второй мировой войны. В этой книге собраны репортажи корреспондентов Би-би-си, посылаемые непосредственно с места событий в период 1944—1945 годов, то есть со дня открытия Западного фронта в Европе и до окончательной победы над гитлеровской Германией.

Корреспонденты Би-би-си, как и их советские коллеги, прошагавшие по дорогам войны от Волги до Берлина "с 'Лейкой' и блокнотом, а то и с пуле-

From WAR REPORT: BBC RADIO DISPATCHES FROM THE FRONT LINE, 1944-1945 by various authors. Published by BBC Books. Reprinted by permission of The Random House Group Limited.
© British Broadcasting Corporation 2014
© Татьяна Ребиндер. Перевод, 2015

метом", не воевали в прямом смысле этого слова, но и они продвигались вперед вместе с атакующими войсками, отправлялись с летчиками на боевое задание, случалось, что и прыгали с парашютом. И все для того, чтобы в ежедневной передаче после девятичасовых новостей миллионы радиослушателей смогли узнать от тех, кто находился в эпицентре событий, "как все это было". Журналисты были там и тогда, где творилась мировая история, они рассказывали о Дне высадки союзников 6 июня 1944 года в Нормандии, о встрече союзнических армий 26 апреля 1945 года в Торгау на реке Эльбе, о многих эпизодах той войны — трагических, радостных, курьезных. Их диктофоны фиксировали живые голоса солдат и офицеров, мирных жителей освобожденных городов, бывших узников концлагерей. Звучат с их лент и голоса недавних "знаменитостей" нацистской Германии, сдавшихся в плен.

Впервые сообщения корреспондентов Би-би-си были собраны и изданы книгой в 1946 году известным радиоведущим Десмондом Хоукинсом. С тех пор эта книга, вобравшая репортажи не только британских, но и американских, канадских, европейских журналистов (есть в ней репортаж и советского военкора, включенный и в нашу подборку), уже трижды переиздавалась в Англии, последний раз в 2014 году.

Объемистый пятисотстраничный том выпуска 2014 года, снабженный вступительными материалами и из предыдущих изданий, фотографиями, комментариями, глоссарием, а также краткими биографиями корреспондентов, еще и дань памяти военным журналистам, которые, нередко рискуя жизнью, тоже приближали победу.

6 июня 1944

Наша задача — разбомбить железнодорожный мост. Это поможет нашим ребятам на море, там, внизу. Я знаю, что главную работу сейчас выполняют они, но даже то немногое, что могут сделать им в помощь Королевские ВВС, имеет значение.

Чтобы атаковать цель, мы опускаемся на небольшую высоту. Хорошая работенка! Высовываемся, чтобы увидеть сигнальные огни. Не думаю, что смогу одновременно еще и разговаривать с вами — я ведь не супергерой. Может, не стоит и пытаться делать эти короткие комментарии с пикирующего бомбардировщика? Я вижу огненные вспышки там, где падают бомбы. Многие из тех, кто командует бомбардировщиками, считают, что эта оккупированная территория — сущий ад, и делают все возможное, дабы не оставить от нее камня на камне.

Я слышу только слова штурмана: "Ладно. Здесь". Мы снова высунули носы, нам надо идти ниже и задать жару этому мосту. Радиопомехи создают чудовищный шум, гул в ушах сливается с шумом мотора, так что теперь я не слышу самого себя. Мы

быстро теряем высоту — это начало атаки. Там, впереди, что-то есть — видишь, видишь свет? О, я думал, что говорю с пилотом, а это записалось. Там какой-то странный свет, я решил, что это сигнальные огни, и, вместо того чтобы сказать об этом по рации, сказал в микрофон. Только что штурман объявил по рации: “Мы на месте”, и я услышал, как наводчик спросил: “Задать им жару сразу, как увижу?”, и пилот ответил: “Да”.

Мы готовы сбросить бомбы, очень напряженный момент, а в эти самые минуты наш флот атакует побережье; я вижу корабли собственными глазами, вижу, как они подходят к берегу. Думаю, быть сейчас здесь — огромная честь, и все-таки я хотел бы сейчас оказаться дома. Впрочем, все это неважно, мы готовы к атаке, и лучше мне помолчать. Вот, получайте! Господи, какой у зенитного огня противный цвет — кроваво-красный! Мерзкий цвет!

6 июня 1944 года американские войска высадились на побережье Нормандии под шквальным пулеметным огнем

Происходит историческое событие, о котором я, сидя в самолете, не могу рассказать связно из-за шума в ушах. Но это великий миг для нас; я сижу здесь, мне выпал этот жребий, а значит, я могу рассказать вам, что вижу, и потому чувствую себя зрителем какого-то необыкновенного спектакля. Кажется, все это не по-настоящему. Я словно отделен от всего, и в

то же время понимаю, что мировая история вершится сейчас под нами в эту самую минуту.

У. Хелмор, *коммодор авиации, Командор ордена Британской империи, Королевские ВВС*

8 июня 1944

Первое свидетельство того, как сегодня настроены французы, пришло от деревенской жительницы. “Бог послал нам британцев и американцев, — сказала она с дрожью в голосе. — Немцы напуганы, скажу я вам, очень напуганы. Они говорили мне, когда тут были: “У союзников столько людей, столько техники! Даже моря не видно из-за их кораблей”.

Когда мы вошли в Байе, мужчины, женщины и дети выстроились вдоль улиц и кричали, махали, жестикулировали. Это было ликование на грани истерики. Молодые и пожилые стояли на мощеных мостовых того города, из которого союзники только что прогнали немцев, у многих по лицу текли слезы, и все они кричали “Vive l’Angleterre! Vive l’Amérique! Vive la France!” и поднимали два пальца, показывая знак победы — “V”. Над их головами чуть ли не на каждом балконе развевался французский флаг. Никогда еще истерика не была столь оправданна.

Джон Хетерингтон, *международная пресса*

15 июня 1944

Я сел на судно “Свобода”. На палубе капитан Джеймс Хэссел сказал мне, что счастлив видеть меня на борту и что он полагает — мы сможем благополучно вернуться в Англию. “Вы всего лишь *предполагаете*, что мы сможем вернуться в Англию?” — “Ну, да, — ответил он. — Понимаете, в судно попал снаряд. Пробили нам дыру в корме, выбили почти все подшипники гребного вала, а сам вал погнулся и стал похож на букву ‘S’. Удивительно, как мы не оказались на дне залива Сен-Мало и все же не оказались, как видите”. — “Да, вижу”, — неуверенно подтвердил я и откашлялся.

Однажды утром это судно готовилось встать на якорь, чтобы высадить военных. И вдруг — бух, бух — два взрыва, один за другим. Два спасательных плота взлетели на воздух. Взрывной волной снесло крышки люков. Это все, что поняли на палубе. А внизу в машинном отделении стоял на платформе Рогер Джонс и смазывал маслом огромный шатун. Взрывной волной его сдуло с платформы, он ухватился за этот шатун и, с трудом

удерживаясь, повис на нем. Вместе с шатуном он взлетал и опускался, подпрыгивая на 48 дюймов каждую секунду, и это продолжалось несколько страшных минут, пока двигатель не остановился. Скорость движения шатуна была 480 футов в минуту, а это больше, чем у лифтов в Радио-Сити, к тому же шатун, в отличие от лифта, двигался безостановочно. Первый помощник старшего механика был в шлеме, так что, когда сверху на него посыпались куски труб и машинного оборудования, он сгреб в охапку кочегара (рост 5 футов и 2 дюйма) и закрыл своими руками его голову. Когда старший механик Леонард Валентайн спустился вниз, он обнаружил все это плюс дыру в корме, через которую хлестала вода, заполняя судно со скоростью сорок пять тонн в час. Это больше, чем могут выкачать помпы гребного вала. Механик Валентайн первым нырнул на глубину восемь футов и попытался заткнуть дыру. Через двадцать четыре часа совместных усилий, им удалось почти остановить течь, но, когда они, наконец, смогли позволить себе оглядеться вокруг, то увидели, что гребной вал потерял пять из семи подшипников, а сам 157-футовый вал валялся весь погнутый. Валентайн выстругал из дерева новые подшипники и с помощью четырех гидравлических домкратов, одолженных у военных, воздвиг этот огромный искривленный вал на место. Шланги для охлаждения, которые работали при большом давлении, соорудили из подручных материалов. Крепления сделали из бревен. "Как высоко поднималась вода?" — спросил я его. "О, по шею" — ответил он. "Вы не думали о том, чтобы покинуть корабль?" — поинтересовался я. "Да, мне приходила в голову такая мысль, но я никогда не покидаю судно, пока вода не дойдет до подбородка".

Вот на каком судне довелось мне вернуться Англию. Та чудовищная взрывная волна так погнула корабельный свисток, что он больше не свистел. Несмотря на это, мы беззвучно выпустили из него четыре облака пара, подходя, как и остальные корабли конвоя, к английскому берегу. И я смог окончательно убедиться, что флот вернулся домой.

Джордж Уилер, *Эн-би-си*

11 июня 1944

Я приземлился в Нормандии с первыми планерами, еще до рассвета Дня высадки. Никогда не забуду зрелища этой авиационной операции. Небо было похоже на гигантскую рождественскую елку, на которой вспыхивали и мерцали движущиеся красные и зеленые огни.

Огромные огненные шары пролетали мимо планера, когда мы спускались. Я расстегнул ремень безопасности, чтобы снять спасательный жилет и от волнения не смог снова его застегнуть. Так что, когда планер ударился о землю в поле и свалился в канаву, меня швырнуло на пол. С минуту я пролежал в оцепенении, но разорвавший тишину треск пулемета в паре дюймов от моей головы, мгновенно вернул меня к жизни. Я выпрыгнул из аварийного выхода и оказался по пояс в сточной канаве в зловонной воде с помоями. Мы приземлились в хорошо укрепленном местечке в нескольких милях от того, что был намечен по плану. Вскоре в планере вспыхнул огонь. Мина с оглушительным грохотом разорвала наш планер на две части.

Сам не знаю зачем, я посмотрел на часы. Было 4.15 утра. Слышался треск минометов и пулеметов. Признаюсь, я запаниковал. Единственным моим желанием было немедленно очутиться дома. Видимо, я выбрался из планера не с той стороны, поэтому и оказался один. Я подумал о своих друзьях и о том, что будет, когда от меня не придет репортаж. Я уже считал, что мне пришел конец, я барахтался в грязи, молился и вдруг увидел подполковника Чарльза Шельгаммера из Нью-Йорка. Он летел на том же планере, и мне стало чуточку легче. Я потерял шлем, и подполковник Шельгаммер велел мне достать его. Моя радость, оттого что я его увидел, тут же сменилась злобой и ненавистью, но я все же нырнул и достал шлем.

К полудню эта местность была зачищена от снайперов, и мы подошли к маленькому городишке, который только что взяли американцы. Ничто не могло порадовать меня больше, чем их форма защитного цвета. Пожилая француженка вынесла мне бутылку коньяка, который я опорожнил с жадностью (конечно, исключительно в медицинских целях).

“Фрицы ушли. Война закончилась”, — сказала она. Увы, через десять минут немцы перешли в контрнаступление, и война возобновилась. Меня охватило желание во что бы то ни стало выбраться из этой переделки, я направился к лесу и провел там целую ночь под кустами малины в компании американского полковника и какой-то больной свиньи. Потом я стал пробираться к штабу. Это было пеший пробег вдоль изгороди длиной примерно в три мили, думаю, что меня могли принять за горбуна, потому что я шел все время, нагнувшись и втянув голову в плечи. Один сержант, который заметил меня издалека, представлял меня потом своим друзьям как “непревзойденного мастера по пересечению обстреливаемой местности”. Этот титул я принял с гордостью. Все-таки кор-

респонденты тоже внесли свой вклад в боевые операции. Во всяком случае, по моим подсчетам в тот первый день немцы впустую потратили на меня около пяти тысяч патронов.

МАРШАЛЛ ЯРРОУ, *международное информационное агентство "Рейтер"*

14 июня 1944

Вчера, когда американцы в составе разведывательного отряда пробивали себе дорогу к Шербуру, а потом, отстреливаясь, продвигались по узкой улочке, им навстречу из ворот дома внезапно выскочил француз. Они чуть не пристрелили его, потому что на нем был стальной шлем, как у немцев, но он успел крикнуть: "Свои!", а потом сказал: "У меня тут четверо американцев". И вот эти четверо здесь, готовы сами рассказать о себе (а микрофон журналиста Би-би-си, как всегда, при мне).

Начнем с первого пилота, лейтенанта Харли Доуринга, 24-х лет из Уокарузы, штат Индиана. Итак, лейтенант. Как вы оказались в Шербуре?

ДОУРИНГ. Ну, мы все — одна команда на истребителе. Нас послали, чтобы высадить десант на юге полуострова Котантен. Мы успешно выполнили задание и повернули к дому. Это было в половине второго ночи 6 июня, в День высадки. Вскоре по нам открыли шквальный зенитный огонь и нас сбили. От взрыва сгорел левый двигатель, и левое крыло было сильно повреждено. Мы оказались слишком низко, для того чтобы выровнять высоту или выпрыгнуть с парашютом, так что выбора не было — мы совершили аварийную посадку. Мы угодили на поле, потом наш самолет врезался в живую изгородь, его развернуло вокруг оси, и остановился он уже на другом поле. Боюсь, это все, что я помню. Я ударился головой и потерял сознание.

МЕЛВИЛЛ. Рассказ может продолжить второй пилот. Вот он. Лейтенант Томас Р. Уэстроуп, 22-х лет, из Харлана, штат Айова. Продолжайте, лейтенант.

УЭСТРОУП. Ну вот, после падения я сразу же решил выяснить, все ли целы. Мы все были в шоке, многие получили ушибы, но более-менее уцелели. Мы забрали из машины аптечки и рации, сломали радиосистему и после этого подожгли самолет. Потом мы перебрались через живую изгородь на следующее поле и залегли в канаве. Мы слышали голоса немцев совсем близко и лежали, затаив дыхание. Под конец ночи мы поспали или, вернее, попытались поспать немного в своей канаве — из-за холода заснуть было трудно. На следую-

щее утро, около десяти, нас там нашла одна француженка. Мы сказали ей, что мы американцы, и нам удалось с помощью жестов объяснить, чего мы от нее хотим (а хотели мы, чтобы она нас спрятала). Она сделала нам знак подождать и ушла. Потом вернулась, и следующие два дня она и ее друзья прятали нас на разных полях и в стогах сена. Они нам приносили вино, молоко и еду. После того как мы провели день в стогу, один француз из движения сопротивления забрал нас к себе домой. Здорово было наконец оказаться в доме!

МЕЛВИЛЛ. Да, оказаться "наконец в доме", должно быть, правда, было очень здорово. И как долго вы там пробыли? Хотя, лучше пусть продолжит техник-сержант Смит. Вы ведь техник-сержант Смит, я ничего не путаю?

СМИТ. Да, сэр, Джеймс И. Смит из Чикаго. Ну вот, когда мы пришли в дом, нас покормили, принесли нам матрацы, и мы завалились спать. И это тоже было здорово! Мы там пробыли две с половиной недели. Французы относились к нам с большим уважением и добротой. Благодаря им мы чувствовали себя, как дома.

МЕЛВИЛЛ. Две с половиной недели? Что же вы делали все это время?

СМИТ. Ну, мы играли в карты, мыли посуду по очереди. А потом нашим главным развлечением стало слушать стрельбу американских орудий, которая все приближалась и приближалась.

МЕЛВИЛЛ. Да, думаю, стрельба из американских орудий была для вас сладчайшим звуком. И вы, конечно, понимали, что это означает?

СМИТ. Да, французы делились с нами новостями. Мы знали, что американцы атакуют Шербур. Эти французы были просто замечательными. Они рисковали своими жизнями, чтобы спасти нас.

МЕЛВИЛЛ. Я так понимаю, некоторые немецкие укрепления, которые бомбили и обстреливали американцы, были совсем близко от вас?

СМИТ. Да, именно так. Иногда было жутковато. Мы все, конечно, надеялись, что американцы вышвырнут отсюда этих чертовых фрицев, ну а еще надеялись, что и мы при этом уцелеем. К нам то и дело вбегал кто-нибудь из французов и кричал: "Много немцы капут", что значило: "Много немцев убито". Но дальше пусть лучше рассказывает четвертый член нашей команды.

МЕЛВИЛЛ. Хорошо, как вас зовут, сержант?

ДИЛИСТОВИК. Сержант Джон Э. Дилистовик. Мне 21 год, я из Хобокена, Нью-Джерси.

МЕЛВИЛЛ. Вы продолжите, сержант Дилистовик?

ДИЛИСТОВИК. Так вот, вчера мы сидели на кухне и вдруг услышали пулемет, совсем близко. А потом одиночные выстрелы. Мы сразу бросились на пол и пролежали так несколько часов, и все это время слышали пулеметные очереди, выстрелы и танковые обстрелы. Мы догадались, что это пришли американцы. И вскоре убедились в этом, услышав крик: "Они здесь уже, здесь, давайте их встретим!" А потом опять началась перестрелка, но вскоре пришел француз и сообщил нам радостную весть: город взяли американцы. Мы вслед за нашим другом выскочили из дому и побежали к ним. И, ребята, как же мы были рады видеть своих!

МЕЛВИЛЛ. Не сомневаюсь. Наконец-то вы опять на той стороне фронта, на какой надо.

ДИЛИСТОВИК. Это правда. Но я все время понимал, что американские пули могли попасть и в нас. Да, ребята, не хотел бы я быть фрицем!

Алан Мелвилл

14 июня 1944

Немцы, безусловно, рассчитывали на те трюки, которые так удачно срабатывали в 1940-м. Они пробовали передавать по радио на английском языке приказы об отступлении, но теперь эти приемы устарели. Лучшим ответом им стали слова генерал-майора шестого подразделения британских воздушно-десантных сил Р. Н. Гейла, который заявил, что приказ об отступлении никогда не будет передан по радио, что же касается его лично, то такого приказа он вообще никогда не отдаст. Немецкая пропагандистская машина успехов не приносила, яростность и сила атак, которые прорвали линию Зигфрида, "ломали" врага еще и психологически.

Попытки немцев предпринять пропагандистскую атаку на этой территории на следующий же день пресек британский патруль; они убили капитана и сержанта и взяли в плен капрала из отдела пропаганды, присланного из Лилля вместе с репродукторами и оборудованием для радиопередач на линию фронта.

Капрал великолепно говорил по-английски, но приготовленный им пропагандистский материал был сделан топорно. Он следовал обычной тактике нацистов по разобщению союзников. При нем была листовка, озаглавленная "Добро пожаловать на континент", со следующим пассажем в тексте. Цитирую дословно: "Какие идиоты вбили вам в головы, что

континент угрожает Америке или Британии? Разве мы когда-нибудь пытались вторгнуться на ваши берега?"

Честер Уилмот

15 июня 1944

Нет сомнений в том, что на этом континенте нас "горячо ждали" (в обоих смыслах слова), но нельзя не сказать об ужасном парадоксе, заключающемся в том, что для многих французов нашими первыми дарами стали разрушения и опустошения в зоне конфликта. Это было прискорбно, но неизбежно, о чем много говорили официальные лица, но и официальные лица других армий не меньше сокрушались по этому поводу. Забота и бережное обращение с собственностью друзей и уважение к их святыням естественны для простого солдата. Никакие правительственные поручительства, которым следуют самым добросовестным образом, не убеждают так, как неловкая заботливость отдельных рядовых солдат, таких, как капрал из Уигана Том Галин. Перед капралом Галином была поставлена задача снять с церкви снайперов, после того как это не удалось сделать пулеметчикам.

"Нам приказали, — рассказал Галин, — очистить колокольню, но мы не могли к ней подобраться, и тогда я взял свой ручной гранатомет и пошел в дом напротив, поднялся в спальню на втором этаже, установил гранатомет на подоконник и направил на колокольню. Взрывом снесло верх колокольни. Позже мы нашли там двенадцать мертвых фрицев; кого-то из них убили наши пулеметы, а мой гранатомет завершил дело".

"Церковь сильно повреждена?" — спросил полковник. "Только снаружи, сэр, — ответил Галин. — Мы всего лишь снесли верхушку, мы бы ее не тронули, если бы там не было снайперов. И когда я заходил внутрь, сэр, я всегда снимал головной убор".

Честер Уилмот

16 июня 1944

Есть одна вещь, которую я, думаю, не забуду никогда, — я видел, как британская пехота неуклонно, хотя и с трудом, продвигалась вперед к линии фронта по разбитым дорогам Франции: солдаты шли вереницей, с опущенными головами, согнувшись под тяжестью ноши, которую несли на спинах, вооруженные до зубов... Чуть ли не валясь с ног, они шли и шли вперед, только вперед, хоть и медленно, но упорно продвигаясь к фронту. Пот

струился по их лицам, сбоку, на бедре у каждого болталась привязанная кружка для питья; они не смотрели назад (да и по сторонам тоже); одно упорное стремление — вперед, к фронту, только вот дорога была неровная, и это их немного раздражало.

Военные машины, грузовики и танки эшелон за эшелоном проходили мимо, погружая их в облака пыли, но они как будто не замечали этого. Такое зрелище даже бессердечного человека не оставит равнодушным.

Л. Э. Николлс, *подполковник авиации, Королевские ВВС*

19 июня 1944

Если сегодня в Нормандии находится ваш брат, или муж, или ваш любимый, есть большая вероятность, что где-то во Франции ваше имя написано вдоль одной из пыльных дорог, на грузовике, бульдозере или на цистерне; просто имя, аккуратно выведенное краской, возможно, на лобовом стекле или на крышке бака. Чаще всего это простые имена — "Мэри", "Единственная Хелен", "Джой", "Глэдис" и тому подобные.

Но встречаются и другие надписи, чаще всего, пожалуй, фраза, которая неизменно вызывает улыбку на лицах военных. Это фраза, смысл которой не поймет никто, кроме британца. Ее видишь повсюду. "Сомневаешься — выпей чаю". Она, конечно, встречается в разных вариациях. Мне попался грозного вида внедорожник, размером с небольшой дом, с надписью "Чаевники из Клапама". На перекрестке, где руины домов свидетельствуют о том, что это место было подвергнуто атаке противника, черная надпись на желтом щите: "Если вам захочется попить чайку, не делайте этого здесь, могут и убить". И вот на этом перекрестке, как и на большинстве перекрестков Франции, стоит человек, которого еще только вчера можно было видеть на вашей Хай-стрит, военный полицейский, выполняющий великую миссию — он контролирует, должно быть самые загруженные в мире, дороги.

Гай Бьям

19 июля 1944

Когда мы перелетели на другую сторону Ла-Манша, я видел огромные всполохи огня из тяжелых орудий Военно-Морских сил. До чего же крутые парни эти ребята из Военно-морских сил. Они умеют задать жару противнику. Мы видели, как они стреляют на поражение, когда пролетали над побережьем, на-

правляясь к Кану. Огромные столпы дыма и пыли взмывали над городом и поднимались на тысячу футов над землей после страшных взрывов, учиненных ВВС и ВМС Великобритании и "Мародерами"[1] из Девятой воздушной армии ВВС США. Я знаю, что рискую показаться безумцем, но все же скажу, что солнце, пылающее сквозь эту завесу дыма — жуткое, но и прекрасное зрелище. Сначала страшные разрушения внизу разглядеть было невозможно. Но скоро я их увидел. Деревья и живые изгороди были как будто срезаны гигантским плугом. Бомбы союзников отрезали немцам дорогу от их оборонительных сооружений. Да и артиллерия союзников тоже внесла свою лепту. Никогда, даже в День высадки, не видел я ничего похожего. И наша артиллерия непрерывно выпускала на город снаряды, попадая точно туда, где было больше всего немцев.

Мы уже были почти внутри огненной завесы. Фрицы, должно быть, опираясь на опыт предыдущих атак, теперь вели заградительный огонь. Вот что забавно: зенитный снаряд, когда взрывается, похож на большую волну мягкого черного шелка, как будто это плод воображения Уолта Диснея. И только когда ты слышишь "умф", ты понимаешь, что снаряд совсем не такой уж и мягкий. Этот "умф" для меня звучит, как "Иди домой!" Но ты не уходишь, ты продолжаешь продвигаться вперед под бомбежкой. Не успели мы влететь в огненную завесу, как ближайший ко мне справа самолет получил удар прямо в топливный бак. Из него вырвались языки пламени. Потом он взорвался. Хвостовой стрелок сказал, что видел, как от самолета отделились несколько парашютов. Я был безумно рад это слышать, потому что все эти ребята мои близкие друзья. Затем мы стали прорываться. Шесть раз пролетали над снарядом прямо во время взрыва. Немцы наносили удары со всех сторон и пробили в нашем самолете несколько дыр. А затем наши бомбы, сброшенные на землю, на которой продолжали упорствовать фрицы, завершили атаку.

Джон Нидегер, *первый лейтенант, Девятая воздушная армия ВВС США*

19 июля 1944

Особенных результатов мы не добились — нам удалось продвинуться всего на пять миль в узком секторе. Ворота в Париж и Рейн еще были заперты, но и замки и щеколды дрожали под

1. "Мародер" — Мартин B-26, американский бомбардировщик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

натиском союзников, и каждый новый удар теперь угрожал выбить их окончательно. В Кане и Сен-Ло союзники планомерно высвобождали плацдарм для маневрирования, и затянувшаяся борьба в этом районе, где поля чередовались с лесом, подходила к концу.

Исход операции теперь не вызывал сомнений. Сможет ли Роммель удержать британские бронетанковые войска на открытой территории, не допустив их к Орну и в то же время противостоять натиску американцев, пытающихся захватить Сен-Ло? Если не сможет, это поставит под угрозу всю германскую армию во Франции. И серьезные опасения немецких старших офицеров полностью подтвердились 20 июля, когда сразу после сдачи Сен-Ло и атаки в Орне было совершено покушение на Гитлера.

Напряжение дало себя знать. Период отчаянных боев за каждую деревню, ферму или холм и за каждую сотню ярдов практически кончился. Немцы все еще уверенно удерживали свои холмы, но это была "борьба за выживание". Все шло к тому, что союзники вот-вот окончательно выбросят немцев с завоеванных позиций. Это будет одно из самых значительных сухопутных сражений в истории. Вся Франция замерла в ожидании, скрывая волнение под видимой покорностью судьбе — да, вся Франция, за исключением маленького кусочка Нормандии, в котором бои уже отгремели. Здесь, у побережья, жизнь постепенно входила в нормальное русло. А в небольших бытовых эпизодах, нельзя было не почувствовать благодарность за освобождение, которого с таким нетерпением ждали Франция, Голландия и Бельгия после долгих лет отчаянья и надежды.

Роберт Барр

21 августа 1944

Дорога из Фалеза на Аржантан идет все время через холмистую местность, и сегодня утром, спускаясь вниз, мы вдруг увидели прямо перед собой колонну пленных, такую огромную, что конца ее не было видно, — что-то похожее я видел только в Северной Африке. Они шли строем или, правильней сказать, с трудом тащились по трое, привязанные друг к другу. Несколько вооруженных британских военных несли раненых. Изнуренные, небритые, одетые в лохмотья пленные — то, что осталось от Седьмой германской армии, — под проливным дождем брели в лагеря для военнопленных, неся свои пожитки и держа на плечах одеяла, которыми закрывали головы в тщетной попытке не промокнуть насквозь.

Неподалеку от линии фронта мы встретили одного офицера, выглядевшего очень усталым, который пытался одновременно и руководить солдатами и управляться с пленными. "Просто не знаю, что с ними делать, — сказал он. — Они сами к нам в руки идут". А в штабе бригады нам сказали: "Наша бригада и разведывательный полк взяли вчера больше 1100 человек. Сегодня утром в девять часов звонят из разведки и говорят, что взяли еще шестьдесят, в девять двадцать сообщили, что пленных уже 300, к половине одиннадцатого их была опять тысяча".

Я видел список дивизий, из которых были эти пленные. Это пятнадцать дивизий, пехотные и танковые войска, десант и СС. И сейчас все они тут, вперемешку! Как это символично для дезорганизованной, совершенно растерянной Седьмой германской армии!

Фрэнк Гиллард ведет запись из укрытия на свой минимагнитофон. Гиллард стал одним из ведущих военных корреспондентов Би-би-си на Западном фронте

Через пять миль от Аржантана мы свернули по сельской дороге на северо-восток. Когда-то немцы использовали эту дорогу для отступления, теперь она превратилась в кладбище для их вооружения и для них самих. Чтобы убрать груды обломков и открыть дорогу для нашей пехоты, пришлось использовать бульдозеры. Увиденное не поддается описанию, чего тут только не было: всевозможные средства передвижения, немецкое оружие, танки, грузовые и служебные маши-

ны, бронемашины, машины-амфибии, телеги, с нагруженными на них боеприпасами, всяким барахлом и едой; и все это было поломано или разбито вдребезги. Здесь можно было найти автомобильные двигатели, вырванные взрывом из машин и валяющиеся в двадцати или тридцати ярдах от них. Танки "Пантеры" со "срезанными" башнями — танк мог быть с одной стороны дороги, а его башня с другой. Вот на что способна ракета "Тайфун".

Можно было догадаться, что немцы снова и снова отчаянно пытались отклониться от дороги, чтобы спрятаться от воздушной атаки, укрыться под фруктовыми деревьями или широкой живой изгородью. Как только нашим пилотам удавалось их там найти, уму непостижимо. Кое-кто из немцев просто задохнулся там, прячась в зелени, и тем себя погубил. Правда, они погибли бы в любом случае.

Мы поняли, что одно из самых страшных кровопролитий этой войны произошло на этой дороге всего за несколько дней до нашего прибытия. Я встретил здесь нескольких артиллеристов, которые пришли посмотреть на результат своей работы, так как принимали непосредственное участие в разгроме немцев. Они рассказали, что назвали это место "дорогой смерти". Большое количество вражеской техники было изуродовано самими хозяевами и брошено на обочине из-за того, что кончился бензин. А наши войска, несмотря ни на что, и пешком продвигались вперед, продолжая преследование. Наши солдаты были счастливы, что одержали победу. Ведь некоторые их тех, кого я встретил этим утром, сражались с июня без малейшей передышки. Многие из них теперь пели, кричали, свистели и смеялись, когда под дождем шли по этой дороге.

Фрэнк Гиллард

17 октября 1944

Обгоревшие остовы сожженных домов стояли по обеим сторонам опустевших улиц. Тротуар был завален осколками, ветками и обломками деревьев, почти на каждой улице можно было увидеть еще горящее здание.

Вдруг мы замерли, услышав выстрелы из автоматического пистолета. Чтобы выманить снайпера из укрытия, американцы бросили в здание несколько зажигательных гранат. Языки пламени завершали остальное. Мы подошли к огромному бетонному зданию. Это было одно из тех мрачных уродливых строений, у которых много этажей и несколько уровней подвальных помещений; именно в них сотни горожан Аахе-

на прятались последние пять недель. Прятались тут и немецкие солдаты, и они отказались открыть нам. Американцы взяли здание в осаду, и через несколько часов один немецкий офицер сказал, что готов сдаться... если ему разрешат уйти, забрав все свои вещи и своего денщика в придачу.

Молодой командир роты лейтенант Уокер даже и не подумал согласиться на такое смехотворное требование, и в ответ пообещал, что сейчас откроет огонь из огнемета. Это сработало. Двери распахнулись... и на свет вылезли грязные, оборванные, замызганные существа из подземного мира, каких я в своей жизни не только никогда не видел, но даже и представить себе не мог. Выбравшись на поверхность, они ошеломленно замерли, даже не могли идти от слабости. Но, едва глотнув свежего воздуха, вдруг начали что-то бормотать, испускать вопли и проклятья. Некоторые кинулись ко мне, потрясая кулаками. "Где вы были столько времени? – кричали они. – Что, нельзя было раньше нас спасти от этих дьяволов?"

Немецкие мирные жители, которые неделями прятались в бомбоубежищах, покидают город в поисках безопасного места. Город освобожден британскими и американскими войсками

Нас это потрясло. Ведь это были жители немецкого города, оккупированного союзниками! И они истерично рыдали от радости на пепелище собственных домов. "Мы каждый день молились, чтобы вы пришли, – сказала нам женщина с

бледным и изможденным лицом. — От них мы такого натерпелись, что вы представить не сможете!"

А потом пошли ругательства и оскорбления. "Бандиты", "гангстеры", "ищейки" — все эти эпитеты предназначались тем, кто служил своему ненаглядному фюреру. Никто не ненавидит и не проклинает его так, как сами же немцы — эти люди просто пылали ненавистью к нацистам. И в этом не было ничего показного. Я совершенно уверен, что не обманывался. У целой нации случился нервный срыв после пяти лет игры не в те ворота. Такая ненависть может быть только в гражданских войнах.

Вы, конечно, можете спросить: "Почему же тогда немецкие солдаты все еще оказывают нам сопротивление?" Надо сказать, что многие из них уже и не оказывают. И продолжают добровольно сдаваться. От них мы узнаем о массовых молебнах, организованных простыми людьми, — молебнах о нашей победе. Они рассказали нам, как командир немецкого гарнизона расстрелял двадцать человек, которые пришли просить его сдаться. Я разговаривал с женщиной, которая потеряла все, а муж ее сейчас в армии, где-то на Восточном фронте. Я спросил ее: "Станет ли Аахен предупреждением для других немецких городов?" Она покачала головой и ответила: "Вряд ли. Гитлер хочет разрушить Германию. Он хочет, чтобы союзники загнали нас всех в один угол и чтобы там ваши бомбы нас всех порешили. Мы обречены как нация". Другие твердили: "Мы ненавидим Германию. Мы хотим уехать, но вынуждены остаться. Никому мы не нужны. Никто во всем мире не вызывает такой ненависти, как мы".

Пугающая темнота окутала этих виновных во многом людей, живущих в зловонных темных подвалах, у которых не осталось ничего, кроме надежды. Другие европейцы, также страдающие сейчас, могут утешаться хотя бы сознанием своей правоты, а у немцев нет и этого.

Тем временем американцы методично обходили улицу за улицей. Я следовал за ними. Впереди, в нескольких ярдах от нас, танк "Шерман" обстреливал здания из пулемета.

Вдруг он затих. В одном доме было пулеметное гнездо немцев. Мы крались вдоль стены, пока танкист окончательно не разобрался с ним, расстреляв его в упор. Улицы содрогались от грохота орудий. Над нашими головами свистели бомбы. Шел дождь. На тротуаре передо мной лежал убитый немецкий солдат, и вода струилась по его пожелтевшему лицу. Мы пошли дальше. Каждые десять ярдов приходилось останавливаться, чтобы обыскать какой-нибудь дом сверху донизу и удостовериться, что там нет снайперов; двери солдаты выбивали, а в комнаты, вызвавшие подозрение, забрасывали

гранаты... Мы шли через сердце города, в котором темный купол кафедрального собора все еще возвышался над местом погребения Карла Великого.

Джордж Муха, *чешский корреспондент*

24 марта 1945

Через тридцать секунд танки-амфибии, везущие в атаку войска, начнут переходить Рейн. Рейн сейчас темный: "Бофорсы" и пулеметы, которые обстреливали поверхность воды, смолкли, только четыре или пять "Бофорсов" производят одиночные выстрелы, чтобы проводить амфибии к берегу.

Американские солдаты проходят военную подготовку на танке-амфибии "Шерман-М4". Эти танки были успешно использованы для перехода через Рейн

Да, теперь я вижу, как танки-амфибии проходят сквозь заросли у воды — не знаю, сколько их спустилось в воду, но я вижу, что, по крайней мере, четыре или пять амфибий выстроились в ряд, проходя между стволами деревьев; один из танков, последний в колонне, приближается к берегу и исчезает из виду; он скрылся под линией берега и сейчас, очевидно, ткнулся носом в воду. Но вот что удивительно — хотя у меня достаточно широкий обзор реки, — я ни разу не видел огня со стороны противника; без сомнения они должны отстреливаться, но я не вижу трассирующих снарядов (хотя они всегда используют трассирующие снаряды), не вижу также никаких разрывающихся мин ни в воде, ни на берегу меж-

ду кромкой воды и моим наблюдательным пунктом. Кажется, что враг здесь наконец-то остановился, сраженный мощным заградительным огнем из разнообразного оружия, стрелявшего в него много часов подряд. И, наконец, наступил этот момент: танки-амфибии входят в спокойные воды Рейна, беспрепятственно спускаются в реку и пересекают ее.

Честер Уилмот

31 марта 1945

Все разговоры были только о том, где сейчас американская армия. Немецкие водители грузовых машин, возвращающиеся с фронта, утверждали, что чудом миновали плена. Но в среду днем стало очевидно, что американцы и в самом деле очень близко. Наш временный лагерь состоял из нескольких бараков в открытом поле, где были груды шлака и где когда-то располагался военный завод. Около трех часов дня ситуация обострилась, снаряды падали уже прямо перед нами, а пулеметный огонь становился все интенсивней. Вскоре на горизонте мы увидели какие-то фигуры. Было решено эвакуировать лагерь в немецкие бомбоубежища, которые находились на большой глубине, под грудами шлака. Наши немецкие охранники, как только вошли в убежище, тут же поснимали оружие и побросали его в дальний угол. Из-за этого оружия у них могли быть большие неприятности — вряд ли можно рассчитывать на дружескую встречу с американцами, встреть они их вооруженными. Я свалил свои пожитки в укрытие и вылез наружу. Шум боя нарастал; и вдруг неожиданно из леса выехали американские танки и грузовики с военными. Все замерли от волнения.

"Идите, посмотрите на американские танки!" — крикнул я русским девушкам, которые работали в местном ресторанчике. "Американские танки? Nie vozmozhno!" — закричали они. Французы тоже кричали "Pas possible", но это было возможно, это было правдой. Один грузовик остановился, из него выпрыгнули двое и спустились к противоположному от нас берегу Лана, реки, отделяющей нас от них. Я быстро сбежал с крутого берега со своей стороны. К величайшей удаче там стояла привязанная баржа. "Как вы там?" — спросили американцы. "В порядке", — сказал я. "Хотите перебраться к нам?" — "Да!" — "А вы сможете перегнать лодку на этот берег?" Еще бы я не смог! И вместе с тремя другими, один из них — единственный в нашем лагере американский военнопленный, мы, отталкиваясь шестами от дна реки, перегнали старую развалину к другому берегу. "Как ваши охранники?" — спросили американцы, когда мы достигли се-

редины реки. “Кроткие, как ягнята, — ответил я, — насчет них можете не беспокоиться”. — “Да мы и не беспокоимся!” — сказал один американец и провел пальцем по своему пулемету. Мы чуть не перевернули лодку на обратном пути, но все же нам удалось довезти своих избавителей целыми и сухими. Они с трудом пробивались сквозь толпу приветствующих их военнопленных и иностранных рабочих. Даже на лицах немцев было облегчение. Никаких больше бомб и никаких сигналов тревоги. Самое страшное в этой войне осталось позади и для них тоже.

Эдвард Уорд, *корреспондент Би-би-си, освобожденный из лагеря для военнопленных в Северной Африке*

17 апреля 1945

В попытке найти оправдание или хоть какое-то объяснение существованию подобных мест, немцы из гражданского населения часто утверждали, что туда посылают только “преступников”. В таком случае в Бухенвальде едва ли мог оказаться британский офицер. Капитан С. Э. Дж. Берни (Хей, Херефорд) рассказывает, как он провел пятнадцать месяцев в лагере, корреспонденту Би-би-си Роберту Рейду:

РЕЙД. Кто руководил лагерем?

БЕРНИ. Лагерем руководили эсэсовцы.

РЕЙД. И как там все было?

БЕРНИ. В качестве наглядного примера могу рассказать, как с нами обращались, когда мы сюда приехали. Нас привезли посреди ночи, температура была примерно пятнадцать градусов мороза. Нашу обувь (а у некоторых и одежду) отняли в поезде, чтобы мы не смогли сбежать. И вот на станции двери открылись, и эсэсовцы выгнали нас пинками из вагонов. Били по головам, меня толкнули на собаку, и та вцепилась мне в руку, тогда другой эсэсовец пинком оттолкнул меня от нее. Так я прибыл в лагерь.

РЕЙД. А в самом лагере зверства были?

БЕРНИ. Были смертные казни, и проводились эти казни регулярно.

РЕЙД. А на каком основании они проводились? Суд какой-то при этом был? Казнили за какие-то нарушения порядка или за что?

БЕРНИ. Иногда вообще без всякой причины, иногда за нарушения, которые они считали преступлением, хотя ни один цивилизованный человек не назвал бы их преступлениями.

РЕЙД. Например?

БЕРНИ. Побег. Тот, кто отсутствовал три дня, автоматически считался преступником, его ловили и вешали.

РЕЙД. А как еще они лишали жизни?

БЕРНИ. Они вешали, расстреливали, у них были такие специальные ловушки: человек становился на люк и получал пулю в горло, были электрические стулья, делали инъекции фенола или просто пузырьков воздуха или молока.

РЕЙД. Вы сами видели смертную казнь?

БЕРНИ. Нет.

РЕЙД. А захоронения или трупы?

БЕРНИ. Я видел немыслимое количество трупов. Думаю, я видел тысячи трупов за то время, что я здесь.

РЕЙД. А где же их хоронили, в лагере?

БЕРНИ. Как правило, кремировали; был крематорий, большую часть тел сжигали там, но под конец у них кончился уголь, и горы трупов так и оставались лежать.

РЕЙД. А то, что называют "дух товарищества", было это среди заключенных?

БЕРНИ. Честно говоря, не могу сказать. Если хочешь попасть туда, где тебя все ненавидят, такой лагерь — лучшее место. Люди воровали друг у друга, убивали друг друга за кусок хлеба, постоянно ссорились, было много межгрупповых столкновений. Одна группа ненавидит другую, та третью и так далее.

РЕЙД. А немецкое начальство поощряло такие чувства, такие нездоровые настроения?

БЕРНИ. Да, безусловно.

РЕЙД. Каким образом?

БЕРНИ. Кому-то они давали власть, а кого-то намеренно принижали. Так поддерживалось соперничество между разными группами — у тех, кому дали власть, развивалась мания величия, а у тех, кому не дали, — комплекс неполноценности.

РЕЙД. А какой вы подвели бы итог своему пребыванию здесь?

БЕРНИ. Я не могу выразить это приличными словами в микрофон.

РЕЙД. Это шокировало вас?

БЕРНИ. Да, шокировало, и в то же время все это было настолько невероятно, почти нереально, что, я думаю, каждый, кто вернется назад в цивилизованный мир, должен постараться забыть обо всем этом, хотя бы на какое-то время.

РЕЙД. Вы действительно думаете, что были где-то вне цивилизованного мира?

БЕРНИ. Да, абсолютно так. И вообще вне мира. Все, что тут происходило, не имело никакого отношения к тому, что

было до этого, как будто я провел год где-то на другой планете. Возможно, на Марсе.

17 апреля 1945

Когда мы подлетали к германской столице, кто-то доложил, что слева от нас самолет. От неожиданности мы резко изменили курс, и наше левое крыло качнулось в сторону, противоположную от предполагаемого противника. Стоял туман, поэтому сначала я ничего не увидел, и вдруг самолет возник прямо перед нами. Он был не один — несколько самолетов летели на небольшом расстоянии друг от друга. Вдруг кто-то закричал: "Это русские!" Но мы еще не были в этом уверены, так что не спешили приблизиться к ним. Они, безусловно, тоже нас заметили и, похоже, тоже слегка заволновались. Те из них, которые показались мне истребителями, легли на крыло и резко поменяли направление, причем маневрировали они хорошо. Тут мы все кинулись в верхнюю часть самолета и увидели, что это знаменитые русские бомбардировщики-штурмовики в сопровождении боевых самолетов Як. Одновременно и они поняли, кто мы. Мы с ними тут же обменялись дружескими сигналами и стали махать им, приветствуя красных пилотов, а они приветственно покачивали крыльями своих самолетов. Потом мы подошли так близко, что увидели русские красные звезды на их крыльях и фюзеляжах. Вот так, около самого Берлина, мы впервые увидели своих русских союзников.

Партридж, *лейтенант, Королевские военно-воздушные силы Великобритании*

22 апреля 1945

Берлин как столица Рейха (который, как провозглашал Гитлер, должен был просуществовать тысячу лет) доживает свои последние часы в обстановке смятения и паники. Русские и немецкие пилоты схватились в бесконечно долгом воздушном бою над его крышами, а воздух звенит от грохота русских орудий и взрывов русских мин, некоторые мины попали в самый центр Берлина на Унтер-ден-Линден, Постдамер-плац и Лейпцигерштрассе. А еще воздух звенит от голосов нацистов — они истерично выкрикивают приказы, угрозы и призывы, обращаясь к жителям города, которые сами в не меньшей панике, чем они. Либо просто оцепенели от страха. Вот почему шведский корреспондент прокричал в телефон, передавая сообщение в свою газету: "Это, наверно, последний наш разговор перед па-

дением Берлина!" И это его красноречивое утверждение было прервано грохотом русских орудий.

Как только стало известно, что русские наступают с юга и востока одновременно, тысячи берлинцев бросились из Берлина на запад и северо-запад. Танки, остатки ополчения, отряды фольксштурма, наскоро собранные для борьбы с Красной армией, беженцы — все это заполнило улицы западной части Берлина. Охваченные паникой берлинцы кидались к трамваям и к поездам метро, которые, согласно строгому приказу, были выделены исключительно для перевозки раненых, но теперь берлинцы буквально дрались со своими же ранеными за место в этом транспорте. На станциях метро можно увидеть ужасающие сцены, когда женщины и дети тщетно пытаются пробиться в поезд. А те берлинцы, которые все же остались в городе, совершенно не выражают никакой готовности к какому-либо сопротивлению. Большая их часть проводит все время в бомбоубежищах, которые так переполнены, что здесь даже сесть негде. А по улицам города бродят иностранные рабочие и военнопленные — в огромном количестве и без всякой охраны.

Норман Макдоналд

26 апреля 1945

Грохот боев на улицах слышен за три мили от Берлина. Дороги на восток от города запружены людьми. Среди них советские граждане, возвращающиеся домой из немецкого плена, и берлинцы, сбежавшие с места боя, теперь они направляются туда, куда уже пришла Красная армия. Немцы сконцентрировали большую часть остатков люфтваффе на востоке и юго-востоке столицы, 1200 самолетов брошены на то, чтобы отражать атаки с воздуха. Но силы Красной армии подавили их. Бывает, что все небо заполнено самолетами, которые оказывают поддержку нашим наземным войскам. Вот типичный разговор, который я слышал, между старшим офицером военно-воздушных сил (находящимся на земле) и командиром экипажа в воздухе: "Вы промахнулись из-за задержки в полминуты. В чем дело?"

И ответ с воздуха: "Да я вот толкусь тут, жду, пока дорогу освободят". Еще через пару секунд командир экипажа продолжил, обращаясь уже к пилоту другого экипажа: "Петляков, уступите, наконец, место! Сейчас не ваша очередь!"

Пошел мелкий дождик, который немного прибил пыль. О, эта берлинская пыль! Западный ветер понес ее прямо на

нас. Она даже закрыла солнце. В семь часов на небе еще не было ни облачка, а к полудню все погрузилось в противоестественный полумрак. Дальше, чем на несколько ярдов, ничего не было видно. Солнце поднималось все выше, но его лучи не доходили до земли. Водители грузовых машин, подвозящие боеприпасы к линии огня, включили фары. Невозможно было поверить, что сейчас день и светит солнце. Немецкое командование уже не в силах на что-либо повлиять, но все равно продолжает сопротивляться. Они разделили город на укрепленные зоны, а зоны — на укрепленные сектора. Все высокие здания, соединенные между собой ходами сообщения, превращены в очаги сопротивления. Пушки, пулеметы и минометы стоят на каждом углу.

Противник держит под перекрестным огнем каждую улицу, многие каналы тоже представляют серьезную угрозу — их берега превращены в военные укрепления.

Немцы прижимаются к своим домам, ошалело глядя в небо, заполненное самолетами Красной армии, и озадаченно смотрят на советскую военную технику, которая с грохотом проезжает по улицам. Какой-то нацист — еще до того, как мы вошли в город, — написал неровным почерком на стене дома: "1918 год не повторится". Солдат Красной армии зачеркнул эту надпись и написал ниже по-русски: "Я в Берлине. Сидоров".

Советский военный корреспондент

27 апреля 1945

Именно патруль лейтенанта Уильяма Робинзона 273 полка приказал объединить восточный и западный участки фронта в Торгау еще в прошлую среду. К востоку от реки Мульде действовали и другие патрули Первой армии, с ними тоже удалось наладить связь.

Войска генерала Ходжеса давно ждали, когда настанет этот великий момент. Пилотов, возвращающихся с полетов над нейтральной зоной между реками Мульде и Эльба, подолгу расспрашивали о том, что они видели. Часами напролет люди, припав к радиоприемникам, напряженно слушали, стараясь уловить обрывки переговоров с русскими. И это напряжение было понятно — все с нетерпением ждали приближающейся развязки.

Конечно, Первая армия могла бы перейти Мульде — на другом ее берегу не было противника, с которым американцы не смогли бы легко справиться. Но они проявили выдержку и поступили очень мудро. Наш плацдарм на этом берегу

был хорошо укреплен, и выжидательная позиция была продиктована не опасением атаки со стороны противника, а весьма вескими, хотя и необычными причинами.

Так как две мощные армии шли навстречу друг другу, а их общий враг оказался посередине, было очевидно, что, когда наступит развязка, для обеих сторон возникнет весьма непростая ситуация. Русские могут не опознать американцев, а те, в свою очередь, не опознают русских. К тому же такой коварный враг, как немцы, вполне может все это предвидеть и использовать ситуацию с выгодой для себя. И только из-за того, что две дружественные армии не узнают друг друга, возникнут столкновения и перестрелка. Последствия такой неожиданной встречи союзников, конечно, обернулись бы трагедией.

И вот, чтобы исключить возможность недоразумения, генерал Брэдли весьма мудро придержал свои войска на западном берегу реки, на том месте, которое очень легко было определить, и там стал ждать прибытия русских. Наши союзники точно знали, где мы; это место на карте найти проще простого; здесь у немцев не было никакой возможности для фронтального наступления и столкновение между союзниками было исключено. И вот благодаря этому решению, исход оказался таким, каким и должен был быть, к нашей всеобщей большой радости.

Фрэнк Гиллард

27 апреля 1945

В живописном средневековом городе Торгау я видел, как 330 солдат Первой американской и Красной армии обнимали и целовали друг друга. Я тоже попал в горячие объятия здоровенного украинского парня.

Стоя на западном берегу Эльбы, я видел, как в городе русские солдаты от переполняющей их радости стреляли в воздух из винтовок и минометов. Какая незабываемая сердечная встреча и какое потрясающее зрелище! Военные обеих армий изо всех сил старались объяснить друг другу, что они хотят сказать. (И оказалось, что понять друг друга им не так уж и трудно.) Более счастливой сцены братского единения двух наций просто нельзя представить. Русский лейтенант, сидя на разрушенной стене, играл на аккордеоне и пел русские песни, а пехотинцы ему подпевали. Всех по кругу обносили напитками, и все были счастливы.

Эдуард Уорд

29 апреля 1945

Сегодня в Гааге люди впервые за несколько лет услышали бакалейщика, зазывающего в свою лавку. Правда, было воскресенье, но как говорится, "в доброе время все спорится". Этот бакалейщик побывал и в Роттердаме, и в Лейдене. Хотя все магазины закрыты — не из-за воскресенья, а потому что в них нечего продавать.

Я летал с королевскими авиационными войсками в рейсы, доставляющие продовольствие. Мы использовали бомбардировщик "Ланкастер" и за день обеспечивали продовольствием тысячи голодающих голландцев, многие из них не видели еды месяцами. Для примера могу сказать, что наш отряд привез такое количество еды (сорок две тонны), которого было бы достаточно, чтобы за день накормить пятую часть всего населения Гааги. А наш отряд был не единственным.

Все эти воздушные судна везли продукты, из которых можно приготовить прекрасные блюда. Муку и дрожжи, чтобы испечь хлеб; банки с мясными консервами и ветчину, а к мясу — перец, соль и еще горчицу для вкуса. Голландцы любят овощи — пожалуйста, мы припасли для них банки сушеного картофеля и мешки фасоли и гороха. Сахар, маргарин, сухое молоко, сыр, яичный порошок и шоколад в придачу. За недели подготовки был проработан четкий план доставки продуктов. Мы использовали специальные канаты, чтобы каждый самолет мог благополучно сбросить 355 двадцатифунтовых "продовольственных бомб" людям, многие из которых в мирное время отнюдь не нуждались в продуктах. Чтобы выполнить эту гуманитарную миссию, мы вскоре после полудня пересекли Северное море и на очень низкой высоте приблизились к Гааге. Наша цель — летное поле Япенбург на юго-востоке от города — была хорошо видна. Самолеты наведения высветили ее зеленым светом, а белые перекрещивающиеся полосы в центре — красным.

Как только мы подлетели к побережью Голландии, люди на полях и дорогах и в садах с маленькими домиками стали неистово махать нам. Но только тогда, когда мы пролетели над Гаагой, мы поняли, что наш дар — поистине манна небесная для голландцев. Все дороги были запружены людьми, они махали флагами, простынями и всем, чем только могли. Крыши высоких домов казались черными — на них стояли приветствующие нас горожане. На одной барже мы заметили триколор, а через широкую крышу многоквартирного дома был натянут яркий оранжевый флаг.

Невозможно передать словами радость этих людей, когда огромные бомбардировщики один за другим открывали свои бомбовые отсеки и тысячи продовольственных бомб разлетались в воздухе, как конфетти, брошенные рукой великана. Все дороги, ведущие в Гаагу, были заполнены телегами, детскими колясками и велосипедами, казалось, все от мала до велика спешили сюда, чтобы не пропустить раздачу. К сожалению, из-за плохой погоды мы не успели это сделать к их воскресному ужину, но зато с каким энтузиазмом британские воздушные бакалейщики раздавали сегодня свой товар!

"Это лучшие бомбы, которые мы когда-либо сбрасывали", — сказал офицер воздушного флота Эллис, один из членов нашей бомбардировочной команды.

Х. Г. Фрэнкс, *агентство новостей Нидерландов*

2 мая 1945

"Знаменитости" нацисткой Германии пополнили число военнопленных, захваченных союзниками. Среди них оказался и генерал Дитмар, прославившийся как комментатор немецкого радио и сдавшийся в плен вместе со своим сыном. И вот как теперь комментирует Дитмар эту войну.

Он был членом немецкого офицерского корпуса, о членах партии отзывается со страхом и презрением. "Гитлер, — сказал он, — никогда бы не допустил в управление вермахтом сильного человека. Как только начальник штаба начинал думать самостоятельно или проявлять какую-либо инициативу, Гитлер тут же вмешивался и стирал его в порошок!" Дитмар говорил, что он часто пытался обсудить эту ситуацию с Гудерианом, но тот в ответ твердил только: "Да, да, но вы же знаете о наших затруднениях".

О Гиммлере Дитмар отозвался так: "Девяносто процентов офицеров немецкой армии считали, что Гиммлер роет могилу вермахту. А остальные десять процентов — это молодняк, фанатичные дураки, их мнение можно не брать в расчет". В подтверждение своих слов он рассказал об Арденнской операции, проведенной Гитлером. Идея, по его словам, состояла в том, чтобы перейти Маас и двигаться на север, перекрыв таким образом все пути союзникам, находящимся за рекой. Но операция была очень плохо подготовлена, а во главе Шестой танковой армии СС — на нее в основном и рассчитывали — Гитлер поставил Зеппа Дитриха, и это было крайне неудачное решение. Сопротивление союзников оказалось упорным и хорошо организованным, и сломить его немцы не смогли. И когда фон

Рудштедт пришел к Гитлеру доложить об этом и высказал предположение, что сейчас следует довольствоваться тем, что есть, и не возобновлять операцию, Гитлер пришел в ярость и отправил Рудштедта в отставку, выместив на нем всю злость за ошибки своей партии. И в итоге, сказал Дитмар, мы не только проиграли эту битву, но и растратили впустую те немногие силы, которые надо было беречь, чтобы использовать их в другом месте с большей пользой.

Поражение люфтваффе Дитмар также объясняет плохой подготовкой и недальновидностью партии, члены которой постоянно спорили о том, какие самолеты нужно запустить в производство в первую очередь, да так и не пришли к единому решению. В конце концов, Гитлер объявил о вотуме доверия среди летного состава. Результат был настолько не в его пользу, что радиопередачу официального комментатора пришлось снять с эфира.

"Только совсем недавно, — продолжал Дитмар, — немцы стали осознавать, что войну они проиграли. Всего несколько недель назад они искренне верили пропаганде и считали, что в худшем случае им придется заключить перемирие не на самых выгодных для них условиях".

Все, входящие "в ближайшее окружение", по словам Дитмара, прекрасно понимали, что самолеты, снаряды — "оружие возмездия" — своей аморальностью безусловно вызовут возмущение у большинства. Никто из них при этом не думал, что проект "оружие возмездия" остановит войну или заставит Британию выйти из нее, но они надеялись, что оно ослабит, в какой-то степени, военный потенциал британцев.

Когда разговор перешел на страшные злодеяния, творимые в концентрационных лагерях по всей Германии, у Дитмара перекосилось лицо. Теперь передо мной сидел подавленный горем старик. Через некоторое время он наконец высказал свою точку зрения. Офицерский корпус и вооруженные силы, по его мнению, не получали достаточно информации о том, что́ происходило на самом деле. Только когда Гиммлер созвал на встречу высокопоставленных генералов, чтобы как-то оправдаться за то, что происходило, у офицерского корпуса появились первые подозрения об истинном положении дел. Гиммлер сказал, что никогда ему еще не было так тяжело отдавать приказ, но необходимо придерживаться той же политики, и он приказал сам себе не отступать, из чего генералы заключили, что это решение исходит от самого Гитлера. Дитмар говорит, что генералы не имели права открыто выразить протест. Сфера влияния каждого из них была строго ограниченна, и при малейшей попытке сунуть нос

не в свое дело проштрафившегося генерала тут же отправляли в отставку. Ответом генералов, как он утверждает, стало покушение 20 июля, к сожалению, провалившееся.

Что касается дела Дитмара, нет сомнений, что мы еще услышим о нем, — оно будет тщательнейшим образом рассмотрено в следующие месяцы. Но неубедительность многих его доводов в то утро была так очевидна, что я не мог не осознавать — передо мной просто еще один перепуганный немец.

Конечно, мы много говорили о том, действительно ли Гитлер мертв и Дёниц назначен вместо него. Дитмар говорил, что он нисколько не сомневается в смерти Гитлера, но, даже если все это только слухи, Гитлер никогда не посмеет объявить о своем существовании, потому что тогда одни заклеймят его как труса, а другие объявят в розыск как преступника.

Фрэнк Гиллард

3 мая 1945

То, что немецкие войска сдадутся в плен Второй британской армии, можно было ждать со дня на день; только на небольшой территории к западу от Бремена, немцы еще оказывали сопротивление войскам, которыми командует генерал Демпси. Сегодня пилоты доложили, что белые флаги развеваются над домами уже в расположении противника, в пятидесяти милях от линии фронта.

Немецкие офицеры, от командиров полка до командиров армии, ведут переговоры о капитуляции. Прошлой ночью две немецкие дивизии сдались без боя. Сегодня рано утром генерал Вольц, командующий гамбургским гарнизоном, согласился не только отдать без всяких условий самый большой немецкий порт, но и лично ввести Седьмую британскую бронетанковую дивизию в город сегодня же вечером. И сегодня же утром из Одиннадцатой бронетанковой дивизии пришла новость, что гарнизон Ноймюнстера, находящийся в тридцати пяти милях на север от Гамбурга и всего в тридцати милях от важнейшей военно-морской базы — города Киля, готов сдаться. Из гарнизона Ноймюнстера также передали, что и другие отряды, стоящие на Кильском канале, готовы капитулировать.

Но самой главной новостью дня стала неудавшаяся попытка капитулировать двух немецких армий, принадлежащих к группе армий "Вистула", группе, которая сражалась с Рокоссовским и держала оборону к северу от Берлина. После того как русские в апреле прорвались через Одер, эти армии,

отступая, прошли уже около 150 миль, а вчера наши колонны пробились к ним с другой стороны, пробились туда, где немцы тщетно пытались укрепиться. Их боевой дух был окончательно сломлен, и они потерпели поражение.

Сегодня их командиры, генерал Мантейфель, командующий Третьей танковой армией, и генерал Типпельскирх, командующий Первой танковой армией, предложили фельдмаршалу Монтгомери принять капитуляцию всех их войск. Предложение было отвергнуто, так как нам было достаточно капитуляции этих двух генералов и многих других высокопоставленных военных из группы армий "Вистула".

Официальная позиция Британии состоит в следующем: эти две армии все еще ведут военные действия с русскими, и мы не можем принять их капитуляцию, во всяком случае, командиры этих армий в данной ситуации не могут передать эти армии нам. Так что теперь по лесам и деревням между Балтийским морем и Эльбой бродят десятки тысяч немцев из группы армий "Вистула", тщетно разыскивая хоть кого-нибудь, кто согласится взять их в плен. Их командиры сдались, их части распались; и только те, кто находился в непосредственной близости к русским, продолжают сражаться — сражаться, уже не наступая, а обороняясь от Красной армии.

Все дело в том, что немцы любой ценой стараются избежать русского плена. Они знают, как велики их преступления перед Россией, и знают, что русские им этого не простят.

Честер Уилмот

3 мая 1945

Две великие армии, британская и русская, встретились. Перед этим русские воздвигли небольшую деревянную перегородку на дороге и поставили около нее двух бравых пограничников. Около этой перегородки и состоялась международная встреча. Все члены шестого десанта, который и определил место встречи, вышли, чтобы увидеть русских. А русские вышли, чтобы увидеть нас. И через эту перегородку было столько рукопожатий и было сделано столько фотографий! Русские охотно позировали нам, а мы их фотографировали. Некоторые пленные немцы отчаянно пытались прорваться сквозь это заграждение. Они подбегали к заграждению, но русский пограничник подмигнул мне и сказал: "Сибирь". И должен признаться, никто не испытал при этом жалости к немцам. Один десантник из шестого десанта сказал: "Как долго все длилось, но, наконец, этот миг настал, и мы здесь с русскими".

Приехали американцы, пришли военнопленные французы и стали пожимать руки, русские угощали русскими сигаретами — в общем американская, британская и русская армии действительно встретились здесь, в сердце Германии, около Балтийского моря. Это — конец гитлеровского рейха, он рухнул окончательно.

Уинфорд Воэн-Томас

4 мая 1945

Дитмар был "снят с эфира" из Берлина. С падением Гамбурга окончилась карьера и другого хорошо известного комментатора. Язвительный, многим знакомый голос лорда Гав-Гав сменился голосом корреспондента Би-би-си, который вел свой первый репортаж из Германии еще в 1942 году, сидя в бомбардировщике над Берлином, а теперь он говорит из студии Уильяма Джойса в Гамбурге:

"Говорит Германия. В последний раз она говорит из студии Гамбурга, но сегодня вы не услышите обзора новостей от Уильяма Джойса, поскольку радио-карьера мистера Джойса — которого большинство в Британии знает как лорда Гав-Гав — прервалась самым плачевным образом: он в большой спешке отправился в путешествие. Путешествие его обещает быть очень коротким, Вторая британская армия об этом позаботится. Возможно, он направился в Данию или куда-то еще на север. А теперь здесь с вами, мои слушатели из Британии, настрадавшиеся от мерзкого голоса мистера Джойса, которого вам пришлось терпеть шесть лет, — здесь с вами Би-би-си, и я веду репортаж на тех же волнах, что и мистер Джойс.

Я сижу перед микрофоном лорда Гав-Гав, вернее сказать, перед его последним микрофоном, которым он пользовался три последних недели своей карьеры, и мне любопытно, а что сказал бы лорд Гав-Гав по поводу последних новостей? Ведь Гамбург, город, обязанный ему своей дурной славой, сегодня под контролем британских вооруженных сил и совершенно разрушен.

Мы нашли, что Бремен в плохом состоянии, но Гамбург просто стерт с лица земли. Целые кварталы уничтожены воздушными налетами. Миля за милей тянутся черные стены на полностью выжженных улицах, но в руинах, в подвалах и бомбоубежищах до сих пор прячется около миллиона местных жителей и около пятидесяти тысяч иностранных рабочих. Сегодня вы не встретите на улицах ни души. Войдя в город, мы ввели комендантский час на 48 часов, и теперь весь город

погружен в тишину, как будто сегодня воскресенье; единственное, что движется по улице, это какой-нибудь британский джип или бронемашина, или же наши солдатики проверяют, насколько четко соблюдается комендантский час.

Даже больше, чем город, разрушены пристани, крупнейшая судоверфь 'Блом и Фосс' превратилась в кучу балок, и посреди этого хаоса до сих пор стоят, поскрипывая на стапелях, четырнадцать недостроенных подводных лодок. Работа над ними окончательно прекратилась два месяца назад, и с тех пор Гамбург стал мертвым городом.

Обыскивая стол лорда Гав-Гав, мы нашли конспект передачи, составленный им на 10 апреля 1945 года, в конце этого замечательного конспекта значится такой прекрасный пункт: '14.50–15.10 – пауза, чтобы собраться с мыслями'. Ну что же, и у него и у жителей Гамбурга будет теперь достаточно времени, чтобы собраться с мыслями, потому что с сегодняшнего вечера британские солдаты, знаменитые 'крысы пустыни'[1] надежно охраняют студию Гав-Гава, представители военных властей союзников ведут программу и вместо 'Говорит Германия' назначают для вас новый позывной: 'Радиостанция *Гамбург*'. Это радио Гамбурга, студия военного представительства союзников".

(Объявление про позывной на немецком языке.)

Ну а мы возвращаемся из Гамбурга в Лондон.

Уинфорд Воэн-Томас

1. Неофициальное название Седьмой бронетанковой дивизии британской армии.

Гаспаре Дори

Алмазы

Драма в двух действиях

Перевод с итальянского и вступление Валерия Николаева

По основной своей профессии итальянец Гаспаре Дори юрист и работает в крупной международной юридической компании со штаб-квартирой в Париже.

С юных лет Гаспаре увлекался театром и в 1996 году в девятнадцатилетнем возрасте на спор с друзьями написал пьесу "Дон Жуан Тенорио", которая неожиданно для него получила специальную премию авторитетного жюри, возглавляемого знаменитым драматургом Альдо Николаи. Престижными драматургическими премиями были отмечены и следующие две пьесы "Рецепт" (1999) и первая из переведенных на русский язык "Долгий путь слонов" (2001). В 2002 году по опросу сайта drama.it она была признана не только лучшей пьесой текущего года, но и одной из двенадцати лучших пьес современной итальянской драматургии последних лет. В настоящее время пьеса входит в перечень текстов, обязательных для изучения на курсах современной драматургии в Италии и Франции. Различные премии ООН, Италии и зарубежных стран получили позже и пьесы "Ангел стучит в мою дверь", "Хурия", "Лили" и другие. Все они идут на сценах многих стран мира.

© Gaspare Dori
© Валерий Николаев. Перевод, вступление, 2015
Редакция выражает благодарность автору за любезное разрешение безвозмездно опубликовать пьесу на страницах журнала.

Первым опытом встречи с российским зрителем можно считать сценические импровизации двух его пьес: "Долгий путь слонов" и "Алмазы" на сцене пензенского коллектива "Театр на обочине". В обсуждении спектакля зрителями и актерами театра с помощью Интернета принял участие и автор. Вот что он сказал, завершая встречу:

— Мой идеальный зритель приходит в театр не развлекаться, а работать. Как любой автор, я хотел бы, чтобы мои пьесы были поняты. Но для этого требуется определенное усилие. Я хочу, чтобы мой зритель был терпеливей и дотошней. Российский зритель пытается скорее понять душой, нежели умом. Он не склонен к рассудочному анализу и препарированию частностей, но он способен воспринимать пьесу в целом и ее эмоциональную глубину. Думаю, будущее моей драматургии — в русском современном театре.

Действующие лица

Лалло — молодой человек
Паппо — тоже молодой человек
Эмма — женщина лет 35
Анна — уборщица
Любовник Эммы — не поворачивается к публике лицом и не произносит ни слова
Продавец Зонтов
Начальник
Доброволец

Действие первое

Сцена первая

Ночь. Большой пустой зал какой-то фабрики. Лалло и Паппо в униформе, больше смахивающей на тюремную робу. За стеной фон из повторяющихся шумов: текущая вода, удары молота, звуки работающих механизмов. Лалло лежит на полу. Паппо стоит рядом, прижав ногой голову Лалло к полу.

Лалло. Все. Теперь моя очередь. (*Молчание.*) Я сказал, теперь моя очередь.

Паппо. С чего ты взял?

Лалло. Уже пятнадцать минут третьего. Твои полчаса прошли. *Они* сказали, у каждого по полчаса. (*Молчание.*) Послушай, я хочу спросить у тебя одну вещь.

Паппо. Только без банальностей. Мир и без того уже полон бессмыслицы.

Лалло. Для чего нужно все это, чем мы сейчас занимаемся?

Паппо. У меня другой вопрос: для чего ты нужен на этом свете, а?

Лалло. Нет, правда. Тебе *они* не сказали для чего?

Паппо. Послушай, доставь мне удовольствие, изучи Устав перед нашим следующим тренингом.

Лалло. А где мне взять столько времени, чтобы еще и Устав изучать?

Паппо. У тебя никогда нет времени. (*Пауза.*) Подожди, я сменю ногу, а то эта затекла.

Лалло. Ладно, только не дави так сильно. Ты делаешь мне больно.

Паппо. Я делаю тебе больно? Черт, ты опять ничего не понял! Как я могу тренировать лидерские качества, если ты не испытываешь боли? Если я не чувствую тебя поверженным. Если не вижу, как твое тело корчится у моих ног... под моими ногами... Больно? Кричи! (*Сильнее давит ногой.*) Так больнее? Кричи!

Лалло. А-а-а! А-а-а-а! (*Хрипит.*) Ты же мне...

Паппо. Громче! Показывай мне, что ты унижен и сломлен мною, что уважаешь и боишься своего лидера!

Лалло. Мой лидер велик и свят! Он вправе делать со мной все, что ему хочется. Я буду удовлетворять все его желания, я буду его уважать и делать ему приятное, я буду говорить, что он прав, даже когда я в этом не убежден, я буду падать ниц в его присутствии, я буду стараться подавлять свою личность, чтобы он острее чувствовал свое превосходство!.. Ну как? Пойдет?..

Паппо. Невероятно! Даже такие бесхребетные, как ты, кое на что способны...

Лалло. Теперь моя очередь. Твои полчаса давно закончились.

Паппо. А жаль. Все шло так хорошо.

Лалло. Когда у нас *экзамен?*

Паппо. Через десять дней. Ровно через десять дней. Надо как следует подготовиться. Мы должны быть готовы.

Лалло. Ты боишься?

Паппо не отвечает.

Ты *их* боишься?

Паппо (*после паузы*). Нет. (*Вновь сильно надавливает ногой.*) И прекрати задавать идиотские вопросы!

Лалло. А-а-а! Больно!

Паппо. Не ври!

Свет гаснет.

Сцена вторая

Международный аэропорт. Зал посадки. Эмма, ухоженная, модно одетая женщина, макияж без излишеств. Багаж: дорожная косметичка и сумка на колесиках. Звонит ее мобильный.

Эмма. Да, да, говори... Нет, посадка через десять минут. Я потратила целый час на все эти контроли, пока добралась до гейта... Да?.. А ты что ему сказал?.. Нет, я сама свяжусь с ним... Если опять позвонит, скажи ему, что мы с тобой говорили и что пусть не рассчитывает, я не согласна. Он должен оплатить счет полностью!.. Хорошо, как только приземлюсь, сразу позвоню. Пока. (*Отключается. Смотрит на часы. Новый звонок.*) Да... А, это вы? Добрый вечер... Нет-нет, не беспокоите, у меня еще пять минут до посадки... Да, вернусь вечером... Разумеется, все в порядке. Мы уже подготовили все для рассылки, нашли хорошую типографию, предупредили журналистов. Жду только отмашки... Не волнуйтесь, все будет, как всегда, на высоте... Спасибо, вы очень любезны... Что вы говорите?.. Завтра вечером? Нет, сожалею, но у меня вечер занят... В субботу? Тоже нет, у меня встреча с друзьями... Нет-нет, я понимаю, что вы хотите увидеться со мной, чтобы поговорить о дальнейшей работе. Знаете что? Позвоните мне в начале следующей недели, и мы договоримся... До свиданья... Спасибо, и вам хороших выходных. И вашей жене тоже. (*Отключается. Смотрит на часы. Новый звонок.*) Да... Уже иду на посадку. А что такое?.. О'кей, поняла. Но это ведь подождет до завтрашнего утра?.. Поговорим об этом завтра, ладно?.. Спасибо. Чао, чао. (*Отключается. Новый звонок.*) Я же тебе сказала... А, это ты... Я в аэропорту... Туда и мигом обратно... Разумеется, сразу к тебе! Мне и самой уже невмоготу. Достала эта работа, достали постоянные звонки этих долбаных клиентов! Если бы ты знал, как мне хочется в твои объятья... Мой отец? Ему, бедному, все хуже... Нет, почему наплевать? Но если все время думать, что... Извини, я уже вхожу в самолет. До скорого. Жди меня. Я тебя люблю. *Отключается.*)

Голос диктора, читающего по телевизору последние новости, которые Эмма, кажется, не слышит, погруженная в свои мысли: "На рассвете новое нападение... трое... вместе со всем скотом... полиция... войска... требование... президент... пресса..."

Свет гаснет.

Сцена третья

Продолжение первой сцены. Ночь. Лалло и Паппо делают упражнение “танец с яблоком”: ходят, удерживая лбами яблоко и стараясь его не уронить. Кажется, что они двигаются в ритме фоновых шумов.

Паппо. Ты что, не мог купить не такое спелое? Этого нам не надолго хватит... И все-таки, как ни крути, вина отцов падает на детей.

Лалло. Каких детей?

Паппо. Ну, что я говорил? Абсолютная несобранность! Ты не прошел тест на интерфункциональность. Ты не должен реагировать ни на какие раздражители вне основной задачи! Ты должен концентрироваться только на мне. Представь себе, что я твой коллега, завидующий твоим успехам... это, конечно, маловероятно... или неплатежеспособный клиент, или ненадежный поставщик... Ты должен копировать каждое мое движение, шаг за шагом.

Лалло. Но я так и делаю...

Паппо. Оп-па! Попался! Ошибка! Требуется не только максимальная концентрация на порученном тебе задании, но и одновременно полный контроль за тем, что происходит вокруг тебя. Если ты смотришь только на меня или на яблоко, тебе запросто могут воткнуть нож в спину или подставить подножку, а ты этого не заметишь...

Лалло. Когда я был мальчишкой, мы играли в похожую игру с девчонками. Надо было вместе съесть яблоко...

Паппо. Мне жаль, но ты только что не прошел тест на ментальную гибкость. Ты демонстрируешь хроническую неспособность правильно реагировать на изменения внутренних и внешних обстоятельств и мгновенно приспособляться к новым реалиям. Мои соболезнования.

Лалло. А что я должен был делать?

Паппо. Вот! Твой главный недостаток в том, что ты не способен действовать самостоятельно, если нет подробных инструкций и указаний.

Лалло. Что-то мне нехорошо.

Паппо. Я это вижу. Тебе не хватает реактивности, ты не умеешь сохранять стрессоустойчивость в трудных ситуациях.

Лалло. Смотри! Сюда кто-то идет!

Паппо. Где? (*Резко поворачивает голову. Яблоко падает.*)

Лалло (*поднимает яблоко и надкусывает его*). Шутка! Я тебя обманул!

Паппо. Смотри, дошутишься... (*Замахивается, будто собирается дать Лалло пощечину.*) Жуй, жуй, мне плевать. Придет день, и я буду смеяться над тобой! Как ты будешь выкручиваться на экзамене? Меня рядом не будет, чтобы поправлять тебя, подсказывать и давать советы. Там, перед ними, ты окажешься один. И на твоей физиономии будет написан ужас! А они будут ржать над тобой, как над дураком. Знаешь, в городе есть один мост. Ты вряд ли его когда-нибудь видел, ты ведь из своего района не вылезаешь. А мне его описали. Старинный черный железный мост. Одно время туда ходили влюбленные. А после того как там нашли висельника, который болтался на веревке, как маятник, туда никто не ходит. Даже чайки над ним больше не летают. Только вороны и иногда черные грифы. Как-то туда забрел один тип. Ненадолго. Разбежался и... плюф! А знаешь, где работал этот тип?

Лалло не отвечает.

В цехе "Б". Он работал в цехе "Б". А что говорят в связи с этим, знаешь?

Лалло по-прежнему не отвечает.

Что цель экзамена не в том, чтобы отобрать лучших... Что с тобой? Дар речи потерял?.. Так вот, на экзамене они выявляют самых тупых, недееспособных, сачков, слабаков, тех, кто не может работать даже тринадцать часов в день, бездарей, калек, невежд, тех, кто не проходят тесты на реакцию, надежность, коммуникативность, тех, кому не по силам производственный план. И, выявив всю эту массу ничтожеств, весь этот мусор сгоняют в цех "Б".

Лалло. Давай вернемся к тренингу.

Свет гаснет.

Сцена четвертая

Гостиная в доме Эммы.
Эмма стоя разговаривает с Любовником, сидящим спиной к публике.

Эмма. Я хочу уехать. Возьми меня с собой. Давай поедем куда-нибудь на следующие выходные... Не делай такое ли-

цо, ты меня пугаешь... Ну прекрати дуться, я же попросила у тебя прощения, разве нет? И потом, хотела бы я видеть тебя на моем месте... зачем мужик носит в кармане презервативы, если не для... Ладно-ладно, я не начинаю. Я прекрасно знаю, что ты уже несколько месяцев не спишь со своей женой... да даже если бы и спал, стала бы я ревновать тебя к этой гадине... еще не хватало... Ну возьми меня с собой, я же простила тебя... То есть я же попросила у тебя прощения... Ты ведь простил меня? Мы могли бы поехать туда, где были в прошлый раз... год назад, помнишь? Мы завтракали на террасе над самым морем... Почему ты так на меня смотришь? Я не хочу, чтобы ты смотрел на меня так! И мне невыносимо твое молчание! Говори же!.. Скажи хоть слово!.. Ты правда собираешься провести следующие выходные со своей семьей?.. Всё! Хватит! Меня это уже достало! Знаешь, что мы сделаем? У меня где-то есть крысиный яд. Завтра за обедом ты положишь отраву ей в суп. Пара ложек и... бац! Твоя стерва упадет башкой прямо в тарелку. Потом появлюсь я, и мы разделаем ее на мелкие кусочки... я принесу с собой садовые ножницы. Пришло время этой ядовитой гадине убраться безвозвратно!

Любовник вскакивает.

Да шучу я, шучу, не уходи... (*Нежно усаживает его обратно.*) Ты же знаешь, что я никогда не сделала бы ничего подобного. А вот если бы ты... совсем немного отравы... и надо-то всего ничего, самую малость...

Голос диктора, как во второй сцене. Эмма не слушает и это сообщение, как и все, что последует дальше: “И вновь... ответ... армия... десять убитых... раненых... ООН... соболезнование в связи с покушением... осужденный... насилие...”

Эмма. Ну давай поедем вместе. Ты мне нужен, понимаешь? Я хочу чувствовать твои руки, хочу, чтобы ты заставил меня дрожать от страсти. Хочу пользоваться тобой! Да, я хочу заняться с тобой любовью! Здесь! Прямо сейчас! И плевать мне на этого старого идиота, тем более что он ни черта не слышит, он не может даже ходить... да пусть бы слышал, может, в нем проснется хоть что-то... ну, давай, трахни меня, трахни... Что с тобой? Объявил мне войну? Все мои “прости” напрасны? Твоя жена крадет тебя на выходные, мой отец так действует тебе на нервы, что ты его терпеть не можешь... А-а-а, может, в этом все дело? Ладно, я поняла... прекрати смотреть на

меня так!.. Я избавлюсь от своего старика, ты этого хочешь?.. Это мой дом, и я могу кричать все, что желаю! Например, что ты забыл о нашей годовщине!

Любовник протягивает ей пакет.

Что это?.. Очередная отмазка? (*Открывает пакет. Достает коробочку. Открывает, достает кольцо.*) Но это же... это же бриллиант!.. Какая прелесть, настоящий бриллиант! Дорогой, ох, дорогой... прости меня, я плохо о тебе подумала... бриллиант... трахни меня, прями сейчас, ну, трахни, пожалуйста...

Голос диктора в телевизоре: "Мы не дадим себя поставить на колени!.. правительство... территории... территории...территории..."

Свет гаснет.

Сцена пятая

Кабинет, полный воинских реликвий, заштопанных штандартов, оружия. Двое увлечены беседой. Один из двоих, назовем его Начальник, в военной форме, с тоскливой физиономией сидит за старым письменным столом, уставленным всякой всячиной. Второй, совсем парнишка, назовем его Доброволец, сидит на стуле перед Начальником, он явно раздражен.

Доброволец. Я хочу отправиться туда. Немедленно.

Начальник. Я тебе уже сказал, это невозможно. Ты всего лишь третий в списке. (*Берет со стола лист бумаги. Это список добровольцев. Пробегает его глазами.*) Нет, даже четвертый. И те, что записались раньше, горят желанием отправиться туда не меньше тебя.

Доброволец. Да поймите же, я должен отомстить этим мерзавцам! Я должен уничтожить их! Размазать по стенке!.. (*Вскакивает, смахивая со стола на пол несколько предметов.*)

Начальник. Эй! Эй! Успокойся, парень! Успокойся!

Доброволец. ...размозжить им головы!.. Сожрать их с потрохами!..

Начальник (*вскакивает, отвешивает ему оплеуху*). Успокойся, кому сказал! Ишь, красаве?ц! Успокоишься — тогда поговорим. Сядь! И ничего здесь больше не трогай, понятно?

Доброволец с недовольным лицом садится.

Начальник. Чего ты тут права качаешь? Они что, убили твою мать?

Доброволец. Нет, но...

Начальник. Вот видишь? А вот у этого... (*опять берет список, показывает его Добровольцу*) ...у него они зверски убили мать, когда она возвращалась из магазина домой. Поэтому он в списке второй.

Доброволец. А у меня они зарезали брата, моего горячо любимого братишку. И потом это неправда, что у него убили мать, ее убили у этого. (*Тычет пальцем в список.*)

Начальник. Ну-ка... да, ты прав... ты прав... Смотри-ка, а он только шестой, хотя должен быть в самом начале... Кто составлял этот список? Банда дармоедов! Ладно, сегодня я добрый, оставим список как есть. Ты в нем четвертый, так что иди спокойно домой и жди, когда тебя вызовут. Вызовем, вызовем, не беспокойся.

Доброволец. Я четвертый, потому что моего брата убили раньше... но я не могу больше ждать, я хочу видеть их мертвыми, эти куски дерьма!.. (*Хватает что-то со стола Начальника.*)

Начальник. Уймись, парень! Положи дырокол на место!

Доброволец подчиняется.

Вот так-то лучше...

Доброволец. Вы так говорите, потому что не видели, что они сделали с моим братом... он был весь...

Начальник. Все-все-все, не надо подробностей...

Доброволец. Если я не могу поехать прямо сейчас, я убью себя раньше, чем...

Начальник. Нет, не тот случай...

Доброволец. Тот самый! Я убью себя во имя Того Чье Имя Запрещено Упоминать.

Начальник. Да будет оно славно в веках! Послушай, ну, правда, у меня нет возможности отправить тебя раньше.

Доброволец. Я убью себя прямо здесь! (*Распахивает пиджак, демонстрируя Начальнику пояс с взрывчаткой.*)

Начальник. Стоп, парень! Кто дал тебе эту штуку?

Доброволец. Ваши друзья, там снаружи.

Начальник. Черт! Кругом одни мерзавцы!..

Доброволец. Я взорву себя во славу Того Чье Имя Запрещено Упоминать.

Начальник (*внезапно спокойно*). А если запрещено, что же ты постоянно его упоминаешь? И потом, зачем тебе себя взрывать? Хочешь облегчить жизнь этим ублюдкам? А кто им отомстит за твоего брата? Я, что ли? Послушай, сядь и успокойся. И не делай резких движений.

Сейчас я подумаю, что можно для тебя сделать. Ничего не обещаю, но, может быть, смогу тебе помочь. Главное, сиди спокойно. Ты принес заявление?

Доброволец. Принес.

Начальник. Очень хорошо. Дай его сюда. Только без резких движений!

Доброволец протягивает ему лист бумаги. Начальник углубляется в чтение.

Доброволец. Если не хотите, чтобы я взорвался здесь, я могу пойти на рынок и... ба-бах!

Начальник. Нет-нет, сиди здесь. И главное, не дергайся.

Начальник снимает трубку и куда-то звонит. Телефонный разговор нам не слышен. Доброволец достает из кармана складной нож, играет им.

Начальник. Твой брат был из наших, верно?

Доброволец. Да, он очень хотел поехать, но не успел пройти подготовку.

Начальник. В твоей семье есть еще кто-нибудь, кто хотел бы туда отправиться?

Доброволец. Не знаю... нет... но при чем тут это? Это я хочу перерезать глотки им всем, этим говнюкам!.. Я сейчас взорву себя к чертовой матери!

Начальник. Ну ты даешь! Ты когда-нибудь успокоишься или нет? Сделай это хотя бы во имя Того...

Доброволец....Чье Имя Запрещено Упоминать.

Начальник. Да будет оно славно в веках! Послушай, что я тебе предложу. Нам нужны добровольцы. Ты хочешь поехать. Найди еще пару ребят, и тогда поедешь первым.

Доброволец. Обещаете?

Начальник. Клянусь могилой твоего брата. А сейчас медленно сними с себя эту хреновину и беги на поиски других добровольцев. Потом приходи сюда с ними. Мы дадим тебе ответственное задание.

Доброволец. Во имя Того...

Начальник. Ладно-ладно, достаточно. Я сказал, сними этот пояс.

Доброволец начинает освобождаться от тяжелого груза.

Вот так... отлично. Отсоедини красный проводок... только осторожно... Хорошо. А теперь можешь идти.

Доброволец. Спасибо, спасибо вам...

Начальник. Да-да, хорошо! Ступай... теперь у тебя есть шанс поубивать их всех, этих ублюдков. Всех, понял? ба-бах!

Доброволец идет к двери, у него из кармана выпадает пластиковый пакет с белым порошком.

Эй, ты!

Доброволец (*оборачивается*). Чего?

Начальник. У тебя что-то упало?

Доброволец. Ах, это. Это взрывчатка!

Начальник. Взрывчатка? Положи ее на стол!

Доброволец подчиняется.

А теперь иди отсюда!

Доброволец. Иду. Вы представить себе не можете, как я рад, что...

Начальник. Вон отсюда!!!

Доброволец уходит. Начальник вытирает пот со лба. Снимет трубку, набирает номер.

Ко мне! Немедленно! (*Открывает ящик стола, достает коробку с сигарами, закуривает и откидывается на спинку кресла.*) Вот гаденыш!

Свет гаснет.

Сцена шестая

Та же фабрика, что и в первой сцене. Ночь.

Лалло. Дом.

Паппо. Нет.

Лалло. Ящик.

Паппо. Нет.

Лалло. Улица.

Паппо. Нет.

Лалло. Нож.

Паппо. Нет.

Лалло. Два ножа.

Паппо. Нет.

Лалло. Луна.

Паппо. Нет. Все, время вышло.

Лалло. Так что это было?

Паппо. Клапан номер девять шестнадцатиклапанного двигателя внутреннего сгорания.

Лалло. Ты издеваешься.

Паппо. Это твой вывод. Абсолютно неверный.

Лалло. По-твоему, служащие должны уметь читать чужие мысли?

Паппо. Разумеется. Иначе как им узнать, что хотят их начальники?

Лалло. Ладно, теперь моя очередь. Посмотрим, как у тебя это получится. Давай, читай мою мысль! Читай!

Паппо. У нас нет времени.

Лалло. Ты уверен, что я об этом думал?

Паппо. Это не твоя мысль, это я сказал.

Лалло. Но до этого...

Паппо. До этого — это до этого. А сейчас — это сейчас. И сейчас мы должны выяснить твои продуктивные возможности.

Лалло. Слушай, у меня от всего этого уже крыша едет.

Паппо. Тест на продуктивность — первый. Не пройдешь его, на остальные можешь не рассчитывать. Ты мне доверяешь?

Лалло. Я — тебе? Да...

Паппо. Плохо. Очень плохо. Доверчивые никому не нужны. Доверие — прямой путь к потере бдительности. Боюсь, тебе ничего не светит. Ладно, этой проблемой мы займемся позже, а пока тренинг на продуктивность. (*Достает из кармана флакон с мыльной водой.*) Держи. Постарайся выдуть не меньше сорока пузырей в минуту.

Лалло начинает выдувать пузыри, спешит, у него плохо выходит, дыхание сбивается.

Паппо. Двадцать... двадцать пять... ты слабак, мой дорогой, так не пойдет...

Лалло (*задыхаясь*). Послушай... а если я не пройду... тест на продуктивность...

Паппо. Так...

Лалло. В смысле, если... они мне скажут... в общем... что я не могу больше... ты думаешь, что...

Паппо. Ты хочешь сказать...

Лалло. Да... я хочу сказать, что...

Паппо....что тебя отправят в цех “Б”? На следующий же день. Нет, точнее, в тот же день. Через минуту ты уже будешь в цехе “Б”.

Лалло. Кстати... а что они там производят... в этом цехе “Б”?

Паппо. Ты очень хочешь знать, что производит цех “Б”?

Свет гаснет.

Сцена седьмая

Квартира Эммы. Та же обстановка, что и в четвертой сцене. Эмма у телефона. Она очень взволнована.

Эмма. Повторяю тебе, нет, он не мог бы сойти с кровати, даже если бы очень захотел!.. О Господи, да не может он самостоятельно встать с кровати! А уж самому открыть дверь комнаты... Что?.. Если есть проблема, он зовет соседку... Рядом с его кроватью электрический звонок в ее квартиру... Нет, она живет этажом выше... Нет, она здесь ни при чем, я с ней только что говорила... Прекрати нести чепуху, ей семьдесят пять!.. Ну надо же, чтобы такое случилось именно со мной!.. Кто-то забрал его и унес из дома!.. Откуда я знаю? Если бы я знала, то сейчас разговаривала бы не с тобой... Какие враги у моего отца?! Ты бы видел его... Нет, ты его не знал, то есть ты не знаешь... Слушай, вместо того чтобы устраивать мне допрос с пристрастием, приехал бы сюда!.. Разумеется, я позвонила в полицию... Откуда я знаю, какой комиссариат?.. Знаешь, у меня куча других проблем...

Голос диктора в телевизоре: "Ночью были атакованы две фабрики... двенадцать убитых и двое раненых... в тяжелом состоянии... незамедлительный ответ наших войск..."

Почему бы тебе не оторвать свою задницу от стула и не приехать ко мне?.. Я спокойна, я очень спокойна и не нуждаюсь в твоей жалости... Я нуждаюсь в тебе! Но тебя, как обычно, ни о чем не допросишься... Я не начинаю, я не начинаю... Моего отца только что похитила банда преступников, а ты строишь из себя бог знает что... Нет, это невозможно, я должна надеяться, я должна найти его, я не могу сидеть дома сложа руки... Не знаю, я не знаю, с чего начать, нет, не знаю!.. Но сделай же что-нибудь, твою мать! Не можешь же ты продолжать сидеть спокойно и нести этот бред, помоги мне хоть чем-нибудь!.. Нет, не было никакого взлома, зачем, наши двери можно открыть фотокарточкой, им даже не понадобились ключи... Кто?.. Нет, эти просто стреляют и все, их не интересует похищение людей, они не берут пленных, предпочитают убивать их на месте... нет, никаких следов крови... Все изображаешь из себя Шерлока Холмса? Лучше приезжай сюда!.. Какого хрена мне тебя слушать!.. Нет, я ухожу... Не знаю куда, ухожу... Иду искать его...

Голос диктора: “В Парламенте идут горячие дебаты по проекту Закона о согласии на кремацию: если гражданин не оставляет соответствующего письменного заявления, заверенного у нотариуса либо в другом государственном учреждении, после смерти его тело должно быть кремировано”.

Свет гаснет.

Сцена восьмая

То же предприятие. Ночь.

Паппо. Алмазы. Цех “Б” производит алмазы.

Лалло. Алмазы?! Ну, нормально. А я уж черт-те что подумал о том, что там делают. Все о нем говорят, но никто ничего толком не знает... Хотя, подожди, то есть как “производят”? Разве их производят? Насколько я знаю, их добывают... есть специальные шахты...

Паппо. Верно, алмазы добывают. Но алмазы цеха “Б” — особенные...

Лалло. Может, ты хотел сказать, что их обрабатывают, как это называется... гранят?

Паппо. Нет. Их там производят. Делают, а не достают из земли. Они уже получаются блестящими, готовыми к продаже. Но хватит об этом. Мы теряем слишком много времени.

Лалло. Нет, погоди, объясни мне, как это — “производят”? Мне интересно...

Паппо. Ты правда хочешь это узнать?

Лалло. Ну, конечно, а что?

Паппо. Ты действительно уверен, что хочешь это знать? Хорошо подумай.

Лалло. А что тут думать? Да, я хочу знать. Ну и?..

Паппо. Предупреждаю, как только ты узнаешь, как здесь производят алмазы, твоя жизнь изменится. Ты готов к этому? Ты готов загрузиться информацией, от которой тебе никогда больше не будет покоя? Ты готов смотреть на все, что тебя окружает, через призму этих прекрасных, сверкающих, фантасмагорических камней?.. Готов?

Лалло. Не вижу причины... Да, я готов!

Паппо. Узнав все, ты уже не сможешь вернуться назад. Ладно, раз так, слушай. Алмазы делают из человеческого праха... До тебя дошло, что я сказал? Из праха людей!

Тела умерших кремируются, превращаются в прах, а потом в алмазы.

Лалло. Но как... разве такое возможно?!

Паппо. Человеческий прах содержит углерод, а это основной элемент алмаза. Несколько лет назад они довели до совершенства свое дьявольское изобретение. Существует специальная технология обработки праха: его загружают в контейнеры и в течение двух месяцев выдерживают в условиях очень высокой температуры и очень сильного давления. В результате получаются алмазы... Земле требуются миллионы лет, чтобы сделать то, что цех "Б" делает за восемь недель...

Лалло. Ты шутишь... это ведь шутка, да?

Паппо. Нам надо продолжать тренинг...

Лалло. Нет, скажи мне, где они берут столько праха?

Паппо. Послушай, у нас мало времени.

Лалло. Кто работает в цехе "Б"? Почему он так называется?

Паппо. Никогда, слышишь, никогда не прерывай тренинг... теряется концентрация, в результате совершаются глупости, а за глупости приходится платить...

Лалло. Ты скажешь или нет? Давно там производят такие алмазы? С какого времени?

Паппо (*силой усаживает Лалло на лошадку-качалку, стоящую у него за спиной*). Отлично! Сейчас будем отрабатывать навыки противостояния колебаниям рынка и способность всегда оставаться в седле!

Лалло. Кому в голову пришла эта безумная идея делать алмазы из праха?

Паппо (*вкладывает в правую руку Лалло игрушечную шпагу*). Шпагу вперед! Коли, пронзай клиента, показывай, что умеешь указывать направление, которому должно следовать твое предприятие!

Лалло. Где они набирают персонал для работы в цехе "Б"?

Паппо (*вкладывает маракас в другую руку Лалло*). Ритм, бодрость, креативность — вот что такое современное предприятие!

Лалло. Почему им постоянно требуются работники для этого цеха?

Паппо (*надевает на голову Лалло шляпу*). Всегда ходить с высоко поднятой головой, гордо неся эмблему нашего предприятия...

Лалло. Почему ты не отвечаешь? Да погоди ты с этим тренингом!.. Сначала ты рассказываешь мне об алмазах, о кремации, о человеческом прахе, а потом не отвечаешь на мои вопросы... а я хочу все понять!

Паппо (*сует в рот Лалло свисток*). Вот так! Всегда в боевой готовности! Всегда начеку!

Лалло нервно свистит.

Зачем тебе это? Рвешься попасть в цех “Б”? Пойми, им этого и надо! Хочешь быть пешкой в их игре? Нет. Поэтому лучше пока их слушаться, делать, что говорят они. А значит — тренинг и еще раз тренинг! Через пять дней экзамен. А там посмотрим. Может быть, это неправда, что в цех “Б” отправляют самых худших...

Лалло свистит в знак недовольства.

Может, наоборот, туда посылают самых лучших...

Лалло свистит еще громче.

Хотя, что я говорю... может, никакого цеха “Б” вообще не существует в природе... Я, между прочим, никогда его не видел... но, как бы там ни было, мы должны подготовиться к экзамену, иначе, черт его знает, что они с нами сделают...

Лалло свистит с горечью.

Стоп! Сиди как сидишь. Замри. Не шевелись! (*Берет фотоаппарат и делает несколько снимков Лалло.*) Отлично! Видишь, как прекрасна жизнь? Ты здесь, рядом с настоящим другом, в месте, где все тебя любят... мы делаем успехи... медленно, но делаем... ты уже совсем не такой, каким был десять минут назад! Я не прав? (*Вынимает свисток из губ Лалло.*)

Лалло. Как давно? Как давно они делают алмазы из праха?

Паппо (*быстро возвращает свисток в рот Лалло*). Извини, думаю тебе понадобится больше десяти минут, чтобы добиться прогресса... но не беспокойся, ты его добьешься... Прямо! Смотри прямо на меня! Шпагу вперед! Не шевелись, замри, скала в море! Голову выше! Пошли маракасы! Ритм, ритм, ритм! Выше голову!.. Выше! Нет, ты качаешься, я видел, сиди спокойно!.. Маракасы!.. Шпага вперед, вот так!..

Лалло (*выплевывает свисток на пол*). Кто там работает? Кто заставляет их это делать?

Паппо. Знаешь, что я тебе скажу? Занимайся-ка своим тренингом без меня! Давай сам как-нибудь. Хочу посмот-

реть, что у тебя получится в результате! Хоть посмеюсь вдоволь!.. Ты даже Устав не открывал!

Лалло. Нет, ты шутишь! Ты не можешь бросить меня!..

Паппо....И ты быстро-быстро-быстро окажешься прямо в цеху “Б”! На экзамене на тебя посмотрят и отправят туда... только сначала всласть поиздеваются...

Лалло. Ты не можешь так со мной поступить...

Паппо. Почему не могу? Мне что, доктор прописал готовить тебя к экзамену? Проводить здесь с тобой целые ночи? Ты кто мне? Жена? Нет, ты мне не жена! Ты просто урод... и с этой минуты будешь заниматься тренингом один.

Лалло. Нет, ну не надо так, давай... ты же знаешь, что я...

Паппо. Что ты?

Лалло. Ну, в общем... в жизни и так мало радости... в конце концов, да наплевать мне на цех “Б”! Все это бред собачий, ведь так?

Паппо. Ведь так. Бред.

Лалло. А ты... ты ведь великодушный, правда?

Паппо. Да, я великодушный.

Лалло. И до экзамена осталось пять дней, да?

Паппо. Да, всего пять дней.

Лалло. Где мой свисток?

Паппо поднимает свисток и вставляет его в рот Лалло.

Длинный свист.

Свет гаснет.

Сцена девятая

Бессловесная.

Ночной город. Эмма́ бродит в поисках отца. Иногда сталкивается с людьми в монструозных масках. Задает им какие-то вопросы, все отвечают отрицательно. Персонажи, сменяющие друг друга все быстрее, выглядят все страшнее. Один из них набрасывается на нее, пытаясь вырвать сумку.

Появляется Продавец зонтов со своей тележкой — злоумышленник обращается в бегство. Продавец подходит к сидящей прямо на земле потрясенной Эмме, открывает зонт и вставляет ей в руку. Сам же принимается ремонтировать другой зонт, в тележке их полно.

Сцена десятая

Та же фабрика, что и в первой сцене. Ночь.

Лалло и Паппо водят хоровод.

Паппо. Зачем ты позвал старшего менеджера?

Лалло. Из-за руки.

Паппо. Ты хотел попросить его руки?

Лалло. Нет, он должен был помочь тому, кто покалечил руку.

Паппо. А кто покалечил?

Лалло. Один служащий.

Паппо. Ошибка!

Лалло. Прости. Один рабочий.

Паппо. Как его угораздило покалечить руку?

Лалло. Виноват бригадир.

Паппо. Ты уверен?.. А если подумать?..

Лалло. Уверен, потому что это бригадир велел ему...

Паппо. И что будет с этим рабочим?

Лалло. И что будет с этим рабочим?

Паппо (*останавливает хоровод*). Опять ты ничего не понял! Я тебе тысячу раз говорил, что мы имитируем кружок качества...

Лалло. А мне показалось, что мы просто водим хоровод.

Паппо. Какой к черту хоровод! Это кружок качества! Люди собираются в кружок, чтобы помочь друг другу лучше выявить собственные деловые и человеческие качества путем решения проблем! У тебя есть проблема, ты ищешь решение! Это понятно или нет?

Лалло. Да, но...

Паппо. Ну ты и упрямый! Все очень просто... В Уставе говорится: чтобы снять проблему, надо выполнить три основных действия — идентифицировать, проанализировать, найти решение... Давай рассмотрим случай с покалеченной рукой. Это я ее себе покалечил?

Лалло. При чем тут ты?

Паппо. Ага, стало быть, не я. Тогда кто? Ну-ну, думай, это так просто... Уж не ты ли ее себе покалечил?

Лалло. Нет, с моей все в порядке.

Паппо. Отлично! Это не я и не ты покалечили руку. Тогда, может, это случилось с рукой бригадира?

Лалло. М-м-м...

Паппо. Ну! Анализируй, анализируй...

Лалло. Нет!

Паппо. Вот именно, бригадир тоже не ломал себе руку. Так кто в таком случае сломал эту проклятую руку?

Лалло. Эту проклятую руку сломал...

Паппо. Ну же!.. Ты почти у цели...

Лалло. Эту руку...

Паппо. Последнее усилие...

Лалло. Хрен его знает, кто сломал себе эту гребаную руку! Ты мне совсем мозги заморочил!

Паппо. Рабочий! Руку покалечил рабочий! И как с ним поступают в таком случае? Что говорит по этому поводу Устав?.. Ах да, ты же его не читал... Рабочего выбрасывают вон, чтобы это послужило всем уроком! Видишь, как просто? Идентификация, анализ, поиск решения — и любая проблема решается. Без проблем. В итоге, выявление твоих способностей решать проблемы показало, что у тебя с этим напряг. Ладно, над этим мы еще поработаем, а теперь переходим к тесту на креативность. Он — один из самых важных. Способность предлагать решения смелые, необычные и даже причудливые — это еще одно достоинство профессионального служащего! Если продуктивность — мотор предприятия, то креативность — его пульсирующее сердце... Сколько ты зарабатываешь?

Лалло. Как, сколько я зарабатываю?

Паппо. Ну, какая у тебя зарплата?

Лалло. Я точно не знаю... плюс-минус...

Паппо. Так плюс или минус?

Лалло. Плюс-минус... сорок...

Паппо. Вряд ли!

Лалло. Пятьдесят?..

Паппо. Еще хуже!

Лалло. Тридцать?..

Паппо. Абсурд!

Лалло. Двадцать?

Паппо. Что ты несешь?

Лалло. Ладно, сдаюсь. Я не знаю. Так тебя устраивает? Я не знаю, какая у меня зарплата. Откуда, по-твоему, я могу знать это... я торчу здесь день и ночь... Это ты у нас все знаешь, вот и скажи, какая у меня зарплата.

Паппо. А что тут говорить! Все очень просто: у тебя нет зарплаты.

Лалло. Прости, не понял...

Паппо. Тебе не платят зарплату. Зато у тебя есть сток опцион.

Лалло. Это еще что такое?

Паппо. Право покупать продукцию предприятия со скидкой. В перспективе на этом можно разбогатеть.

Лалло. В перспективе?.. А сейчас...

Паппо. А что сейчас? Сейчас тренинг. О нем надо думать. Мне жаль, но пока твои перспективы туманны: ты только что провалил тест на креативность. А я на тебя, брат, надеялся, думал, возьмешь реванш...

Появляется Анна, уборщица, неряшливо одетая женщина с ведром и шваброй. Ее роль играет та же актриса, что исполняет роль Эммы.

Кажется, она не замечает присутствия Лалло и Паппо.

Анна. Вот ведь люди, никогда не гасят свет! У них что, культяпки вместо рук? (*Замечает Лалло и Паппо, которые молча наблюдают за ее действиями.*) Ой! Простите, не думала, что здесь есть кто-то в такой час...

Паппо. Мы готовимся к экзамену...

Анна. А, понимаю. Вы готовитесь. В четверть третьего ночи. Ладно. Не буду вам мешать. Сейчас протру здесь пол и уйду.

Паппо. Ну-ну, давайте, только быстрее.

Анна. Моя мать мне всегда говорила: “Анна, не будь дурой, не позволяй надувать себя...” Да, о чем только она не говорила, моя покойная мамочка. Есть такие люди, которые угадывают нашу судьбу... она далеко видела, моя мамочка... “Ты не должна быть такой дурой, Анна”, — говорила она мне...

Паппо. Простите за любопытство, а вас что заставляет убирать помещения в четверть третьего ночи?

Анна. Гибкость, мой дорогой, флексибилити... ротейтинг сит. Сегодня ты менеджер и заключаешь контракты, а завтра уже чистишь унитазы зубной щеткой... В общем, вся эта хрень: организация работы, человеческие ресурсы, компетенция, профпригодность, эффективность, динамизм, предпринимательская жилка, командный дух, тичинг, коучинг, кружки качества и тэ дэ и тэ пэ.

Паппо и Лалло с изумлением смотрят на Анну.

Паппо. Я не ослышался? Вы сказали, кружки качества?

Анна. Кто, я? Ничего такого я не говорила.

Паппо. Неужели мне показалось?

Анна. Моя бедная мамочка мне всегда говорила: “Анна, не будь такой дурой...”

Паппо. Понятно. Если позволите, мы продолжим. Нам надо заниматься...

Анна. Да ради бога... занимайтесь! Вы думаете, я собираюсь здесь оставаться?

Лалло. Мой коллега прав...

Анна. Твой коллега, может, и прав, но была права и моя бедная мамочка, когда говорила: “Анна, не будь дурой...

Паппо. Ладно-ладно, давайте я здесь буду решать.

Лалло. Ага, тебе не привыкать.

Анна (*Лалло*). ...не позволяй надувать себя”...

Лалло. Это вы мне?

Анна. Нет, это мне мамочка говорила: “Не позволяй надувать себя”.

Паппо. У нас через два дня экзамен. (*Лалло.*) Продолжим. Свет!

Лалло. Что?

Паппо. Для нового теста нужна темнота. Погаси свет.

Анна. Эй! Дайте мне сначала уйти!..

Лалло. А где здесь выключатель?

Паппо. Ты все-таки безнадежен. Он там.

Анна. Но пол еще не высох.

Лалло. Там — это где?

Свет гаснет.

Действие второе

Сцена первая

Продолжение девятой сцены первого действия.

Эмма сидит на земле под отрытым зонтом. Продавец зонтов чинит зонт, стоя рядом с тележкой. Ночь, но уже светает.

Эмма. Я ищу своего отца.

Продавец Зонтов. Все кругом что-то ищут... Кто дом, кто работу, кто мужа, кто жену... сейчас мы примемся искать отцов, матерей, сестер... Что еще? Улицу, адрес, номер телефона, носки, новую машину... Зачем вы уподобляетесь всем? У вас есть две руки, две ноги, два глаза, один рот и генитальный аппарат. Чего вам еще не хватает?

Эмма. Мой отец болен!

ПЗ. И что с того? Знаете, сколько народу больны... вы тоже больны, и я не исключение... и, тем не менее, меня никто не ищет. Нужно обязательно быть больным, чтобы

тебя искали?.. Нет, слишком простое объяснение... Что в вашем отце такого особенного?

Эмма. Мой отец смертельно болен. Он... он инвалид.

ПЗ. Господи, сколько стыдливости в голосе! Нет ничего постыдного в этом смешном слове. Вы уже произнесли его, произнесли без запинки, и мир не рухнул от стыда. Ивалид, инвалид, инвалид... почему-то это слово вызывает у меня ассоциацию с чем-то сладким... Инвалид в ванили, инвалид в орешках с шоколадным кремом... это, наверное, потому что я всегда был сладкоежкой... Вы замерзли?

Эмма. Да.

ПЗ. А вы прикройтесь плотнее зонтом. Он вас защитит. Люди не знают, сколько всего хорошего можно сделать с зонтом... Интересно, почему слово "зонт" не вызывает у меня мыслей о сладком?

Эмма. Вы очень любезны со мной. Спасибо, но я должна идти.

ПЗ. С чего вы взяли, что я любезен? И почему вы должны уходить? Чтобы опять заблудиться и оказаться в руках какого-нибудь мерзавца? Посмотрите на часы. В такое время лучше не разгуливать в этих краях в одиночку, выкрикивая имя своего отца. Ваши огромные потерянные глаза видны даже в тумане. Как две фары. Или как мед для пчел... Вы ведь не из этого квартала, правда? Нет, точно, не из этого. Я не надоел вам своей болтовней?

Эмма. Они пришли в мой дом... И забрали моего отца...

ПЗ. Сколько зла кругом. Зачем? Какой в этом смысл? Что они имели против вашего отца?.. Хотя, простите, это не мое дело. Что за жизнь? Иной раз не знаешь, за что ухватиться. Но потом проходит. Все проходит.

Эмма. Мне так плохо, я чувствую себя, словно... это ужасно, ужасно! Так странно видеть его комнату пустой! Будто там никогда никого не было. Будто из жизни вычеркнуты целые годы. Я не могла оставаться дома, не могла вынести этой боли, я должна была уйти. Не зная куда идти, не зная, что делать. Я больше ничего не могла... больше ничего не могу...

ПЗ (*наливает в чашку из термоса горячий кофе и протягивает ее Эмме*). Вы все еще в шоке. Выпейте кофе. Вам станет легче.

Эмма (*пьет кофе*). Спасибо.

ПЗ. Пожалуйста. А сейчас я, если позволите, продолжу работу. Все эти эмоции меня расстраивают... Вы можете оставаться здесь, сколько пожелаете, вы мне не мешаете.

Эмма. Вы работаете даже ночью?

ПЗ. Ночью, днем, какая разница? До тех пор, пока светит луна и нам позволено видеть ее, до тех пор, пока несколько жалких фонарей составляют ей конкуренцию, для меня что ночь, что день — все едино. Я не меняюсь. Я всегда один и тот же человек. Мое время всегда одно и то же. Один час стоит другого, одна минута равна другой. К тому же у меня нет воспоминаний. Ведь именно для них и создана ночь, не так ли?

Эмма. И вы никогда не уходите домой?

ПЗ. А какой смысл? Мне кажется, в вашем вопросе отсутствует логика. Я же сказал вам, что я всегда один и тот же человек, что дома, что на улице. Да упадет мне дерево на голову, если это не так!.. Хотя здесь нет ни одного дерева. Но даже если б и было, все равно не упало бы.

Эмма. Мне невыносима мысль о том, что они заявились в мой дом... что рылись в моих вещах... увели из него человека... это ужасно, дико!

ПЗ. Не надо так отчаиваться! А то это уже похоже на болезнь. Зачем вам домой? Разве и вы не один и тот же человек везде? Я вас не знал раньше, но мне кажется, что вы тоже такой человек. Хотя... кто сейчас в чем-либо уверен...

Эмма. С вами никогда не случалось ничего подобного? На вас никогда не нападали, вам никогда не причиняли зла? Вы счастливчик, с вашими зонтами. Ни о чем другом не думаете... Вам кажется странным, что кто-то может страдать? Вы сами никогда не страдали? Вы никогда не чувствовали, как сердце рвется на части от боли? Вы никогда не ощущали себя потерянным? Никогда не жили в своем доме? Дом: четыре стены, крыша, дверь, окна, а в нем, может быть, кто-то, кто не вы. Вы что, всю жизнь продавали и чинили зонты, бродя по городу с этой смехотворной тележкой? Вам неизвестно, что такое насилие?

Тишина.

ПЗ. Хотите еще кофе?

Эмма, раздосадованная, не отвечает.

Какая прекрасная речь! Жизнь налаживается... Несколько раз они приходили... Ко мне они тоже приходили...

Эмма. Кто? О ком вы говорите?

ПЗ. Но я умею морочить им головы. Только один раз они разнесли в щепки мою тележку. Когда заявились впяте-

ром. А больше — нет. Одному из них я выколол глаза. Нет, я шучу. Когда он уходил, его глаза еще были на месте. Но он больше не появлялся. Кто знает почему. Еще одна загадка. Вы видите, какие у зонта спицы? С их помощью, знаете ли, можно сделать много плохого...

Эмма. Зачем они приходили? Что им от вас было нужно?

ПЗ. Если б я знал, зачем людям нужны деньги, может, я бы вам и ответил. Они вообще странные... звери... никогда не покидают наш квартал... привязаны к нему... они по-настоящему сентиментальны. Сладострастно разносят в щепки все, что попадется. Иногда можно видеть, как они выпрыгивают из окон, кувыркаются по земле, поджигают скамейки... потом отмечают это с большим количеством спиртного... и с песнями... да, они частенько отмечают свои праздники. Сентиментальные ребята. Иногда даже танцуют. Вы умеете танцевать?

Эмма. При чем тут это?

ПЗ. Станцуйте. Станцуйте со мной. Всего разочек. Не беспокойтесь, я к вам не прикоснусь. Мне это не интересно. Я хочу только танцевать. На этих улицах трудно найти женщину, с которой мог бы потанцевать такой старомодный человек, как я. Прошу вас, прошу. За это я подарю вам зонт.

Эмма. Да не нужен мне ваш зонт.

ПЗ. Денег у меня нет. А зонтов полно. Можете выбрать любой, какой вам понравится. У меня наверняка такой найдется. Станцуйте со мной. Прошу вас. Всего один танец.

Эмма. Вы точно сумасшедший...

Продавец зонтов подходит к Эмме и протягивает ей руку, приглашая на танец.

Эмма. Но это же безумие... танцевать... посреди улицы... ночью... без музыки...

ПЗ. Музыка придет сама... надо просто начать танцевать, и музыка придет. Нам не понадобится искать ее... музыка здесь, в нас, вместе с нами. Она в вещах, она в улице, в фонарях, которые освещают жизнь, в собачьих какашках... вот увидите... точнее, услышите!

Эмма уступает. Танцуют под звуки внезапно зазвучавшей музыки, непонятно откуда идущей.

Эмма. Как такое возможно? Откуда эта музыка? Из вашей тележки?

ПЗ. Не разрушайте магию, прошу вас. Не разговаривайте. Просто танцуйте. Музыка звучит только для нас. Не спугните ее.

Продолжают танцевать.

Я озноб и я гром, я лягушка и я саламандра, я скала и я паутина, мы жизнь и мы смерть!

Музыка внезапно обрывается. Оба прекращают танцевать и отходят друг от друга.

ПЗ. Ну вот, так и знал. Я переборщил. Всегда так. Я даю себе свободу и сам же раскаиваюсь в этом. (*Пауза.*) Нет, на самом деле я не раскаиваюсь. Никаких сожалений. (*Танцует один, без музыки.*) Я все еще лягушка и саламандра, я все еще скала и паутина! Я вижу и не вижу конца мира, его красок... я чувствую и не чувствую его вкуса... слышу и не слышу биения темных крыльев в мои уши. Господи, как много я говорю! (*Останавливается.*) Еще кофе?

Эмма. Нет, спасибо.

ПЗ. Вы еще не выбрали.

Эмма. Что? Зонт?

ПЗ. Да. Выбирайте.

Эмма. Вы так разговорились, потому что, должно быть, намолчались с вашими зонтами...

ПЗ. Может быть. Выберите себе какой-нибудь, доставьте удовольствие... мне и заре, которая вот-вот явится поприветствовать нас. И день будет прекрасен.

Эмма. Хорошо. Но после этого вы мне скажете, кто они, эти сентиментальные звери, о которых вы говорили? (*Перебирает зонты. Открывает один зонт.*) И что они против вас имеют? Вы же никому не причиняете зла... или я не права?

ПЗ. Мой голос, разумеется, не доходит до горних высей, когда мне это так нужно. Ваш, впрочем, тоже. Если я не могу посмотреть в колодец с чистой водой, не испачкав себе лица, почему меня должны заботить пятна на солнце?.. Нет, меня пугают не эти странные звери. Да, они все крушат, дерутся, иногда убивают, но они сентиментальны. Любят праздники. Громко смеются. Развлекаются. Танцуют. Они из романтиков. (*Пауза.*) Вы выбрали?

Эмма. Не знаю, на каком остановиться. Один стоит другого... у меня голова сейчас не этим занята...

ПЗ. Тот, что вы сейчас держите, я ремонтировал уже четыре раза, а выглядит совсем как новый. Но настанет вре-

мя, и ему тоже конец... На меня нагоняют страх не эти звери, а другие. Другие.

Эмма. Кто они?

ПЗ. Продолжаете упорствовать в своем любопытстве? Если зонт невозможно починить, это значит, его больше нельзя использовать, хотя он остается зонтом. Мертвым, но зонтом. Собака, агонизирующая и умирающая на дороге, остается собакой. Она имеет право оставаться собакой. Имеет право на покой... А эти... Они отрицают право на покой...

Эмма. Но кто они? О ком вы говорите? Мне, кажется, я схожу с ума, слушая вас. Когда я могу уйти отсюда? Или здесь все еще опасно ходить одной? Уже светает. Это знак. Я ухожу!

ПЗ. Нет, останьтесь. Дослушайте меня. Засушенная бабочка остается бабочкой со всеми присущими ей достоинствами, разве не так? Почему, почему есть те, кто не признает достоинств за себе подобными? Моя жена оставалась моей женой даже после смерти... почему они у меня ее забрали? Почему я согласился отдать ее им? Что с ней стало, с моей единственной любовью? Она имела право на покой, как погибшая собака, как бабочки, как мои зонты... почему они отказали ей в этом праве? Что они с ней сделали? И что они сделают с нами?..

Эмма. Я выбрала. Возьму вот этот. (*Указывает на раскрытый зонтик, которым прикрывалась.*)

Свет гаснет.

Сцена вторая

Кабинет Начальника. Эмма, связанная веревкой, сидит на стуле в углу. Начальник за письменным столом, играет в компьютерную игру.

Начальник. Итак, подведем итог тому, что вы мне рассказали: есть некая фабрика, которая производит алмазы, утилизируя человеческие останки, и вы хотите, чтобы мы ее взорвали... Я вас правильно понял?

Эмма. Да, только я хотела бы...

Начальник. Подождите! Это очень коварный переход... я должен быть очень осторожным, иначе все потеряю... Ага! Я уже почти в логове террористов...

Эмма. Выслушайте же меня, прошу вас!

Начальник. Минуточку! Не отвлекайте! Эти мерзавцы могут прятаться повсюду... Сейчас, сейчас, только отрегулирую инфракрасные очки... Вот так, отлично!.. Итак, я допускаю, что вы не шпионка, хотя на этом я мог бы и остановиться, потому что вы наверняка шпионка...

Эмма. Я не шпионка! Я вам уже сказала, что я пришла...

Начальник. С вашим паспортом вы хотите, чтобы я поверил, что вы не шпионка? А зачем тогда вы перешли границу?

Эмма. Господи, я вам уже тысячу раз это говорила! Я пришла для того, чтобы...

Начальник. А-а-а-а-а! Ублюдок, ты вытащил нож! Сейчас я тебе покажу!.. Готов! Еще один уровень пройден!

Эмма....я пришла, чтобы встретиться с кем-то из руководства вашей организации! Развяжите меня...

Начальник. Хорошо, допустим, вы не шпионка, но с какой стати мы должны взорвать вашу фабрику? Мы — мирная и милосердная организация...

Эмма. Я отлично знаю все про вашу организацию. И про ваши силовые возможности...

Начальник. Так ведь война. Мы же должны защищать страну от врага... А-а! Явились парой!.. Хотите воспользоваться тем, что у меня осталось мало энергии, да?

Эмма. Вы поняли, о чем я вам рассказала? Они производят алмазы, используя человеческий прах... раскапывают могилы, чтобы извлечь свежие трупы... дошло до того, что они уже стали похищать больных...

Начальник. Ублюдки! Безбожники! Думают, что им это сойдет с рук!

Эмма. Для того чтобы изготовить самый маленький алмазик, им требуется прах как минимум двадцати человек... и они уже не знают, где достать столько людей...

Начальник. Я их достану! Достану!..

Эмма. Кого?

Начальник. Этих ублюдков... Вот так! Съели! У меня энергии еще на целую минуту... Хватит, чтобы свернуть им шею!.. Бац! Уровень пройден. Это хорошо, хоть подзаряжусь немного.

Эмма. Они убивают людей, чтобы делать из них алмазы! Вы понимаете? У вас это укладывается в голове?

Начальник. Они на самом деле ублюдки...

Эмма. Я уверена, это они украли моего отца для того, чтобы...

Начальник. Я его отыщу...

Эмма. Каким же образом?

Начальник. Запросто, я уже на четвертом уровне и знаю, куда они его спрятали, моего генерала тайной полиции Сулливана... Я вырву его из рук этих негодяев!

Эмма. Господи, кошмар какой-то... Вы меня слушаете?.. Да оторвитесь вы от компьютера!.. Я не знаю, по какой причине они должны увеличить производство алмазов, я не знаю, что они с их помощью финансируют, но то, что у них проблемы с сырьем, я знаю точно...

Начальник. Вот видите, как мало вы знаете...

Эмма. Я могу достать план фабрики, коды к системам безопасности, список поставщиков и всех тех, кто имеет ежедневный доступ на фабрику... Думаю, я смогла бы достать даже план постов охраны фабрики и ее владельцев! Вам этого мало?

Начальник. И где вы возьмете всю эту информацию?

Эмма. У меня есть контакты с разведкой.

Начальник. Ну вот, а я что говорил? Шпионка. Сейчас я передам вас своим людям, пусть разбираются.

Эмма. Я не шпионка! Я ненавижу их не меньше вашего, понятно? Они забрали моего отца, чтобы... о господи, даже думать не хочу об этом!

Начальник. Молчать!

Эмма. А что такого я сказала?

Начальник. Тихо! Я должен достать микрофильм... это очень деликатная операция, мне надо зацепить его... вот так... сделано! Еще один уровень пройден!.. Не буду скрывать, я потрясен вашей историей... допускаю, что все в ней правда... но мне-то какая от всего этого выгода?

Эмма. Вы попадете на первые страницы газет. Ваши враги потерпят поражение на своей территории и будут осуждены всем миром. Никто не знает о существовании этой фабрики... можете вообразить себе реакцию дружественных им стран? Замешательство дипломатов, пытающихся замолчать новость, не дать ей распространиться, заткнуть рот прессе...

Начальник. Они и так контролируют всю прессу, так что никто ничего все равно не узнает.

Эмма. Национальную да, но не мировую. Я позабочусь о том, чтобы соответствующие материалы оказались в редакциях зарубежных газет и телевидения... Вам этого достаточно, чтобы отпустить меня?

Начальник. Я тебя убью!

Эмма. На помощь!

Начальник. Спокойно! Это я не вам, я должен прикончить террориста, а у меня кончились боеприпасы, остался только один нож...

Эмма. Я уже все подготовила. Я жду только, когда вы взорвете фабрику... после чего разошлю анонимные письма в медиа со всей необходимой информацией... у меня есть доказательства их преступной деятельности... поднимется общественное мнение...

Начальник. Уровень пройден! А вы не боитесь ответных ударов политиков? Особенно в вашей стране, нет?

Эмма. Мне на это наплевать. Я что, должна быть еще и патриоткой? Уважать их флаг, заляпанный кровью? Они не испытывали никакой жалости по отношению к моему старому отцу...

Начальник. Справедливо.

Эмма. Значит, мы договорились. Когда вы начнете? Когда?

Начальник. Когда вы́ начнете, хотите сказать.

Эмма. Вы, это кто?

Начальник. Вы это вы, кто ж еще?

Эмма. Я?!

Начальник. Шестой уровень! Мы приближаемся к развязке...

Эмма. Что значит я? Я здесь при чем?

Начальник. При том, при всем! Пять минут назад вы плевали на флаг своей страны, говорили, что ненавидите ее... а сейчас что случилось: отказываетесь от всего?

Эмма. Нет... но...

Начальник. Вот и проявите все свое мужество, свою преданность делу...

Эмма. Нет, подождите, я пришла сюда, чтобы сообщить вам конфиденциальную информацию, а не для того чтобы быть завербованной...

Начальник. Не беспокойтесь: мы дадим вам все, что необходимо, и сами будем следовать за вами на расстоянии... Вам же легче всего проникнуть на свою фабрику в своей стране... тогда как для нас — это большая проблема...

Эмма. Но послушайте...

Начальник. Погодите, эти ублюдки сломали мои инфракрасные очки! Они мне за это заплатят, ох как заплатят!..

Эмма. Я даже не знаю, с какого конца начинать... Нет... это невозможно...

Начальник. Я должен быстренько перезарядиться... Итак, вы согласны?

Свет гаснет.

Сцена третья

То же помещение, что и в первой сцене первого действия. Ночь.

Лалло. Ты правду говоришь?

Паппо. Ты — фиалка.

Лалло. Но, если в цехе “Б” высокая температура, мне там не выжить...

Паппо. Ты — сыр.

Лалло....потому что я не переношу жары... Когда жарко, я теряю сознание!

Паппо. Ты — размазня.

Лалло. Как ты думаешь, я обязан сообщить им об этом? Они же сами говорили, что мы должны быть абсолютно прозрачными.

Паппо. Ты не прозрачный, ты — призрачный.

Лалло. Боюсь, что все-таки окажусь в цехе “Б”... Как бы мне избежать этого, а? Я же не годен ни к какой работе! Ты же видел, что я даже не выдержал теста на перетягивание каната, не смог удержать его в руках... (*Крутит концом веревки, которую держит в руках.*)

Паппо. Это был тест на поверхностную психомоторную сопротивляемость, а не на перетягивание каната. По-моему, глупо терять время, подвергая тебя экзамену, им достаточно поглядеть на твою физиономию, чтобы понять: тебе самое место в цехе “Б”.

Лалло. Ты это серьезно? То есть мне не выкрутиться?

Паппо. Теоретически у тебя есть шанс избежать этого. Все зависит от того, как ты выдержишь завтрашний экзамен. Ну что, начнем тренинг сначала?

Лалло. Бесполезно. У меня ничего не получится.

Паппо. В таком случае...

Лалло. В таком случае мне лучше пойти поспать, хотя я вряд ли засну... или съесть чего-нибудь... или напиться... а я торчу здесь с тобой, как гвоздь в стенке... А ты жестокий.

Паппо. Неправда!

Лалло. Да-да, ты безжалостный. Достаточно вспомнить, как ты вел себя со мной во время тренинга.

Паппо. Это ложь!

Лалло. Нет, не ложь. Ты безжалостный. (*Пауза.*) Как ты думаешь, я могу оставить себе эту униформу? Мне разрешат взять ее туда? Я хотел бы сгореть в огне, не снимая ее. Привык к ней, что ли... А мои золотые рыбки? Их-то

я не смогу взять с собой. Жалко... Не, я точно не сдам экзамен... Хотя чего я себя накручиваю? В конце концов, что со мной может стрястись плохого в цехе "Б"? Там такие же коллеги, как ты... начальники... будет жарковато... может, запах не понравится... но, по крайней мере, продукция... какое чудо, должно быть, эти алмазы...

Паппо. Ты не мог бы заткнуться.

Лалло. Я не хочу в цех "Б"!..

Паппо. Ну конечно, лучше торчать у меня перед носом целыми днями и ночами.

Лалло. А оттуда можно выходить? Есть какой-то день, когда оттуда выпускают?

Паппо. Этого еще не хватало, чтоб оттуда выпускали! Нет, ты не сможешь выйти оттуда!

Лалло. Почему? Почему я не смогу выйти?

Паппо. Потому что ты еще даже не вошел туда.

Лалло. Что бы такое придумать, чтобы туда не попасть? Я не хочу в цех "Б"... Мне хреново, у меня ноги трясутся... в глазах темно...

Паппо. Все, помолчи. Завязывай с депрессией. Это может быть заразно. Давай я научу тебя новой технике...

Лалло. Нет, больше никакого тренинга!

Паппо. На этот раз речь не о тренинге. Это упражнение помогает подзарядиться энергией, расслабиться, снять стресс, повысить самооценку. Так что повторяй за мной...

Лалло. Не буду...

Паппо. Хватит болтать. Делай как я! Это "хака", танец племени майори. (*Напевает, переступая ногами.*) Ринга пакия...

Лалло (*вторит ему*). Ринга пакия...

Паппо. Свирепее морду!.. Ума тирахия...

Лалло (*делая зверскую физиономию*). Ума тирахия...

Паппо. Еще свирепее!.. Тури ватия...

Лалло. Тури ватия...

Паппо. Агрессивнее... угрожающе! Хопе вай аке...

Лалло. Хопе вай аке...

Паппо. Громче!.. Вае вае такахия кия кито!

Лалло. Вае вае такахия... что?

Паппо. Вае вае такахия кия кито!.. Переступай ногами, вот так...

Лалло. Вае вае такахия кия кито!

Паппо. Вае вае такахия кия кито! Энергичнее! Вае вае такахия кия кито!

Лалло. Вае вае такахия кия кито!

Паппо. Еще!
Лалло и Паппо. Вае вае такахия кия кито!

Входит Анна.

Анна. Я видала придурков, но таких, как вы...
Паппо. Забыли здесь швабру?
Анна. Я ничего не вижу, а слышу еще меньше...
Паппо. Может быть, это и правильно.
Лалло. Я не хочу в цех "Б"... (*Берет веревку и начинает вязать узел.*)
Анна. А в этот раз вы готовитесь к экзамену по народным танцам?
Паппо. Что, завидно?
Анна. Еще чего! Я в них ничего не понимаю. Это ваше дело.
Лалло. Я не хочу в цех "Б"...
Паппо. Ладно, чего вы ждете? Делайте поскорее, что должны и...
Анна. Вы куда-то спешите, юноша?
Паппо. Скажите, пожалуйста, вы давно здесь работаете?
Анна. А вот это уже не ваше дело.
Паппо. Нет уж. Мое. Если позволите. Мне обещана начальственная должность на этой фабрике.
Анна. Поздравляю! Еще один начальник на этой гнусной фабрике... Ты хоть знаешь, какую гадость она производит?
Лалло. Я не хочу в цех "Б"!..
Паппо. Ну и что же такое она производит? Просвети неразумного.
Анна. Алмазы.
Паппо. Их производит всего один цех. И что в этом плохого? Тебе-то никогда не дарили алмазов. Один только пшик. Только пшик ты получала в этой жизни.
Лалло. Не хочу в цех "Б", я уж лучше... (*Встает на стул, перебрасывает конец веревки через балку, проверяет, хорошо ли зацепилась, сует голову в приготовленную петлю.*)
Анна. А ты хоть знаешь, из чего их делают, твои алмазы?
Паппо. Из чего?
Анна. Эти сволочи делают их из человеческого праха! Разрывают могилы, а еще похищают больных, инвалидов, убивают их, вспарывают животы, разделывают на части и сжигают! Вот из чего получаются твои расчудесные алмазы!
Паппо. Заткнись!..
Анна. Но теперь этому конец! (*Сдергивает косынку с головы, распахивает халат. На ней пояс со взрывчаткой. Теперь мы*

видим, что это на самом деле Эмма.) Сейчас здесь все взлетит на воздух!

Лалло. Я вешаюсь!..

Паппо. Что с вами двумя? С ума посходили?.. (*Эмме.*) Подожди, не взрывай!.. Подожди!.. (*Лалло.*) А ты спускайся! Дай мне эту веревку!

Эмма. Я разложила взрывчатку повсюду... Ваша грязная фабричонка обречена!

Паппо. Хорошо, только не сейчас!.. Не сейчас!.. (*Лалло.*) Спускайся оттуда, вынь голову из петли!.. Ты не попадешь в цех "Б", я тебе обещаю...

Лалло. Не подходи ко мне! Ты не заставишь меня изменить свое решение!

Эмма. Мы сейчас все взлетим на воздух! Эта выгребная яма, в которой вы плещетесь, вернется в ад!

Паппо. Нет, вы точно свихнулись! (*Эмме.*) Подожди!.. Кто тебе сказал эту чушь... (*Лалло.*) И ты подожди!.. Я поговорю с ней и подойду к тебе... не вешайся, подожди, ладно?.. (*Эмме.*) Это все вранье, все неправда!

Эмма. Ах, неправда! А если все это неправда, почему твой приятель хочет повеситься?

Паппо. Откуда я знаю почему... у него какие-то проблемы... Личные...

Эмма. Сердечные проблемы?

Паппо. Точно, сердечные... а сейчас будь разумной, сними с себя эту взрывчатку... (*Лалло.*) А тебя какая муха укусила? Ты что, спятил? Спускайся, мы должны остановить эту сумасшедшую...

Эмма. Это твоя сестра сумасшедшая!

Лалло. Я не хочу в цех "Б".

Паппо. Да не пойдешь ты туда! Давай спускайся, помоги мне...

Эмма. Пусть вешается, все равно сейчас все взорвется!

Паппо. Не-е-ет! (*Эмме.*) Остановись, остановись на секунду, подожди... одну только секунду, что тебе стоит...

Эмма. Одну секунду? Пожалуйста... Все, секунда прошла. Взрываю...

Паппо. Стой! Это так говорится: "одну секунду"... Послушай... (*Лалло.*) Ты, ты тоже слушай, так, по крайней мере, подождешь вешаться... (*Эмме.*) Чего ты добьешься, если взорвешь все это?

Эмма. Я не хочу тебя слушать. Я здесь, чтобы исполнить свою миссию.

Паппо. Выслушай меня, а потом поступай как хочешь... Объясни, что тебя не устраивает в производстве этих

алмазов? Прах и все, что с этим связано. Так? Ладно, ты взорвешь себя, и нас, и эту фабрику. И на что ты рассчитываешь? Думаешь, они будут долго лить слезы? Да они запустят производство тех же алмазов раньше, чем ты переступишь порог ада... Ты думаешь, у них нет другой фабрики в резерве?..

Эмма. Все. Я тебя выслушала, и ты меня не убедил.

Лалло. Я вешаюсь!

Паппо. Заткнитесь вы оба! Я еще не кончил говорить!.. Если ты взорвешь себя, куда, по-твоему, попадет твое тело? Ты думаешь, они соскребут его и похоронят с песнями и плясками? Святая простота! Ты окажешься там, где окажемся мы все! Мы все превратимся в блеск и сверкание! И знаешь, что я тебе еще скажу? Фабрик в этой стране много, одна производит крем для обуви, вторая запчасти для велосипедов и так далее. И каждой не хватает сырья. Так что нас могут использовать для изготовления надувных подушек или гаек, пломб, кухонных комбайнов... или, например, половых тряпок... Вот чем мы можем стать! Ты этого хочешь? Ты для этого сюда явилась? Чтобы стать сырьем? Ты хочешь быть сырьем? Тогда вперед! Взрывай! И нас вместе с собой... Но перед этим все-таки пошевели мозгами... И может, до тебя дойдет, что для тебя есть выход получше... уехать... уехать куда подальше из этой гребаной страны... туда, где ты останешься собой и после смерти... подумай...

Лалло (*слезая со стула*). Я раздумал вешаться.

Свет гаснет.

Сцена четвертая

Кабинет Начальника. Он перед компьютером с наушником в ухе разговаривает с кем-то по “скайпу”.

Начальник. Я очень рад слышать, что все в порядке... Да, спасибо... Вы, я вижу, тоже в прекрасной в форме! Вот что значит регулярно заниматься спортом! У меня, к сожалению... Что вы говорите?.. Плохо меня видите? Подождите, сейчас попробую отрегулировать телекамеру... Черт, лучше бы не трогал! Теперь я вас совсем не вижу! Давайте пока общаться без видео, я сейчас вызову моего спеца по видеоконференциям... Спасибо... (*Кладет наушник на стол и берет телефонную трубку.*) Ты где?.. Знаешь, откуда у тебя руки растут?.. Что, что... Ты все хреново на-

ладил, понял?.. Когда придешь?.. Нет, немедленно! Мне сказать, что с тобой случится, если ты сейчас же не явишься, или сам догадаешься?.. Вот так-то! (*Кладет трубку, вставляет наушник.*) Извините, у нас кое-какие проблемы с линией... вы же знаете, мы подключили АСДЛ совсем недавно... Да, мы сильно отстали от вас технически, но можете быть уверены, мы быстро преодолеем эти маленькие трудности связи и будем устраивать видеоконференции каждые пятнадцать дней, как вы и просили. Итак, о чем вы хотели поговорить сегодня? Ах да, простите, чуть не забыл, хочу поблагодарить вас за прекрасный подарок... моя жена вам очень признательна: алмаз прекрасный, да и оправа превосходная... вся семья в восторге! Простите, что перебил, но не мог не выразить вам... Еще?.. Нет, не вижу, хотя телекамера последней марки... (*Пытается настроить телекамеру с помощью пульта.*) Скажите, когда будет лучше видно... Мне тоже отлично... Да-а, хорош камень! Заранее спасибо! Так о чем вы хотели поговорить со мной?.. О мирном договоре? И что с ним?.. Вы встревожены?.. Да нет же, все совсем не так, не беспокойтесь... Гарантии нашей организации, которая сегодня еще сильнее, чем раньше... Объясняю: в политическом аспекте мы независимы от центральной власти и поэтому не считаем себя связанными договоренностями любого рода, подписанными ею без нашего согласия. Так что мирный договор — бессмысленная бумажка... Нет, наоборот, шумиха вокруг договора лишь помогает нам привлекать новых сторонников. Знаете, как это делается? Патриотизм, национальная идея и прочее бла-бла-бла... Разумеется, мы уже консультировались с руководителями других группировок и единодушно решили объединить наши усилия в борьбе против вас... Журналисты? Ну что вы! Если до публикации проекта на нас была направлена сотня прожекторов, то теперь их уже тысячи, десятки тысяч, и каждое наше действие и заявление восхищает сотни тысяч потенциальных единомышленников. Поэтому можете спать спокойно, мирный договор не помешает нашим договоренностям... Не за что... На фронте? Как вы и просили, в ближайшие дни мы начнем новое наступление. Несмотря на мирный договор. Так что сможете получить обещанные поставки в предусмотренное время. А знаете что? Я думаю, что смогу увеличить объем поставок на пятнадцать-двадцать процентов сверх того, что вы заказывали. Ваше оборудование с этим справится?..

Очень хорошо. Вы не могли бы удовлетворить мое любопытство: сколько алмазов вы произвели в прошлом месяце?.. Однако! Впечатляет! Поздравляю! Возвращаясь к нашему наступлению, я уже говорил с вашими командующими Первой и Второй зоны и проинформировал их о времени и направлении атаки наших войск... Они пообещали, что ответ будет молниеносным и жестким... Да, они мне тоже сообщили, где сконцентрируют свои формирования. Мы уже готовы обрушиться на них всей своей мощью. Так что объем поставок увеличится еще на несколько процентов. Да, кстати, учитывая все это, мы хотели бы внести коррективы в наши с вами коммерческие договоренности. Когда вам будет удобно обсудить это?.. Что вы говорите? Черт, опять линия пропала! (*Вырывает из уха наушник и хватает трубку.*) Урод! Куда ты пропал, кусок дерьма?! Ты давно должен был быть здесь! (*Бросает трубку.*) Опять видно. (*Вставляет наушник.*) Да, так что насчет встречи? Когда и где?.. Хорошо, я буду... Что?.. Да, довольно забавный эпизод... Какая-то баба с вашей стороны заявилась сюда с просьбой помочь отомстить за своего отца... Нет, я не стал сразу же сворачивать ей шею, решил поиграть с ней немного, дал ей фальшивую взрывчатку, убедил, что будем ей помогать... Нет, все закончено, мы ее нейтрализовали... Да, с помощью моего человека, который был откомандирован к вам... Да, тот самый... Передам, он как раз должен прибыть с минуты на минуту, нам надо обсудить пару вопросов... Да, большой молодец!.. Что вы сказали? Он еще не прислал вам еженедельный отчет? Я ему напомню, не сомневайтесь... Отлично работает: наблюдает за всем, что происходит на вашей фабрике, все регистрирует, морочит голову своим коллегам, забавляется во время тренингов, прекрасный провокатор... Черт! Да что же это такое! Опять пропала линия!

Стук в дверь.

Входи! Я тебе яйца оторву!.. Ах, это ты... извини, я думал, это техник.

Входит Лалло, по-прежнему в униформе фабрики.

Входи, входи, дорогой, не стой на пороге! Садись. Как себя чувствуешь?

Лалло садится, протягивает Начальнику пакет. Начальник открывает его и достает несколько фотографий. Рассматривая

их, оба смеются. Начальник выбирает фото, на которой запечатлен Лалло на лошадке-качалке, на голове шляпа, в руках шпага и маракас, во рту свисток. Громко хохочут.

Слушай, прекрасное фото! Я его повешу у себя, не возражаешь? Выкуришь сигару? (*Подвигает к Лалло коробку.*)

Лалло. С удовольствием! (*Берет сигару и закуривает.*)

Занавес

От автора

История, рассказанная в пьесе, основана на реальных фактах. Фабрика, которая производит алмазы, используя в качестве сырья человеческий прах, действительно существует. Она находится в Соединенных Штатах, и у нее есть собственный сайт в Интернете, довольно популярный. Основной посыл сайта: наши алмазы непревзойденные! Пришлите нам прах вашей матери, вашего мужа или вашей сестры, и мы пришлем вам сделанный из него прекрасный алмаз! Он станет вечной драгоценной реликвией вашей семьи!

2015 год объявлен Годом испанского языка и испаноязычной литературы в России. В рамках этого года Институт Сервантеса[1] готовит публикацию двуязычной антологии микрорассказов — очень популярного жанра в испаноязычной литературе. Составители антологии (Хемма Пельисер и Фернандо Вальс), названной "Языки колибри", стремились познакомить русского читателя как с классиками, так и с молодыми авторами Испании и Латинской Америки.

К участию в проекте приглашены около 105 переводчиков (их краткие биографии будут также напечатаны в этом сборнике) всех поколений, от признанных профессионалов до еще только начинающих свой творческий путь. Таким образом, книга становится одновременно и антологией русской переводческой школы, своеобразным справочником ныне работающих переводчиков-испанистов. Несколько рассказов были переведены уже ушедшими классиками художественного перевода: Анатолием Гелескулом, Борисом Дубиным, Вероникой Спасской и Валерием Столбовым.

Сборник выйдет в свет в июне 2015 года.

Публикация подборки рассказов осуществлена при поддержке Института Сервантеса.

Instituto Cervantes

1. Институт Сервантеса — государственное учреждение Испании, созданное в 1991 г. для преподавания испанского языка и распространения испанской и латиноамериканской культуры. Представлен на четырех континентах и имеет более 40 центров. В Москве Институт Сервантеса сотрудничает с музеями, галереями, театрами, издательствами и другими культурными организациями как русскими, так и испанскими и латиноамериканскими.

Языки колибри

Из антологии испанских и латиноамериканских рассказов

Колибри никогда не позавидует ни цвету оперенья, ни размаху крыльев. Она птаха крохотная, она — миниатюра, вот в чем ее красота — и этого достаточно.

Эдмунд Берк
Философские раздумья о наших представлениях о возвышенном и прекрасном

Хуан Рамон Хименес[1]
Другой

Друг мой спустился по лесенке и там, внизу, на пороге вдруг стал другим — неузнаваемо другим. Но другой существовал всегда. Не знаю, понимал ли это мой друг, знал ли, что это бывает заметно, или ни о чем не подозревал.

Другого я увидел сверху, провожая друга: едва он ступил на порог, я отчетливо увидел *того*. Непривычный ракурс исказил черты до безобразия, до дрожи. Мне стало не по себе.

Другой ничем не походил на моего друга. Фокус сбился, смял лицо и залил его чернотой — так меняют человека только пламя, гроб и часовня, где молятся за упокой. Трижды сгущенная, непостижимая горестная тьма. Такая же немыслимая и такая же неоспоримая, как тот, другой.

Друг приходил, мы говорили, смеялись, размышляли. Он, как всегда, резкий, шумный, экстравагантный, я — восторженно-пылкий. И я забывал о другом. Но когда я провожал друга, когда он спускался по лесенке, там, на пороге, всего на один миг предательский ракурс вычерчивал профиль другого. И они исчезали — оба.

Перевод Анатолия Гелескула

1. Хуан Рамон Хименес (Juan Ramon Jiménez; 1881—1958) — испанский поэт. Лауреат Нобелевской премии (1956).

Федерико Гарсиа Лорка[1]
Игра в дамки

ПЯТЬ придворных дам — пять воплощений поэзии и прелести, — увидав таинственного юного странника, гостя из дальних стран, влюбились без памяти. И окружили его хороводом потаенной нежности и любви. Но юноша, ничего не замечая, бродил по саду, предаваясь мечтам о дочке садовника — крепко сбитой, дочерна загорелой девушке, — вовсе не красавице, но, впрочем, и не дурнушке. Обнаружив эту привязанность, дамы вознегодовали и замыслили погубить селянку, для чего отправились в сад, где и нашли ее уже бездыханной. Светлая душистая улыбка озаряла ее лицо, а на скамейке, с которой вспорхнула бабочка, осталось лишь платье юного странника.

Перевод Натальи Малиновской

Адольфо Бьой Касарес[2]
Спасительная мысль

БЫЛО это в незапамятные времена. Некий скульптор сопровождал всесильного деспота в его прогулке по дворцовым садам. Они миновали миртовый лабиринт Выдающихся Чужеземцев и, покидая аллею Обезглавленных Мудрецов, остановились на лужайке перед последней работой скульптора — фонтаном "Наяда". Мастер, упоенный красотой своего творения, с восторгом пустился в пространные технические объяснения, но вдруг заметил, что на безупречные черты его спутника легла грозная тень. Он легко прочел мысль тирана: "Как же так? — размышлял тот, — этот жалкий человечишка способен сотворить то, что не под силу мне, отцу народов?"

1. Федерико Гарсиа Лорка (Federico Garcia Lorca; 1898—1936) — испанский поэт, драматург, музыкант, художник-график.
2. Адольфо Бьой Касарес (Adolfo Bioy Casares; 1914—1999) — аргентинский писатель.

В этот миг маленькая пташка, пившая воду в фонтане, с шумом вспорхнула ввысь, и скульптора осенила спасительная мысль: "Воистину никчемные существа эти пичужки, — почтительно обратился он к своему господину, — однако, надо признать, летают они все-таки лучше нас!"

Перевод Натальи Ванханен

Марко Деневи[1]
Властители и подвластные

По ночам Великий Тамерлан переодевался купцом и обходил бедные кварталы, дабы услышать глас народа. Сам тянул людей за язык.

— Как вам Великий Тамерлан? — выпытывал он. — Что вы думаете о Великом Тамерлане?

Вокруг неизменно поднимался ропот, звучали проклятия и гневные жалобы. Купец чувствовал, как ему передается народное возмущение. В порыве негодования он и сам поносил власти предержащие, обнаруживая к ним ярую ненависть.

Наутро во дворце Великий Тамерлан впадал в бешенство. "Известно ли всему этому сброду, — вопрошал он, — каково держать в руках бразды правления империей? Может, эти прохвосты считают, будто мне только и дело, что до их ничтожных интересов, до их кумушкиных сплетен?" И он обращался к сложным государственным вопросам.

Но наступала ночь, купцу вновь приходилось слушать простые истории о бесчинствах, произволе, беззакониях солдатни, о злоупотреблениях чиновников, бессовестности сборщиков податей, и он опять принимал сторону народа.

Через некоторое время купец организовал заговор против Великого Тамерлана. Благодаря хитрости, отваге, знанию военного искусства он возглавил заговорщиков и стал вождем народа. Но Великий Тамерлан из своего дворца расстраивал все планы мятежников, нередко ценой невероятных усилий, нещадно жертвуя воинами.

1. Марко Деневи (Marco Denevi; 1922–1998) — аргентинский прозаик, эссеист, журналист. Неоднократно являлся победителем в жанре короткого рассказа.

Единоборство продолжалось несколько лет. Пока народ, уставший от поражений и неудач в борьбе, не заподозрил, что на деле купец — тайный агент, провокатор, наймит Великого Тамерлана, и не умертвил его в мрачном кабаке в тот самый час, когда придворные сановники, полагая, что Великий Тамерлан уже не в силах одолеть врагов, лишали его жизни на широком царском ложе.

Перевод Александра Казачкова

Антонио Ди Бенедетто[1]

Спящие

В непререкаемом безмолвии ночи, в такой укромной глубине сновидения, что он ни вздохом не выдает себя, ему привиделась внезапная смерть любимого существа. Женщина, что спит с ним рядом, вскрикивает от пронзившего ее отчаяния. Он просыпается. Женщина спит, не пробуждаясь, но ей снится, что она плачет.

Перевод Марии Игнатьевой

Висенте Уйдобро[2]

Дочь стрелочника

Будка стрелочника расположена возле самых рельсов, прижатая такой крутой скалой, что лишь редкие деревья карабкаются вверх, вцепляясь в расщелины мощными корнями, чтобы добраться до вершины. Сама деревянная будка от постоянной тряски и непогоды почти разва-

1. Антонио Ди Бенедетто (Antonio Di Benedetto; 1922–1986) — аргентинский писатель, журналист, киносценарист. Лауреат многочисленных премий, его книги переведены на разные языки.
2. Висенте Уйдобро (Vicente Huidobro; 1893–1948) — чилийский поэт, прозаик, критик, драматург, киносценарист. Писал на испанском и французском языках.

лилась. Маленькая будка метрах в двадцати от трехколейной линии железной дороги.

В этом жалком домишке проживает стрелочник вместе с женой. Каждый день он провожает призрачные для него поезда, мчащиеся из одного города в другой. Сотни поездов — с севера на юг и с юга на север. Каждый день, каждую неделю, каждый год... Тысячи поездов, везущих миллионы призраков. И скала сотрясается им в такт. Жена стрелочника, как и всякая хорошая жена, помогает мужу нанизывать все эти поезда на верные пути. И ответственность за столько жизней наложила трагический отпечаток на лица обоих. Они почти разучились улыбаться, даже глядя на свою трехлетнюю малышку, хотя это милый ребенок, напоминающий и цветок, и птичку одновременно.

Поезда пролетают с таким грохотом, будто целый город решил таким образом выпустить на волю свои опьяневшие от радости призраки, все еще опутанные гремящими оковами.

А девочка, живущая под скалой, играет между рельсов с ужасающей безмятежностью. Она и не подозревает, что живущие в городе более обеспеченные дети играют с игрушечными поездами величиной не больше мыши. Зато игрушками ей служат самые большие в мире поезда, на которые она уже научилась смотреть с некоторым пренебрежением.

Эта маленькая девочка — чистая прелесть: живая, беспечная, веселая и без капризов. В округе говорят, что ее однажды сбил поезд. Но родители только ею и живут и во всем потакают ей. Пока...

Они знают, что однажды поезд ее собьет.

Перевод Юрия Гирина

Микрорассказ

Ана Мария Матуте[1]

Карусель

МАЛЫШ, у которого деньжат не водилось, слонялся по ярмарке, засунув руки в карманы и уставившись в землю. Малыш, у которого деньжат не водилось, не

1. Ана Мария Матуте (Ana María Matute) — испанская писательница. Член Испанской Королевской академии [1996]. Лауреат премии "Планета" (1954), премии Надаля (1954), Премии критики (1959), Национальной литературной премии (1959), Государственной премии по детской литературе (1984), Государственной премии за выдающийся вклад в литературу (2007), премии *Мигель де Сервантес* (2010).

хотел смотреть ни на тир, ни на чертово колесо, а особенно — на карусель с желтыми, ярко-красными и зелеными лошадками на золотых стержнях. Малыш, у которого деньжат не водилось, когда поглядывал краешком глаза на карусель, твердил: "Да ну, ерунда какая-то, она же никуда не везет. Просто вертится круг за кругом и никуда не везет".

В дождливый день малыш нашел на земле круглую жестяную крышку, самую лучшую крышку от самой лучшей пивной бутылки, какой никогда раньше не видал. Крышка так блестела, что малыш схватил ее и побежал к карусели, чтобы заплатить сразу за все круги. И хотя шел дождь, а карусель, накрытая брезентом, замерла в тишине, он забрался на золотого коня с большими крыльями. И карусель завертелась, круг за кругом, и музыка зашлась криком прямо среди толпы — такого он никогда не видел. Но эта карусель была такая большая-пребольшая, что никогда не завершала свой круг, и лица тех, на ярмарке, и ларьки, и дождь — остались далеко.

"Как прекрасно никуда не ехать", — подумал малыш, которому никогда не было так весело. Когда солнце высушило промокшую землю и мужчина поднял брезент, все с криком разбежались.

И ни один малыш не захотел снова прокатиться на этой карусели.

Перевод Юлии Оболенской

Лусиано Гонсалес Эхидо[1]

Инерция

Все вещи упорствуют в своем бытии.

Спиноза

ЧЕРЕЗ полуоткрытую дверь до него доносились привычные речи утра и звуки, проснувшиеся с зарей. На кухне ложечка-самоубийца вдруг прыгнула на твердый пол. Под бременем преданности не находя покоя, спешно залаяла собака. Торжественно протянулись по оконным шторам новые

1. Лусиано Гонсалес Эхидо (Luciano Gonzalez Egido; p. 1928) - испанский эссеист, поэт и новеллист. Его работы отмечены многими литературными премиями, в том числе Премией критики (1995), Премией критики Кастилии (2003) и премией *Летрас* Кастилии и Леона (2004).

лучи восходящего солнца. Простыни льнули к телу, по обыкновению, тепло и ласково. Сладостную неподвижность берегло одеяло в линялый цветочек. Каким-то чудом дышать стало легче. В спальне — жара, пока выносимая. Руки — вдоль тела, разбросаны бережно, будто насилу. Книга вверх корешком на морщинистой простыне, словно астероид, забытый гостем из ночной темноты. Мысль о болезни поднимается, проникает в сознание. Растет искушение отринуть волю посреди безбурного моря спальни, за обрывом постели, глянешь — и кружится голова. Нету боли, нету желаний, и спешить некуда. Спать, и снова спать. Мать вошла, когда уже близился полдень, и нашла его в той же позе, так лежал он каждый день, растянувшись, и на этот раз ничем не обманул материнских ожиданий. Все было как всегда, кроме некстати явившейся смерти.

Перевод Анастасии Миролюбовой

Хуан Хосе Мильяс[1]
Путаница

НЕ успел я еще открыть подарок, а из коробки уже позвонили. Мобильник. Нажав кнопку, я услышал голос жены: она с хохотом звонила из спальни, чтобы поздравить меня с днем рождения. Ночью ее потянуло на разговоры за жизнь и на воспоминания обо всем, что мы с ней пережили. Но только она настаивала, чтобы мы общались по телефону. Поэтому я прицепил мобильник к поясу и уселся в гостиной, а она пошла в спальню, чтобы мне позвонить. Когда мы закончили, я вошел и увидел ее сидящей на кровати в глубокой задумчивости. Она сказала, что позвонила мужу и теперь не знает, не стоит ли ей к нему вернуться. Наша история вызывала у нее, дескать, только чувство стыда. Поскольку никакого мужа, кроме меня, у нее нет, я решил, что она просто пытается заманить меня в постель. В эту ночь мы любили друг друга исступленно, как два любовника.

1. Хуан Хосе Мильяс (Juan José Millás; p. 1946) — испанский писатель. Лауреат премии *Sesamo* (1974), *Планета* (2007), национальной премии в области проза (2008) и др.

На следующий день я сидел на работе и жевал бутерброд, и тут снова позвонили. Разумеется, это была она. Она сказала, что хочет признаться, что у нее есть любовник. Так как мне показалось, что для нас с ней игра эта была очень полезной, я ей решил подыграть и начал успокаивать ее, что мы с ней еще и не такое видали и это испытание тоже наверяка преодолеем с честью. Ночью мы снова, как и накануне, разговаривали по телефону, и она сказала мне, что любовник должен прийти с минуты на минуту. Не на шутку возбудившись, я повесил трубку, пошел в спальню, и мы не могли остановиться до самого рассвета.

Так продолжалось целую неделю. Наконец, в субботу, когда мы уже были в спальне после очередного телефонного разговора, она сказала, что уходит, хотя и любит меня, потому что мужу своему она нужна больше, чем мне. С этими словами она ушла и с тех пор мне больше никто не звонил на мобильник. Кажется, вышла какая-то путаница.

Перевод Евгении Афиногеновой

Ана Мария Шуа[1]

Воздушные гимнасты

НЕ бойся, она полетит, у нее наши гены, говорит воздушный гимнаст. И из-под самого купола бросает дочь, совсем еще кроху, туда, где стоит, протянув руки, его насмерть перепуганная неверная жена. Но зря она боится: девочка получила особый дар от своего настоящего отца, циркового фокусника, и действительно взлетает. Или просто делает вид.

Перевод Марины Киеня

1. Ана Мария Шуа (Ana María Shua, наст. имя Ana María Schona) — аргентинская писательница, сценарист, автор книг для детей. Лауреат премий Национального фонда искусств (1967) и *Конес* (2004). Обладатель Почетного пояса Аргентинского союза писателей.

Педро Угарте[1]
Человечество

На этой необычной планете жили странные существа. Время от времени отдельные особи начинали странным образом раздуваться, а когда их объем достигал критического уровня, с болью и криками исторгали из своего тела существ, похожих на себя (маленьких и деформированных), которые немедленно начинали с жадностью пожирать пищу. С годами они росли и приобретали сходство с произведшими их на свет.

Только таким образом этот вид и мог воспроизводить себе подобных, ведь, ко всему прочему, их жизнь была эфемерна и скоротечна. Когда кто-то из них умирал, другие представители вида спешили избавиться от тела, закапывая его в землю или предавая огню.

Даже несмотря на такой короткий жизненный цикл, этим существам не хватало жизнеспособности: каждые несколько часов они были вынуждены погружаться в глубокий сон. Нам представляется, что таким образом они постепенно приучали себя к мысли об органическом уничтожении, которое неминуемо ждало каждого из них.

Это может показаться нам невероятным, но они вовсе не чувствовали себя несчастными. С годами они начинали предчувствовать приближение смерти (конечно, если она не наступала раньше в результате какой-либо трагической случайности), но почти совсем о ней не думали, а продолжали заниматься своими делами — ничего не значащими банальностями, на которые и тратили все недолгое отпущенное им время.

Именно этот факт позволил нашим ученым сделать вывод, что, несмотря на нездоровую привычку заталкивать в рот разные предметы, настоящей пищей этим существам служили мечты.

Перевод Александра Севостьянова

1. Педро Угарте (Pedro Ugarte, p. 1963) — испанский писатель и журналист. Лауреат многих литературных премий, в том числе национальной премии журналистики *Хулио Камба* (2009), премии *Логроньо де новела* (2011).

Эдуардо Берти[1]
Человек из прошлого

КОГДА прадедушке моей подруги Т. исполнилось девяносто пять лет, он начал говорить о себе исключительно в прошедшем времени. Он не говорил: “Я иду в ванную” — он сообщал: “Я ушел мыться”, и направлялся в ванную. Говорил: “Я ушел спать” — и направлялся прямиком в кровать. Старик, убеждена моя подруга, считал, что он уже “полностью принадлежит прошлому”.

Перевод Андрея Кофмана

Андрес Неуман[2]
Прикидываться мертвым

ПОЧЕМУ мне так нравится прикидываться мертвым? И впрямь ли речь идет о какой-то садистской привычке, как сокрушаются друзья или особо чувствительные супруги? Почему меня завораживает с самого детства — а мы всю жизнь остаемся детьми — возможность бесконечно оставаться без движения, словно я мумия из моего собственного будущего? Откуда берется это едкое наслаждение от сопричастности трупу, которым я пока все же еще не стал?

Объяснение могло бы быть очень простым и потому — загадочным.

Созерцая мир в тот момент, когда я ни на что не смотрю, продолжая думать тогда, когда я думать не собираюсь, ощущая внутри себя с мощной уверенностью джунгли артерий и американские горки нервов, я убеждаюсь не только в том, что я жив, но в чем-то еще гораздо более впечатляющем. Я опробую единствен-

1. Эдуардо Берти (Eduardo Berti; p. 1964) — аргентинский писатель, сценарист, журналист. Лауреат премии аргентинского издательства “Эсме” (2011).
2. Андрес Неуман (Andrés Neuman; p. 1977) — аргентинский поэт, прозаик, журналист. Лауреат премий имени Антонио Карвахаля (1998), имени Гарсиа Лорки (1999), издательства “Гиперион” (2002) и др.

но возможную, крохотную форму трансцендентности. Я переживаю себя самого. Я отделываюсь от смерти играючи.

Домой возвращается сын. Сейчас я снова начну дышать.

Перевод Марины Абрамовой

Аугусто Монтерросо[1]

Т*аракашка – мечтательница*

Жила-была Таракашка по имени Грегор Замза, которой снилось, что была она Таракашкой по имени Франц Кафка, которой снилось, что она – писатель, который пишет о коммивояжере по имени Грегор Замза, которому снилось, что был он Таракашкой.

Перевод Татьяны Пигаревой

1. Аугусто Монтерросо (Augusto Monterroso, 1921–2003) – гватемальский писатель. С 1944 г. жил в Мексике как политический эмигрант. Кавалер мексиканского Ордена ацтекского Орла (1988), гватемальских орденов Мигеля Анхеля Астуриаса и Яшмового Кетцаля майя (1996). Лауреат многих мексиканских, гватемальских, испанских литературных премий. В 1991 г. назван в Испании писателем года.

Александр Ливергант
Генри Миллер

Главы из биографии

Я человек путаный, небрежный, безрассудный, похотливый, похабный, шумный, вдумчивый, совестливый, лживый — и чудовищно искренний.

Генри Миллер *Черная весна*[1]

“Я – квинтэссенция противоречий”, или “Веселье вопреки всему”

Вместо предисловия

“Я родился под счастливой звездой... счастье — мое единственное состояние” — не раз повторял автор одиозного “Тропика Рака”[2]. “Жизнь есть постоянный медовый месяц с земляничным пирогом и слоеным шоколадным тортом”. “Я родился счастливым, — пишет он своему парижскому другу, журналисту Альфреду Перлесу. — Мне никогда не приходилось искать счастья, как ищут его другие. Для меня счастье — естественное состояние. Я всегда был счастлив с собой и в себе. Несчастья и страдания привносили в мою жизнь другие”.

И это говорит человек, который лет шестьдесят из отпущенных ему восьмидесяти девяти сильно нуждался, бродяжничал и о земляничном пироге мог только мечтать. Способности мечтать, кстати говоря, придавал, как и юмору, большое значение. Бедствовал, однако — пишет он в “Тропике Козерога”[3] — “никогда никому не завидовал... раз и навсегда запретил себе слишком чего-нибудь хотеть”. Всем, сколько мог, помогал, всех

© Александр Ливергант, 2015

1. Роман “Черная весна” цитируется в переводе М. Салганик.
2. Роман “Тропик Рака” цитируется в переводе Г. Егорова.
3. Роман “Тропик Козерога” цитируется в переводе И. Заславской.

жалел, а между тем сам, как никто, нуждался в помощи и жалости. И при этом никогда не терял присутствия духа: "Вместо немочи и бесплотных призраков нам нужны сильные руки с мясом на костях". А если и терял, то виду не подавал.

И это говорит писатель, большую часть жизни проживший литературным изгоем. Писатель, чьи книги десятилетиями не печатались, были запрещены и в Америке, и в Европе. Единичные экземпляры "Тропика Рака", романа, как и набоковская "Лолита", ставшего для поборников нравственности олицетворением непристойности, нарушения моральных табу и от этого — запретный плод! — тем более востребованного, провозились на свой страх и риск энтузиастами и барышниками под подкладкой чемоданов и автора не обогатили и не прославили. До славы, да и то довольно сомнительной, со скандальным оттенком Миллер дожил лишь под занавес своей долгой жизни: в 1962 году (Миллеру за семьдесят) клеймо непристойности после длительной тяжбы было наконец судом снято. И лишь теперь стало ясно, что без откровенной, исповедальной прозы Миллера не было бы ни "Голого завтрака" Уильяма Берроуза, ни "Жалоб Портного" Филиппа Рота, ни "На дороге" Джека Керуака.

Миллер считал слова "искусство", "литература" оскорбительными, писал парижскому приятелю: "Каждой строчкой, которую я пишу, я убиваю в себе художника. Каждой строчкой я совершаю либо убийство, либо самоубийство". Про любовное письмо героя одного своего рассказа он презрительно заметил: "Все это, по-моему, отдавало литературой". Писательское дело находил ничтожным: "Времяпрепровождение в сортире стоит больше, чем тысяча Вергилиев". Всем объяснял, что пишет жизнь, а не литературу, и не чью-то жизнь, а свою собственную. И, тем не менее, признавался: "Меня занимает не реальность, а то, что в моем воображении... Я всегда мечтал вовсе даже не жить, а выразить себя". Причем выразить себя не так, как выражали до сих пор, отталкиваться не от традиции ("есть что-то непристойное в этом почитании прошлого"), а от себя самого, "полномочного представителя царства свободного духа". Миллер называл это "сотрудничеством с самим собой". Стремился, как любой авангардист, "отойти от золотого стандарта литературы". Ценил, говоря словами Мандельштама, "в ремесле словесном... дикое мясо... сумасшедший нарост". Так родился типично миллеровский свободный жанр, который и Миллер, и его критики будут сравнивать с потоком. Миллер назовет свой спонтанный метод "потоком человеческой жизни", "чувством принадлежности живому потоку бытия". А русский критик-эмигрант Георгий Адамович — "бесконечным,

непрерывным потоком воспоминаний, замечаний, мыслей, сцен, образов". Потоком, в ассоциативном монтаже которого бесследно растворяются и композиция, и сюжет, и характеры, и стиль. Автобиографией этот неудержимый поток сознания, это "путешествие внутрь себя" можно, однако, назвать лишь с большой натяжкой. Проследить жизненный и творческий путь Миллера по "Тропику Рака", "Черной весне", "Тропику Козерога", хотя в них и запечатлены события его жизни, довольно рискованно: путешествие это всегда приправлено вымыслом, необузданной авторской фантазией, философскими и лирическими отступлениями: "Запишу все, что придет мне в голову... что было опущено в других книгах".

Приправлено вымыслом, фантазией, а еще безоглядным самоутверждением, как сказали бы в советские времена, "крайним субъективизмом и волюнтаризмом". И, как всякий "волюнтарист", Миллер, описывая реальные события, теряет чувство реальности, уговаривает себя и читателя, что ему все доступно, что он все может. И не станет с читателем считаться, под него подлаживаться: "Не хочу приглаживать свои мысли или свои поступки". Причем все может не в благополучные, "вегетарианские", как говорила Ахматова, времена, а в преддверии хаоса, мировой катастрофы, словно придающей ему сил и в то же время ему будто бы безразличной: "Плевать, валится ли мир к свиньям собачьим или нет". Тема "чем хуже, тем лучше" в книгах Миллера вообще одна из самых внятных, заметных: "Я ослеплен величественным концом мира!" — восклицает он в "Черной весне". "Несчастье, тоска, грусть... производят на меня бодрящее впечатление" ("Тропик Рака"). И даже облегчение: "Вдохновленный пониманием всей безнадежности человеческого существования, я почувствовал облегчение, точно с меня свалилось огромное бремя".

"Бодрящее впечатление" производит на Миллера и все аморальное, порочное, грязное: "Искусство в том и состоит, чтобы не помнить о приличиях". Если Флобер сравнивал себя с улиткой, которая прячется от грязи мира в своей раковине, то Миллер, напротив, пытается доказать, что, изображая порок, он от него очищается. "Я потому так много внимания уделяю аморальному, порочному, — пишет он Джонатану Коттту, — чтобы вы знали, что и в этом есть ценность. Мне нужно было очистить свой организм от яда". Порок, катастрофичность истории, мировой хаос становятся для Миллера чем-то вроде творческого вдохновения, побудительного мотива: "Я лихорадочно пишу мою книгу с предощущением конца".

И это предощущение конца для него — постоянный источник не трагического восприятия мира, а оптимизма, времена-

ми, как и всё у Миллера, преувеличенного, надрывного: “Я не умею расстраиваться, — заявляет он с вызовом. — Мне глубоко наплевать и на мое прошлое, и на мое будущее”. “Как прекрасно, что весь мир болен”. Оптимизм, по Миллеру, — лучшее средство от болезней века, в том числе и своих собственных: “От всех бед одно средство: смех!”, “Улыбайся — и мир у твоих ног!”

Еще одно средство от жизненных неурядиц, и не менее эффективное, — тяга к свободе; свободу, причем свободу абсолютную, при которой только и возможно творческое озарение, автор обоих “Тропиков” не променяет ни на какие блага мира: “Я свободен, и это главное”. Свобода вкупе с одиночеством: “Я — свободный человек, и мне нужна моя свобода. Мне нужно быть одному. Художник всегда один, если он действительно художник”. И в другом месте еще более определенно: “Раса художников — вне человечества”. В общем, “ты царь, живи один”.

Противоречив Миллер не только как художник, но и как человек. Слыл добрым, отзывчивым, крайне независимым, к тому же почти никогда не унывающим (хотя оснований для уныния хватало), остроумным и очень влюбчивым. Любил людей, как и он сам, мечтательных, веселых, неунывающих, любопытных. Не похожих на других, не укладывающихся в рамки, не вписывающихся в привычный мир мещанских добродетелей. Любил, как и его кумир Уолт Уитмен, “большую дорогу”: улицу, забегаловки, поезда, ночлежки. Любил играть на пианино, писать акварели, играть в пинг-понг, заниматься любовью (“в секунде оргазма сосредоточен весь мир”), был, единодушно считается, непревзойденным мастером по этой части. И не только практиком любовных утех, но и теоретиком: считал, что если что и спасет наш агонизирующий мир, то только эрос.

В то же время был, говорят, вздорен, неуживчив (оборотная сторона независимости), непредсказуем, груб — и не только на словах (в книгах, не только в жизни, в выборе слов не церемонился), но и на деле. И далеко не всегда так уж весел и бодр, как тщился представить; как-то в сердцах проговорился: “Я всегда остаюсь с минусом”. Все принимал близко к сердцу, доводил до экстаза (его любимое слово), страдал от окружавшего его равнодушия, сетовал, что блуждает “в холодных стенах человеческого безразличия”.

Родственникам, друзьям, многочисленным женам и бесчетным подругам доверия не внушал. И читателям тоже: в своих книгах часто рисовался, притворялся, кокетничал, сам же себе противоречил, что нисколько его не смущало; “от любви до ненависти один шаг” — это сказано про Генри Миллера. Сегодня превозносит вершины духа, на которые — один во всем мире — вознесся; завтра объявит, что бездуховен: “Я

нашел Бога, но мне он не поможет. Мой дух мертв". Сегодня скажет, что счастье — его единственное состояние, завтра — что мир "выбросил меня, как стреляную гильзу", что находится в безнадежном тупике. (А послезавтра — что в безнадежном тупике чувствует себя "уютно и удобно".) В "Черной весне" проклинает Америку, а в "Тропике Рака" вдруг проникается к ней ностальгическим чувством: "Я хочу домой, к своим. Хочу, чтобы вокруг меня опять говорили по-английски". Не оставляет камня на камне от философского и культурного наследия человечества — и при этом образован, начитан, в философии, литературе, изобразительном искусстве разбирается как мало кто. В одном месте припомнит, что его мать любила пожаловаться на жизнь, в другом — объявит ее чуть ли не олицетворением жизнерадостности. "У меня есть мамаша, — читаем в эпиграфе к главе "Портняжная мастерская" ("Черная весна"). — Всегда жизнерадостна и весела". Или это шутка?

Его никак не назовешь злым, злопамятным, и в то же время Миллер по отзывам людей, его знавших, был крайне невоздержан, нетерпим. Такие слова, как бунт, бунтарь, вызов часто встретишь и в книгах самого Миллера, и в книгах о нем; "Одинокий бунтарь" назвал свое предисловие к одному из многочисленных вышедших в нашей стране сборников Миллера (в девяностые Миллером зачитывались) российский американист Алексей Зверев. Верно, Миллер бунтовал — и против устоявшихся ценностей человеческого общежития, и против литературных условностей; бунтовал в одиночку, союзники были ему, индивидуалисту и авангардисту, не нужны. Беспристрастным этого человека, бунтаря по натуре, никак не назовешь; не терпел многих и многого.

Родителей в первую очередь. Отец и мать, каждый по-своему, не устраивали его прежде всего тремя вещами. Закрытостью, неспособностью "сорвать, — как однажды выразился любящий метафоры Миллер, — двери с петель", "прыгнуть в неизвестное". Правильностью, тем, что они такие, как все: "Ни разу в жизни не совершили опрометчивого поступка". Сам-то Миллер, кажется, только опрометчивые поступки и совершал. А еще — ханжеством, обывательским двуличием: "Они были помешаны на чистоте и добродетели, а изнутри все провоняли". "Эти люди, — пишет про родителей Миллер, — ни разу не открыли дверцу своей души". Зато у их сына душа всегда была нараспашку, "путы наследственности", которые он всю жизнь стремился сбросить, его душу нисколько не отягощали.

Америку: "Хочется увидеть Америку до основания стертой с лица земли". "Я вижу, что Америка несет всем беду... она утянет с собой весь мир в бездонную пропасть". Америкой всегда пренеб-

регал: “Все американское выхлестывается струей”, в Америке всегда чувствовал себя чужим: “Я стал китайцем в собственной стране”. Нью-Йорк (но, отметим, не Бруклин), где он прожил столько лет, ничего, кроме раздражения у него не вызывает: “Когда я думаю об этом городе, где я родился и вырос, пламя дикой злобы облизывает мне кишки”. Единственный выход — о Нью-Йорке, об Америке не думать, “держать Америку в отдалении, на заднем плане, как открытку”. Увы, “держать в отдалении, как открытку”, не получается, Миллер для этого слишком эмоционален, нетерпим, да и привязчив. Обвиняет отечество, “это воплощение гибели”, в бездуховности: “Все американские улицы ведут к выгребной яме духа”. В шестидесятые годы эту не слишком патриотичную метафору с энтузиазмом подхватят сначала битники, а потом вожди молодежной контркультуры. Сам же Миллер позаимствовал ее у трансценденталистов девятнадцатого века — хотя так грубо Ралф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо, понятно, не выражались. Эмерсон и Торо, а следом Уолт Уитмен, выступали такими же, как и Миллер, ассенизаторами “выгребного духа” обезличенной Америки. Соединенные Штаты, надо признать, тоже Миллера не жаловали, полвека держали на голодном пайке, причем в самом что ни на есть прямом смысле слова.

Бога: “Никакое там святое сердце меня не вдохновляет”, — кощунствует он в “Черной весне”, описывая парижский “Сакре-Кёр”. — Я не думаю ни о каком Христе”. Ерничает: “Не могу себе представить, что это за царство небесное, о котором так мечтает все человечество”. “Сад земных наслаждений” видится Миллеру “тухлым воздухом, тиной, кувшинками, гниющей водой”. “Мне Бог нужен не больше, чем я Ему; если Ты действительно существуешь, мысленно обращался я к Нему, попадись мне только — подойду и плюну в рожу”. Этих плевков в книгах Миллера предостаточно: богоборцы Ницше и Вольтер, Ницше особенно, были его любимыми авторами. Вместе с тем божественное — очередной парадокс — Миллер видит... в безбожниках, таких, как и он сам: “Нигде нет больше Бога, чем в безбожной толпе”.

Разум: “Царство Идеи нынче задавлено разумом”. Что же противопоставляет Миллер разуму, логике? — “Мир неистовства, страстей, мечтаний, мир, где торжествует экстаз”. Миллер-писатель часто впадает в экстатическое состояние, его излюбленный прием — гипербола, любимый знак препинания — восклицательный. Он стремится ко всему, что ему непонятно; понятное, разумное, здравое, логичное он отторгает, испытывает тоску — опять же ницшеанскую — по иррациональному: “Не хочу быть благоразумным! Не хочу быть логичным!” Разум, логика, достоверность подавляются в его книгах эмоцией: “эмоциональную подлинность” разглядел в сюрреалистиче-

ском коллаже "Тропика Рака" Джордж Оруэлл. Эмоциональную подлинность, которая примиряет в книгах писателя грубый натурализм и высокую поэзию.

Жизнь: "Жизнь меня в принципе не устраивала, я считал ее бессмысленной". То есть ничего от нее не ждал. "Я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать, жить, как животное, как хищник, зверь, бродяга или разбойник", — замечает писатель в "Тропике Рака". Жить, как он однажды выразился, "вне человечества". И, в соответствии с этой логикой, — ни от кого, кроме самого себя, не зависеть, не чувствовать ни перед кем ответственности, не иметь ни забот, ни предубеждений, ни страстей. Эта философия, конечно же — на словах, не на деле: кем-кем, а буддийским монахом Генри Миллер не был, он однажды заметил, что в дзене его устраивает все, кроме монашеских обетов; имелись у него и заботы, и предубеждения, и страсти, да еще какие! Да и не всякую жизнь считал он бессмысленной. Чувство "бесконечной бессмыслицы" охватывало его, надо полагать, ничуть не чаще, чем любого другого. Но одно можно сказать определенно: Миллер ненавидел жизнь, весь смысл которой — в самосохранении, жизнь пресную, устоявшуюся, основанную на лжи, "на фундаменте из огромного зыбучего страха", жизнь с оглядкой, "про запас". Ту жизнь, иными словами, какой жили его родители. Отсюда и его желание существовать, как животное, как хищник, "всегда двигаться к нигде не обозначенному месту". И в литературе тоже; традиционные жанры и приемы без "дикого мяса" и "сумасшедшего нароста" были ему попросту неинтересны.

Столь же двойственно у Миллера и отношение к самому себе. С одной стороны: "И не было у меня злее врага, чем я сам". С другой: "Начинаю воображать себя одним-единственным в пространстве". То есть свободным, одиноким, не имеющим ни с кем ничего общего. "Все мои мысли об одном человеке, я уважаю его за то, что ничего у него нет общего с вами. Все мои мысли о себе" — таков завершающий аккорд и пафос "Черной весны". Да и всех книг Генри Миллера. А лучше сказать — не книг, а *книги*, ведь писал он, в сущности, всегда только одну книгу. О себе.

Ч*асть* I. Б*руклин*

Г*лава первая.* "М*иллер и сын*"

Генрих Миллер, дед Генри Миллера по отцу, выходец из Германии, переплывший, как и многие его соотечественники, в середине позапрошлого века океан в поисках счастья в Но-

вом Свете, отличался тремя вещами. Во-первых, — беглым английским, чем никак не могли похвастаться остальные члены многочисленного миллеровского клана: в доме Миллеров говорили по-немецки, в том числе, естественно, и юный Генри, до школы изъяснявшийся исключительно на языке Гёте и Шиллера. Дед, однако, полиглотом не был, английский язык он выучил еще до приезда в Нью-Йорк: в свое время он лет десять шил костюмы в Лондоне, на Сэвил-Роу — в Мекке европейского портняжного дела. Во-вторых — восточными (откуда что берется!) чертами лица, в молодости его даже прозвали китайцем. И в-третьих — не свойственной портному мечтательностью, погруженностью в себя. "Бывало, отпаривает он шов на пальто, — будет вспоминать много лет спустя его внук, — обопрется на горячий утюг обеими руками, а сам задумчиво глядит в окно..."

Его сын, уже не Генрих, а Генри, Генри-старший, позаимствовал у отца эту черту: также отличался мечтательностью, сентиментальностью. На работе, в своей пошивочной мастерской, прямо скажем, не горел. Зато был кроток, приветлив, общителен, умел — большая редкость! — одинаково хорошо и слушать, и рассказывать, чем завоевал любовь сына, своего тезки. Лишь много позже, в конце тридцатых, в "Тропике Козерога", Миллер разглядит в веселом, покладистом отце то, что не бросалось в глаза в детстве. "Всю жизнь, — читаем в романе, — он был весел, общителен; душа компании. Отпустил себе симпатичное брюшко, щеки его были круглы и красны, как свекла, манеры — ленивы и раскованны. Но под гладкой внешностью скрывалась гнилая сердцевина".

Добился и расположения бруклинского, в основном немецкоязычного, "профессионального сообщества". Таких же, как и он, портных, жестянщиков, галантерейщиков, кожевников, сапожников. И выпить любил, как сапожник; "заваливался" в бар по соседству и за кружкой пива распевал хором песни — немецкие, натурально. Случалось, пивом дело не ограничивалось: употреблял с друзьями, которых частенько зазывал к себе, и шнапс, и виски, первую рюмку "для аппетита" пропускал с самого утра, особенно в дни, когда отправлялся на рыбалку — любимое занятие папаши Миллера, "портного для истинных джентльменов", как значилось на дверях его мастерской. Питейные заведения посещал исправно, а вот в театре не был ни разу в жизни, да и к чтению был равнодушен, сын не помнит, чтобы отец читал что-нибудь, кроме газеты, — разве что ему, сыну, вслух. С возрастом из любителя выпить превратился в пьяницу, бывало, сам, без посторонней помощи, не мог дойти до дома, и Генри, к тому времени подросший, тащил, проклиная все на

свете, отца на себе, и вспоминал потом: "Отец напился до скотского состояния". Проклинал, но жалел, писал лет сорок спустя: "Какой у меня несчастный, отчаявшийся отец!" Пил Миллер-старший тем больше, чем хуже шли дела. Друзья не считали это недостатком; "люди слабые и восхитительные", они души в нем не чаяли. Еще бы: щедр, хлебосолен, если надо, всегда выручит десяткой. Выслушает, даст совет, подбодрит в трудную минуту.

Друзья — но не супруга, в девичестве Луиза-Мари Нитинг. Ничего, кроме постоянного раздражения, муж, даром что душа общества, у нее не вызывал, домашние скандалы следовали один за другим; когда Генри вырос, он даже придумал название для романа из домашней жизни — "Дом кровосмешения", это название позаимствовала потом у него его парижская подруга, писательница и психоаналитик Анаис Нин. Жена во всем была антиподом мужа; если что мистера и миссис Миллер объединяло, то, пожалуй, лишь неистребимая нелюбовь к иудеям. Генри-старший к людям тянулся, Луиза-Мари, за немногими исключениями, людей сторонилась. Папаша Генри, случалось, хандрил, бывал, как писал впоследствии сын, "в черном настроении". И тогда, нахлобучив шляпу, отправлялся посреди рабочего дня "пропустить стаканчик". Однако большей частью был весел, жизнерадостен; хорошее настроение, впрочем, возлиянию не препятствовало. Его супруга же, напротив, постоянно охала, ныла, жаловалась на жизнь. Миллер-старший был человеком бесшабашным и бесхарактерным, Луиза-Мари — с характером, и еще каким! Деловая, хозяйственная, любила чистоту, порядок (одно слово — немка), терпеть не могла малейших отклонений от ею же раз и навсегда установленного домашнего распорядка. Норман Мейлер, большой поклонник Миллера, автор колоритного очерка о нем, склонен Луизу-Мари демонизировать, изображает ее "семейным юнкером", эдакой фурией — злопамятной, своенравной, с садистическими наклонностями. Как бы то ни было, именно она, волевая, угрюмая, нетерпимая, а не ее беспечный и добродушный муж, была хозяйкой в большой миллеровской семье. Это благодаря ей в доме всегда царил безупречный Ordnung[1]. В материнском хозяйстве, не без раздражения вспоминал Миллер, не бывало немытой посуды, нестираного белья, грязного пола, даже валявшейся на полу смятой газеты. Была Луиза-Мари вдобавок и "распорядительницей кредитов"; впоследствии Миллер шутил про свою семью: "Совместное предприятие, отец и сын, деньги в руках у матери". Ее кроткий муж впадал в прострацию либо в бешенство, если не сходились счета или приходилось выбивать

1. Порядок (*нем.*).

деньги из нерадивых клиентов; со временем, когда отец состарится и вконец опустится, эту роль возьмет на себя сын.

Дом в Четырнадцатом квартале Бруклина делили три поколения Миллеров-Нитингов. Старшее: свекор Луизы-Мари и тесть Генри; дед по отцу и дед по матери долгие годы жили под одной крышей, между собой почти не соприкасаясь — возможно потому, что тесть котировался не в пример выше свекра: одно дело портной, пусть и с лондонской выучкой, и совсем другое — бывший моряк. Среднее: родители писателя — Луиза-Мари и Генри-старший. И младшее: старший сын Генри Валентайн, будущий писатель, и его младшая сестра Лоретта-Анна, родившаяся на четыре года позже Генри.

Домов, собственно, было два: любимый и нелюбимый. Первый, трехэтажный, из красного кирпича, смотрелся куда уютнее второго: в садике, пусть и маленьком, росли сирень и хризантемы, из окна второго этажа видна была фабрика по переработке олова, где регулярно возникал пожар. И тогда по улице неслись запряженные лошадьми пожарные машины, из фабричных окон рвался огонь, валил дым, выла сирена — зрелище для восьмилетнего мальчишки незабываемое. В просторной гостиной с мягкой мебелью и разноцветными салфетками на спинках стульев развешены были гравюры и фотографии — в основном родня матери. На одной запечатлен трехлетний ангелочек: пепельные локоны, белое платьице, стоит в обнимку со своей лошадкой Декстером, взгляд у будущего автора "Тропика Рака" почему-то испуганный, даже затравленный. А еще запомнился Генри, который досыта ел только в детстве, идущий из кухни тяжелый запах сытной немецкой еды: пышных клецок с густым соусом, тушеных фрикаделек из ливера, жирных окороков и многослойных, сочащихся заварным кремом тортов. Поесть в доме любили, поесть и выпить; за стол, бывало, садилось человек двадцать — домочадцев, родственников, знакомых. Пиво и рейнское лились рекой.

Главное преимущество дома номер один было, однако, не в сирени, фотографиях и клецках, а в том, что — напишет Миллер в "Тропике Козерога" — "находился он на самой заманчивой улице в моей жизни". Улица "идеально подходила всем: мальчишке, любовнику, маньяку, пьянице, мошеннику, развратнику, убийце, астроному, поэту, музыканту, портному, сапожнику, политику. Да, такая вот улица, где было всякой твари по паре, и каждый — мир в себе, и все жили в полной гармонии и дисгармонии". К тому же, что немаловажно, — поблизости от Ист-Ривер. Новый же дом в Бушуике, на Декатер-стрит, куда Миллеры переехали зимой 1900 года (Генри девять лет), располагался гораздо дальше от реки, от доков и, самое обидное, —

от тайной мечты сына портного стать вовсе не портным, а речным лоцманом. Мечты, которую родители не разделяли. Из окон дома номер два открывался довольно унылый городской пейзаж, который лет сорок спустя Миллер опишет так: "Ни тепла, ни уюта, ни плотности, ни прозрачности, ни числителя, ни знаменателя. Это как читать вечернюю газету глухонемому". Были, правда, свои плюсы и у этой "вечерней газеты". Во-первых, располагался дом номер два в гораздо более престижном районе Бруклина, вдали от нищих эмигрантов, евреев, ирландцев и итальянцев, валом валивших в эти годы в Америку и селившихся, если оказывались в Нью-Йорке, по преимуществу в Уильямсберге. Солидные немцы Миллеры отличались "собственной гордостью", и соседства с "безродными" эмигрантами сторонились, оно их никак не устраивало. Во-вторых, отсутствие реки отчасти компенсировалось проходившей поблизости железной дорогой — что может сравниться для подростка с выпускающим пары, шипящим, медленно набирающим скорость паровозом? И в-третьих, по длинной Декатер-стрит, по обеим сторонам которой протянулась нескончаемая вереница прилепившихся друг к другу одинаковых домов, по выходным дням дефилировал немецкий уличный оркестр. Усатые итальянцы с беззаботной южной улыбкой играли на аккордеоне, цыгане показывали фокусы, гадалки с говорящими попугаями на плече предсказывали будущее — как правило, радужное.

Настоящее же было не столь радужным. Садисткой и фурией Луизу-Мари, может, и не назовешь, но сыну от нее доставалось за двоих. Он впоследствии мрачно пошутит: "Железное лютеранское сердце не знает смысла слова 'прощать'". За двоих потому, что Лоретта-Анна родилась, как теперь бы политкорректно выразились, с задержкой развития, и с нее, что называется, взятки были гладки. В семь лет девочка, которую соседская детвора именовала не иначе как "полоумной Лореттой" или же просто "чокнутой", с трудом говорила и не умела даже считать, не то что читать и писать. Доставалось, впрочем, и Лоретте: о том, чтобы отправить девочку в школу, не могло быть и речи, мать взялась учить ее сама и часто срывалась. В "Тропике Козерога" писатель вспомнит, как мать с упорством, достойным лучшего применения, вколачивала в дочь арифметику. "'Сколько будет два плюс два?' — 'Пять!' Мать лупит ее линейкой". Срывался на Лоретту и отец: умственно отсталая дочь, ничего удивительного, действовала ему на расшатанные нелегкой жизнью и алкоголем нервы. Вообще, срывались все на всех, особенно усердствовала невоздержанная Луиза-Мари, и тогда туго приходилось всем ее домочадцам без исключения.

Генри — в первую очередь. Отец, правда, старался, как мог, баловать сына. Читал ему перед сном или когда тот болел — мальчик с детства страдал сильной близорукостью, у него воспалялись глаза, приходилось даже носить темные очки. Рассказывал увлекательные истории, показывал картинки в волшебном фонаре, подарил коня-качалку (того самого Декстера), а когда Генри немного подрос, приохотил к портняжному делу, чем, впрочем, большой радости сыну не доставил. Мать же, по большей части, читала Генри не сказки, а нотации, делала замечания ("не чавкай", "не вертись"), раздавала бесконечные поручения. И в магазин сбегай, и отцу помоги, и окна вымой: подобный ритуал имел место каждую субботу. Только и слышалось: "надо", "нельзя", не вздумай". "И не вздумай впредь отказываться от подарков, которые на Рождество раздают в твоем детском саду!" Дело в том, что один раз по доброте душевной Генри от рождественских даров отказался — он же, дескать, все равно получит подарки через два дня, в свой день рождения. Отказался — и за это заработал от матери сильный нагоняй.

Да, с сыном Луиза-Мари была строга. Строга и далеко не всегда справедлива: заставляла работать по дому, а знакомых уверяла, что Генри "хлебом не корми, дай помочь своей мамочке". О том, что такое материнское тепло, Генри даже не догадывался, в "Моей жизни и в моем времени" он напишет, что не припоминает, чтобы мать хотя бы раз его обняла, приласкала. Угодить ей было трудно, но иногда удавалось — мужу, кстати, гораздо реже, чем сыну: Генри-старшего она не жаловала, а лучше сказать, в грош не ставила. "Какой у меня несчастный, отчаявшийся отец!" — с горечью вспоминал писатель, хотя, когда отец пил, неизменно брал сторону матери — сказывался ее непререкаемый семейный авторитет.

Отдадим, однако, Луизе-Мари должное: Генри ей многим обязан. Начать с того, что она на всю жизнь приучила своего довольно беспутного сына к порядку; уже упоминавшаяся Анаис Нин вспоминала, что Миллер, несмотря на свое самодурство, богемные привычки, "ведет хозяйство, как голландская экономка". Кроме того, свои материнские обязательства Луиза-Мари выполняла неукоснительно. Водила сына в детский сад, отправила учиться в воскресную школу, заботилась о том, чтобы Генри был накормлен, хорошо (и даже модно) одет: бархатный итонский пиджачок, вязаная белая шапочка с помпоном. Исправно давала деньги на карманные расходы — при условии, естественно, что все поручения по дому выполнены в срок. Целенаправленно занималась его "культурным развитием". Водила в театр, сыну полюбился находившийся неподалеку от дома (дома номер один) "Новелти-тиэтр", где они с мате-

рью пересмотрели весь репертуар. Любимых спектаклей было два: "Хижина дяди Тома" и "Путь на Восток" ("Way down East"). "Новелти-тиэтр" довольно скоро уступил место театру Корса Пейтона, на смену сценической версии душещипательного бестселлера Гарриет Бичер-Стоу пришли леденящие трепетную мальчишескую душу триллеры. Вместо партера повзрослевший Генри карабкался теперь на галерку, а вместо Луизы-Мари юного театрала сопровождали двоюродные братья, охочие, как и он, до зрелищ, от которых стынет кровь. Обнаружив у сына слух, мать решила, что он должен учиться играть на пианино, каковое и было незамедлительно куплено. Овчинка стоила выделки: не прошло и нескольких лет, а Генри уже давал уроки игры на фортепьяно за двадцать пять центов в час. Приохотила к чтению — читать Генри выучился рано и вскоре уже сам читал вслух деду Генриху, который с удовольствием слушал внука за кройкой и шитьем. Под нажимом жены Генри-старший приобрел у другого портного, англичанина Исаака Уокера, целый шкаф детских книжек, среди которых были и сказки братьев Гримм, и Андерсен, и "Тысяча и одна ночь", и "Алиса в Стране чудес", и "Робинзон Крузо", и приключенческие романы Райдера Хаггарда. Сказки и приключенческие романы Генри читал не без удовольствия, однако, как мальчику и положено, предпочтение отдавал истории; "История Англии для подростков" Эллиса и популярнейшая в Америке мистификация Вашингтона Ирвинга "История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии", якобы написанная неким Дидрихом Никербокером, зачитывались до дыр. Когда Генри подрос, миссис Миллер следила (безуспешно) за его успеваемостью и — столь же безуспешно — за нравственностью. Любила похвастаться подругам, как сын ее любит, что было, пожалуй, некоторым преувеличением.

Сын же с детства предпочитал дому улицу. Любовь к свободному — без обязательств, — бродячему, уличному существованию сохранится у него на всю жизнь. "На улице познаешь, что представляют собой люди на самом деле, — напишет он в "Черной весне". — Что не с улицы, то лживо, заимствовано... Все, что со мной происходило, я брал с собой с улицы". Помните Гавроша? "Ты куда?" — "На улицу". "Ты откуда?" — "С улицы". Так и Генри.

Глава вторая. Бруклинский *мальчик, или* "Сын *портного – интеллектуал*"

Миллера, как мы уже знаем, патриотом Америки никак не назовешь. Но вот патриотом Бруклина можно назвать с пол-

ным основанием — "бруклинским мальчиком" или "патриотом Четырнадцатого квартала Бруклина", как он сам себя представлял.

Мир за пределами дома (что первого, что второго) был не в пример ярче, разнообразней, заманчивей, чем сам дом. Куда более многообещающим, но и более рискованным, непредсказуемым. Неизведанным. Это был мир, как сегодня бы сказали, "открытых возможностей". Одно плохо: этот мир, в отличие от мира домашнего, привычного, еще предстояло завоевать, проявить себя в нем, заявить о себе. Овладеть непростым искусством — быть одновременно и таким, и не таким, как все. Открытых возможностей было сколько угодно, но пойди ими воспользуйся!

На первых порах Генри Миллер из среды сверстников особо не выделялся. Охотно и умело играл "в классы", в "домики", в чехарду. Позже — "в войну", в "пиратов", в "полицейских и разбойников", причем в роли пиратов и разбойников будущий бунтарь выглядел увереннее, чем в роли полицейских. Летом вместе со сверстниками без устали носился по улицам, лихо перемахивал через заборы, прятался во дворах, жег костры на пустырях, кидался камнями. Зимой — с той же сноровкой и азартом — кидался снежками и съезжал с горки на санках, ухитряясь не врезаться в забор и не выкатиться под колеса проезжавших автомобилей и трамваев. С возрастом увлечение снежками и игрой в пиратов проходит, и приходится овладевать наукой более сложной. Следуя примеру мальчиков повзрослее (ах, как же хочется поскорее повзрослеть!), он часами бродит по улицам без всякого дела, стоит, "подпирая" фонарный столб, на который пару лет назад лихо взбирался, и тупо, с деланым безразличием, как и все, пялится на проходящих девочек, которые не обращают на него решительно никакого внимания.

Постепенно география его "деловой" активности расширяется: Генри — а ведь ему всего девять — самостоятельно ездит к своим кузенам в Глен-Айленд и в Шипсхэд-Бэй, за тридевять земель от Декатер-стрит. На контурную карту его хаотичных бруклинских маршрутов наносятся все новые и новые обозначения: булочная Рейнолдса, аптека Восслера, рыбный рынок Дэли. А позже — пивные Пэта Маккаррена и Пола Керла, где дед, тот, что моряк, а не портной, пьет пиво и слушает зажигательные речи социалистов; увлекся социализмом, правда ненадолго, и внук. Главная же точка на бруклинской карте — Ист-Ривер, с паромами, судостроительными верфями и груженными товаром подводами, где у мальчика (ему уже двенадцать) в свое время зародилась несбыточная

мечта — стать, вопреки воле родителей и семейному укладу, речным лоцманом.

Расширяется и ареал чтения. Приятель постарше пересказывает ему "Парижские тайны" Эжена Сю, появляются новые фавориты: "Айвенго" Вальтера Скотта, "Сказание о Старом Мореходе" Кольриджа, Джек Лондон. Новый друг, Стэнли Боровски, дает ему читать Анатоля Франса, Джозефа Конрада, Пьера Луиса и Бальзака; больше всех нравится Конрад, меньше всех — Франс: заумен, слишком язвителен. Дома книг мало, и Генри записывается в Бруклинскую публичную библиотеку. Родители покупают юному книгочею многотомное собрание "Гарвардских классиков" — американский аналог нашей "БВЛ" вековой давности.

Но теперь появляется "магнит и попритягательней", чем чтение. И не один. Во-первых, в бруклинском "Бродвей-тиэтр" в "Джентльмене из Миссисипи" заглавную роль играет "сам" Дуглас Фэрбенкс. Во-вторых, на свете наберется немало развлечений и помимо театра, например, спорт: бокс, борьба, велосипедные гонки. Достать билеты на эти соревнования бывает не просто, но постоять в очереди есть ради чего. Имеются также отличные мюзик-холлы вроде Уэбстер-холла или "Аркадии" на Брайтон-Бич и в Кони-Айленд. Хочешь — пьешь дешевое итальянское вино, а хочешь — танцуешь тустеп. А не желаешь танцевать, можешь в пивной "Олд Трайенгл Хофбрау" бренчать на пианино (что Миллер и делает) и распевать с друзьями любовные песни, вроде "И кто ж ее теперь целует?" или "С тобой увижусь в царстве грез" с духоподъемным, многократно повторяемым припевом "Так будь же ты весел и бодр!"

Этот припев Миллер возьмет на вооружение, он и впредь, даже в самые тяжелые времена, будет, несмотря на все неурядицы и лишения, "весел и бодр". В школьные же годы он не только весел и бодр, но и неуправляем. На успеваемости, правда, его проказы не сказываются. И в начальной, и в средней школе "Маккэддин-холл", находившейся неподалеку от дома номер один, в эмигрантском районе, учится Миллер отменно, едва ли не лучше всех в классе, где абсолютное большинство учеников — евреи и итальянцы. А вот ведет себя, прямо скажем, не безупречно. Валяет дурака, хулиганит, хамит учителям, считает (и будет считать впредь), что ему "все позволено". Учителю французского заявил, например, что тот — клоун, дома же под угрозой скорой и неминуемой расправы отговорился, что учитель его неправильно понял, он имел в виду, что сам хочет стать клоуном.

Не любят его не только учителя, но и соученики: репутация у него неважная — всезнайка, зануда, хвастун, самодур

(уже тогда), вечно лезет на рожон. А вот в школьных обществах, таких, как "Глубокомыслящие" ("Deep Thinkers") или "Общество Ксеркса", зарекомендовал себя неплохо: законопослушен, исполнителен — в клубной жизни материнская выучка себя оказывает. Да и идеология "Глубокомыслящих" — "Всё тлен и суета" — вполне соответствует его тогдашнему, да и всегдашнему, умонастроению.

Средняя школа закончена, и Миллер на распутье: идти работать или учиться? Как говорится, "оба хуже": ничего для себя ни приятного, ни полезного что в учебе, что в работе он не видит. Впрочем, без знаний еще прожить можно, а вот без долларов вряд ли. Он, впрочем, знаниями не пренебрегает, запросы у сына портного нешуточные: если уж идти учиться, то в Йель, в крайнем случае — в Корнелл, куда стипендию получить легче. Денег на престижные университеты Лиги плюща у родителей нет, и кончается все довольно заурядным бруклинским Сити-колледжем, где Генри проучится всего-то два месяца, больше не выдержит. И пойдет работать — но не к отцу, открывшему в 1908 году собственную мастерскую, а в цементную компанию "Атлас Портленд" на Манхеттене за 25 долларов в месяц — целое состояние! С утра до вечера будет сидеть в конторе в нарукавниках, скрипеть пером, писать столбиком цифры, считать на счетах — и клясть судьбу.

"Атлас Портленд" плох всем, но самообразованию контора не препятствовала, времени на чтение хоть отбавляй. И на закаливание: в это время клерк цементной компании думает не только о душе, но и о теле: ранним утром, до работы, ездит на велосипеде в Кони-Айленд и обратно, бегает, совершает длинные прогулки — как правило, в одиночестве. Душа все же важнее: его тянет в эзотерику: не складывается жизнь в этом мире — почему бы не заглянуть в мир потусторонний? На его столе рядом с давно и горячо любимыми, на всю жизнь заразившими его духом свободы Уитменом и Джеком Лондоном появляются такие книги, как "Эзотерический буддизм", "Тайная доктрина", другие теософские труды Елены Блаватской, создавшей лет за тридцать до того нью-йоркское теософское общество. Ведет дневник, который без ложной скромности называет "Сын портного — интеллектуал" ("The Intellectual Tailor's Son"); нескромно, но, в общем, справедливо. Читает Ницше, особенно ему полюбился "Антихрист", и даже подумывает написать о немецком философе эссе. Новый приятель Генри, будущий юрист Уильям Дьюер, вводит его в теософское общество, знакомит с известным теософом и изобретателем Робертом Гамильтоном Челлакомом. Миллер увлекается психологией, телепатией, гипнозом, внуше-

нием, вникает в новые для него понятия, мучительно вдумывается в смысл таких замысловатых словосочетаний, как "внутренняя динамика", "позитивное мышление", "духовная энергия". Ходит на лекции переквалифицировавшегося из евангелистов в парапсихологи Бенджамена Фея Миллза. Слушает про "Божественное внутри нас", про "Переселение ментальных сил". Основная мысль Миллза, Челлакома и других мудрецов и провидцев Миллеру близка: "Никого не слушай — только свой внутренний голос", раскрепостись.

Раскрепощается, прислушивается к внутреннему голосу — и неожиданно для самого себя оказывается в Калифорнии, ведь теософы и парапсихологи твердят в один голос: Восточное побережье с его прагматизмом, накопительством — тупик, двигайся на Запад, только там ты обретешь "внутреннюю свободу". Если свободу он и обрел, то разве что внутреннюю, с "внешней" хуже: живет в ночлежке или вовсе под открытым небом, страдает лихорадкой, с утра до ночи под раскаленным калифорнийским солнцем пасет скот возле Сан-Педро, собирает лимоны в Отейе, возле Чула-Виста, что обретению "позитивного мышления" не способствует. Его калифорнийские университеты — это самообразование и по субботам — бордели в Сан-Диего; и то и другое помогает переносить "свинцовые мерзости" жизни, примиряет с действительностью. Главное же — помогает доказать самому себе, что ты — настоящий мужчина. "По десять часов в день бегаешь под палящим солнцем от одного костра к другому, и мухи кусаются, как сумасшедшие, — вспоминает это время Миллер в рассказе "Дьеп — Ньюхейвен". — А все затем, чтобы доказать самому себе, что ты способен взять жизнь за глотку".

К Ницше, Джеку Лондону (вслед за своим любимым писателем Миллер одно время подумывал даже "махнуть" на Аляску золотоискателем) добавились новые авторитеты. Анархистка и суфражистка Эмма Голдман, читавшая в Сан-Диего лекции о социальном значении современного театра, сподобила Генри изучить современную драму, прочесть Стриндберга, Ибсена, Горького, а также Кропоткина и Бакунина, самых видных теоретиков анархизма. А от Бакунина всего шаг до Макса Штирнера, внушившего Миллеру, причем на всю жизнь, веру в отрицание всякой морали, в произвол индивида, который должен, по Штирнеру, добиваться не свободы масс, а своей собственной. Спустя много лет, уже в Париже, Миллер говорил, что встреча с Эммой Голдман самая важная в его жизни: "Она открыла мне целый мир европейской культуры, определила мой дальнейший путь, благодаря ей в моей жизни появился новый стимул".

За без малого десять месяцев, прожитых в Калифорнии, Миллер приходит к неутешительному выводу: в Бруклине, как выясняется, было не так уж плохо, да и портняжное дело — не самое в жизни обременительное. И под предлогом тяжелой болезни матери (Луиза-Мари, слава Богу, здорова и благополучна) освобождается от обязательств и в конце 1913 года, на свой день рождения, возвращается в Нью-Йорк.

И живет, как и раньше, двойной жизнью. Работает в отцовской мастерской, где пишет, причем не от руки, а на машинке, письма клиентам-должникам, с которыми особо не церемонится, хотя отец (и даже мать) просят изъясняться повежливее. А также рекламирует продукцию отца: ходит по близлежащим конторам и демонстрирует — нередко на себе — ловко скроенные жилеты, пиджаки, брюки. Среди клиентов "Миллера и сына", к слову, известный английский писатель, журналист и издатель, близкий друг Шоу и Уайльда, Фрэнк Харрис, у которого с Миллером схожая литературная судьба. Скандальные мемуары Харриса "Моя жизнь и мои увлечения" так же, как и "Тропик Рака", несколько десятков лет пролежат под спудом в ожидании своего часа. Одной отцовской мастерской для прожиточного минимума, однако, маловато, приходится подрабатывать: моет лестницы в трехэтажном доме неподалеку, а по вечерам ходит на четырехлетние педагогические курсы в "Сэведж скул оф армз" — портной и уборщик хочет стать школьным учителем. И, одновременно с этим, не забывает, что он не только сын портного, но и интеллектуал — назвал же он свой дневник "Сын портного — интеллектуал". Миллер — завсегдатай "Кафе Ройяль" на Второй авеню, где бывают известные писатели, поэты, журналисты, композиторы. Регулярно бывает в "Культурном центре" на Генри-стрит. А также на лекциях в солидной "Рэнд-скул", где, как рассказывает биограф Миллера Джей Мартин, Генри однажды вдруг вскочил со своего места и разразился длинным, зажигательным монологом. И не на тему лекции, а о том, что интересовало исключительно его — об Эмерсоне и недавно прочитанном и полюбившемся Кнуте Гамсуне. Монолог произвел на присутствовавших столь неожиданное и сильное впечатление, что Миллер тут же получил приглашение возглавить литературное общество. Побывал (и не раз) на Арсенальной выставке современного искусства, где — впервые в Америке — были выставлены Сезанн, Матисс, Пикассо; особенно Миллеру приглянулся Марсель Дюшан. Читает русских классиков, тогда-то и открывает для себя Достоевского. Русские писатели его умиротворяют, а вот американская жизнь — постоянный источник раздражения и безысходного отчаяния. Об этом он и пишет калифорнийскому поэту Чарльзу Киллеру:

Сказать по правде, ситуация в Америке вызывает у меня с каждым днем все большее отвращение и отчаяние. Очень может быть, я не знаю жизни, живу в своем тесном мирке, ведь я всего-навсего портной, но из того, что я вижу вокруг, у меня складывается определенное впечатление о людях, которые меня окружают, и должен со всей ответственностью сказать, что люди эти вызывают у меня лютую ненависть. Их исключительная глупость станет их концом. Я более не склонен, как несколько лет назад, обвинять во всех смертных грехах капиталистов и политиков. Сейчас меня угнетает совсем другое. Сегодня отсутствует материал, из которого делаются настоящие люди. Каким бы я ни был материалистом, я не настолько глуп, чтобы считать, будто во всем виновата система. Сегодня это было бы равносильно тому, чтобы вслед за верующими бездумно повторять: "На все воля Божья". И знаете что, а вернее, кто примиряет меня с действительностью? Русские писатели. В их книгах дает себя знать беспощадная реальность, которая меня умиротворяет...

Я ведь и сам хочу стать писателем и задаюсь мучительным вопросом: есть ли мне что сказать миру? Откровенно говоря, мне не верится, что я способен написать что-то стоящее, и, тем не менее, мне не по силам, сколько бы я ни старался, подавить в себе желание выразить свои мысли на бумаге. Я уже давно подумываю сочинить пьесу, но идеи в голове бродят столь причудливые, что пока сесть за нее побаиваюсь. Хуже художественного темперамента только одно — мысли.

Какие выводы напрашиваются после прочтения этого предельно откровенного письма? Их, собственно, всего два. Первый: Миллера не устраивает окружающая действительность. Второй: Миллер хочет писать и даже знает, что́ он напишет: "Однажды я напишу огромную, самую главную книгу, в которой будет отражено всё... вся моя жизнь". И первый вывод — залог успеха второго: если писатель доволен происходящим вокруг, какой же он писатель?

Миллеру уже (еще?) двадцать два, он много чего, особенно за последние пару лет, повидал и испытал. Но вот есть ли ему что сказать миру? Сказать своего, не заемного? В этом он пока не уверен.

Да ему пока не до этого. Ему бы сначала разобраться с тем, что принято называть "личной жизнью".

Глава третья. "Под сенью девушек в цвету"

Была у Миллера еще одна — и веская — причина отъезда в Калифорнию. Для объяснения этой причины следует, как реко-

мендуют французы, “искать женщину”. Чтобы заняться “поисками женщины” (лучше сказать — женщин), придется вернуться на несколько лет назад.

Сын властной, энергичной матери, юный Генри был до поры до времени с девушками робок и застенчив (для фрейдистов здесь нет парадокса) и на вершину сексуального Олимпа поднимался медленно, проторенной, так сказать, дорогой.

Началось все, как водится, с портретов писаных красоток на коробках леденцов и шоколадных конфет, а также с фотографий девушек легкого поведения, и тоже красоток, в криминальных отчетах “Полицейской газеты”. Чем девушки провинились, Генри взять в толк не мог, только чувствовал, что у него горят щеки.

Затем пришел черед кузины — заметный, хотя и не слишком существенный, этап в возмужании подрастающего полового гиганта. Лет девяти Миллер гостил у своих двоюродных братьев Джои и Тони Имхоф и, перед тем как лечь спать, поднялся вместе с ними в спальню к их старшей сестре. Они приблизились на цыпочках к кровати и стащили со спящей одеяло. Трудно сказать, что было бы дальше, но Минни проснулась, подняла истошный крик, и юные вуайёры вынуждены были с позором ретироваться.

Кузину в сексуальном воспитании автора “Тропика Рака” сменили красотки в кафешантане, они охотно демонстрировали ножки и нескромный вырез на платье и вовсе не были такими же недотрогами, как Минни; вдобавок, были они гораздо лучше сложены, веселы и нескромных взглядов нисколько не стеснялись. Что с ними делать, Генри, впрочем, мог лишь догадываться.

На смену кафешантанным красоткам пришла красотка школьная. Одноклассница, хорошенькая еврейка Франсес Глэнти, не дождавшись, когда робкий Генри за ней приударит, написала ему страстную любовную записку, дождалась, пока он ее прочтет, после чего на глазах у подруг нежно его поцеловала, чем лишь смутила и надолго лишила покоя.

Дальше дело пошло быстрее. Шестнадцати лет Генри заражается от местной шлюхи гонореей, и приходится срочно обращаться к помощи аптекаря, каковой сопровождал нехитрое, но кропотливое лечение лекциями о вреде случайных связей, которые (лекции — не связи), скажем сразу, впрок не пошли. По всей видимости, шестнадцатилетний развратник счел, что “оно того стоит”, и спустя год уже по собственному почину отправился во французский публичный дом близ театра “Геральд-Сквер-тиэтр”, вторично подхватил дурную болезнь, однако на

этот раз не только не расстроился, но еще и похвастался сослуживцам в цементной компании — какой, мол, я молодец.

"Грязная" любовь сменилась "чистой". Чистой и непорочной. В те же шестнадцать Генри влюбляется в обворожительную блондинку Кору Сиуорд: полные губы, большой, упрямый рот, розовые, как у девушек на коробках шоколадных конфет, щечки, фарфоровые голубые глаза. Само совершенство, "гений чистой красоты", как сказал поэт по другому поводу. В ее присутствии завсегдатай французских публичных домов каменел, немел, бубнил что-то несуразное. Друзья, злые мальчики, хватали его под микитки и подтаскивали к Коре, уговаривая не робеть и признаться ей в любви при свидетелях — на миру, дескать, и смерть красна. Кора заливисто смеялась, а он не мог от смущения и глубокого чувства даже рта раскрыть. Теперь он осознал, что "целовать следы ее ног" — не фигура речи; иных поцелуев он вообразить не мог. Весной 1909 года (Генри восемнадцать, он уже закончил школу) он, наконец, осмелился назначить Коре свидание. Пару раз повел ее в театр и на танцы, а когда она с родителями уехала на лето в Эсбьюри-Парк, писал ей длинные письма, на которые получал ответы вялые и односложные. Во время своих длинных и одиноких прогулок он мечтал о том, как они наконец встретятся — наедине, без посторонних глаз. И мечта сбылась: осенью, на вечеринке, Кора, как в свое время и Франсес Глэнти, нежданно проявила инициативу, отозвала его в пустую гостиную, дала себя обнять, поцеловать — но потом вдруг одумалась: вырвалась из его объятий и убежала. Много позже, по возвращении из Калифорнии, он ехал однажды с приятелем в трамвае, и на остановке вошла Кора — бледная, осунувшаяся, но такая же неотразимо красивая. Сообщила, что она замужем ("Он репортер, ты его не знаешь"), позвала зайти, посмотреть, как она живет, завела в спальню, обронила: "А здесь мы спим"...

Спать Миллеру было с кем. Недавно овдовевшая Полин Шуто, сын которой был всего на год моложе девятнадцатилетнего Генри, годилась ему в матери, и ей было чему научить юного, весьма дееспособного, но не слишком еще опытного любовника. Эта хорошо сложенная, крашеная блондинка средних лет, женщина не семи пядей во лбу, зато покладистая и очень сексуальная, знала толк в любви, умела угодить мужчине (и себя не обидеть), и это при том, что условия к занятию любовью располагали не слишком: в соседней комнате от чахотки умирал Джордж, ее сын...

У Полин был один, но существенный недостаток: она была необычайно ревнива, Миллера она ревновала не только к

женщинам, но и к любому занятию, в котором сама участия не принимала. Стоило Генри открыть перед сном книгу или подсесть к пианино, как она тотчас книгу отбирала, закрывала крышку инструмента и тушила свет: есть, мол, дела и поважней. В 1911 году в жизни Миллера произошел забавный казус. У отца в кои-то веки появились лишние деньги, и родители решили, пусть и с опозданием, все же отправить сына в Корнеллский университет. Перед отъездом в Итаку Генри зашел к Полин, у которой последние месяцы жил, проститься — и ни в какой Корнелл не поехал. Всю осень, не сказав родителям ни слова, прожил "инкогнито" у любимой женщины — академической науке предпочел "науку страсти нежной"

Однако спустя год нежная страсть поутихла: Полин забеременела, и все плюсы совместной жизни с немолодой, беременной подругой отошли в тень, минусы же выступили наружу. И Полин, которая интеллектом не блистала, но, как и почти всякая женщина, отличалась прозорливостью, почувствовала: Генри ею тяготится: "Я знаю, ты меня больше не любишь. Я для тебя слишком стара". Интуиция ее не подвела: именно так дело и обстояло.

Не помог даже сделанный на дому аборт. В Калифорнию Миллер едет не только за освобождением духа, но и плоти, что, впрочем, не мешает ему клятвенно обещать Полин: он вызовет ее к себе, как только найдет работу. Оба понимают, чего эти клятвы стоят. После возвращения из Сан-Диего Генри вновь некоторое время живет у Полин (кстати, это она вызволила его из калифорнийского плена, послав телеграмму о фиктивной болезни матери), но дни их любовной связи сочтены. Теперь он лишь ищет благовидный предлог, чтобы с ней порвать, и нисколько этого не скрывает.

И предлог себя ждать не заставил. Этим предлогом стала... музыка. В 1914—1915 году Миллер всерьез собирается стать солирующим пианистом — не всю же жизнь заниматься кройкой и шитьем или просиживать брюки в конторе. Ходит в Карнеги-холл, слушает музыку, много — больше, чем раньше, — играет сам и в октябре 1915 года на ловца и зверь бежит. "Зверем" оказывается молоденькая, хорошенькая (стройная, большие темные глаза, темные, вьющиеся волосы) пианистка Беатрис Силвас Уикенс. Беатрис согласна давать Генри уроки музыки, согласна с ним встречаться, ходить в кафе, в театры и на концерты — но решительно не согласна с ним спать. Воспитание несговорчивая девушка получила религиозное, а потому — сначала под венец, а уж потом в постель, за что впоследствии была названа Миллером "сучкой пуританской". Вот почему разговоры о браке возникают довольно рано, Генри ухаживает изо всех сил, ведет себя

приличней некуда, не забывает, как заправский жених, дарить при встрече цветы, к Полин же приходит все реже, тем более что дел у него в это время действительно невпроворот.

Весной 1917-го (Америка вступила в мировую войну), Миллер едет в Вашингтон, работает — правда, недолго — в отделе писем Министерства обороны и, по совместительству, репортером-стажером в "Вашингтон пост"; а по возвращении в Нью-Йорк, к неописуемой радости родителей, получает отсрочку от армии. Впоследствии, в "Тропике Козерога", напишет, что "к моей жизни война не имела никакого отношения", причем, добавим от себя, — не только Первая мировая, но и Вторая. А получив отсрочку, женится. Между прочим, Луиза-Мари, если верить сказанному в "Черной весне", "...хватала хлебный нож и набрасывалась на меня, едва я успевал выговорить слова: 'Хочу жениться'". В данном случае в хлебном ноже никакой надобности не возникло, радость родителей объяснима: Беатрис определенно была хорошей партией, Полин, напротив, — никуда не годной.

Родителям Миллера Беатрис пришлась по душе; родителям, но не Миллеру. Очень скоро выяснилось, что хорошенькая пианистка, блестяще исполнявшая Листа, Стравинского, Шёнберга, на поверку оказалась грубой, упрямой, ревнивой истеричкой. К тому же принадлежащей к той распространенной категории жен, что являются воспитателями собственных мужей. Не успел Генри жениться, как в матримониальном союзе ему открылись сплошные минусы (что, впрочем, не помешает ему сочетаться законным браком еще несколько раз), о чем он со временем и сообщит миру: ""Брак — это сплошное разочарование, точнее не скажешь". "Трех дней супружества более чем достаточно, чтобы у мужа раскрылись глаза". "Все ревнивые женщины получают удовольствие от жестокого обращения с теми, кого они любят". "Мужья пренебрегают своими женами даже в том случае, когда они по чистой случайности талантливы". Беатрис в этих невеселых умозаключениях вполне узнаваема: ревнива, жестока, талантлива. Она, действительно, что ни день пилит мужа, ругает его на чем свет стоит: он и хам, и дурак, и безумец. Обвиняет в отсутствии самолюбия, твердит, что он начисто лишен амбиций (что, заметим, не соответствует действительности). Требует, чтобы он искал хорошую, прилично оплачиваемую работу, вместо того чтобы мыть посуду в ресторанах, носить чемоданы в отелях, продавать на улицах газеты, работать страховым агентом или разносить по домам скроенные алкоголиком-отцом пиджаки и жилеты. Главное же, не желает и слышать о том, что муж хочет стать писателем; тут они с Полин сходятся, обе на-

слышаны: чем-чем, а литературой уж точно не прокормишься. Несколько рецензий, которые Генри зимой и весной 1919 года сочинил для салемского журнала "Черная кошка", заработав в общей сложности целых десять долларов, Беатрис нисколько не вдохновили.

Личная жизнь молодоженов тоже была не на высоте. Пуританка Беатрис отличается примерной строгостью нравов, к сексу относится со всей серьезностью, предпочитает постели романтические вздохи и сладкие речи и завышенных ожиданий мужа не оправдывает. Миллер не столь романтичен, как его молодая жена, к священным узам брака относится без должного трепета, и летом 1918 года, когда молодожены живут у матери Беатрис в Делавэре, изменяет жене, и не с кем-нибудь, а с тещей. К чести Миллера скажем, что инициативу проявила теща. "Генри, ты здесь? — позвала она однажды утром зятя из ванной. — Принеси-ка мне полотенце, дорогой".

Спустя год у Генри и Беатрис рождается дочь Барбара, но на личной жизни супругов сие радостное событие никак не отразилось: лучше она не стала. Беатрис и Генри спят теперь в разных комнатах. Беатрис скандалит, ревнует, всем недовольна. Генри любит дочь, изменяет жене, да еще ругает ее последними словами; площадная грубость, как всегда у Миллера, — примета стиля, здоровая реакция на ханжескую добропорядочность. "Сучка пуританская, даже не покраснела, когда ей рассказали парочку сальных анекдотов, — читаем в "Черной весне". — От словечка 'венерический' жену так и затрясло... Она рыдала, выклянчивая сострадание... Чем истеричней она рыдала, тем больше я глохнул... Выпрыгивала из постели, одичалая, ничего не видя от ярости... набрасывалась на меня с кулаками... вопила, как пьяная шлюха, и уходила, будто побитая собака..." Сучка пуританская, пьяная шлюха, побитая собака — Миллер не выбирает выражений; мы, правда, не знаем, выбирала ли выражения, устраивая мужу сцены, благочестивая Беатрис, и был ли Миллер так же груб в жизни, как и в литературе. Как бы то ни было, картина семейной жизни получилась не слишком жизнеутверждающей.

Когда супруги не ссорились (а ссорились они постоянно), каждый жил своей жизнью, не слишком вникая в проблемы суженого. Беатрис высмеивала мужа, когда тот делился с ней своими наполеоновскими планами — других у Миллера не бывало. Миллер, в свою очередь, пренебрегал весьма шатким материальным положением семьи. "Необходимость содержать жену и ребенка меня не слишком заботила", — с присущей ему откровенностью пишет он в "Тропике Козерога", и ему можно поверить.

Случалось, супруги делали попытки разъехаться — впрочем, довольно вялые. Осенью 1921 года Беатрис с дочерью уезжает в Рочестер; оставшись в одиночестве, Миллер времени даром не теряет, снимает на пару со своим дружком Джо О'Риганом студию, где прожигает жизнь. Не проходит, однако, и двух недель, как супруга пишет брошенному, но не отчаявшемуся супругу довольно миролюбивое письмо, где готовит почву для отступления и где проскальзывает намек на то, что деньги у них с Барбарой на исходе. Просьбу о финансовой помощи Миллер оставляет без внимания, однако отзывается хоть и короткой, но заботливой запиской: "Береги себя. И не вешай носа. Не исключено, что я свалял дурака". Интересно в чем? Что отпустил жену в Рочестер? Или что на ней женился? Записка, как бы то ни было, обнадеживающая, переписка продолжается, спустя неделю муж спешит в Рочестер навестить жену и дочь, а спустя еще месяц семья воссоединяется. Миллеры вновь, как встарь, делят супружеское ложе, однако вспыхнувшее было чувство не настолько сильно, чтобы не прервать одну за другой две беременности. Через год, воспылав очередной страстью, на этот раз — к своей однофамилице, официантке Глэдис Миллер, уходит из семьи уже Генри. И тоже возвращается — причем не через два месяца, как Беатрис, а через два часа. Дело обстояло следующим образом. После очередного скандала Миллер решает порвать с женой навсегда, посреди ночи пишет Беатрис записку недвусмысленного содержания, состоящую всего из трех коротких фраз: "Мне все надоело. Не жди меня больше. О тебе и ребенке позабочусь". (В письме в Рочестер тоже, кстати сказать, было всего три фразы, и таких же коротких.) Записку кладет на видное место, едет к Глэдис, но ее заспанный, "неприбранный" вид его расхолаживает, и неверный муж дает задний ход. Любовнице говорит, что соскучился и приехал только затем, чтобы пожелать ей спокойной ночи (?!), возвращается домой, обнаруживает свою записку там, где и оставил, рвет на мелкие кусочки и, раскаявшись в содеянном, укладывается к жене под бочок. Отношения восстановлены. До следующего утра.

Глава *четвертая*. Босс

Способствовала восстановлению отношений между супругами и новая работа Миллера: амбициозная Беатрис ею, против обыкновения, осталась довольна. Генри повезло — и повезло совершенно неожиданно. До этого памятного январского дня

1920 года дела с устройством на работу не ладились. Вернее сказать: с устройством-то проблем не возникало; вот только увольняли Генри чуть ли не на следующий день после найма. "Я довольно сообразителен, но людям внушаю недоверие, — читаем чистосердечное признание в "Тропике Козерога". — Когда я приходил устраиваться на работу, наниматель по глазам видел, что мне, в сущности, начхать, получу я ее или нет". Мужу-то было "начхать", и грошовую работу он менял чуть ли не каждую неделю ("Поиски места сделались моим ремеслом"), а вот жене — нет.

И Генри — кажется, впервые в жизни — идет ва-банк. Поднявшись на двадцать пятый этаж административного корпуса известной на весь мир телеграфной компании "Вестерн Юнион" (в "Тропике Козерога" эта кафкианская структура будет фигурировать как "Космодемоническая телеграфная компания"), он выдает себя за выпускника Колумбийского университета и требует встречи с президентом компании. Президент занят, но вице-президент с говорящей фамилией Уиллэвер (Willever — по-русски "Чего изволите") находит для наглеца время, долго с ним беседует, после чего отправляет на другой конец города в офис главного управления, где начинают твориться чудеса. Миллера усаживают в кожаное кресло, угощают дорогой сигарой и после короткого собеседования изъявляют готовность взять агентом по найму: в курьерском штате компании процентная норма евреев и негров существенно превышена, руководство не в восторге, и предыдущий агент, жиденок Сэм Саттентайн, с позором уволен. Взять Миллера в компанию готовы, но при одном условии — сначала он должен пройти испытательный срок, зарекомендовать себя не на "курьерном", а на "фискальном" поприще. Ему вменяется в обязанность безостановочно курсировать из одной конторы телеграфного агентства в другую и, наблюдая за ходом дел, представлять руководству отчет о работе "на местах". Предложение, "хоть и было заманчивым, но дурно попахивало" ("Тропик Козерога"), но Миллер, тем не менее, уверенно говорит "да".

И, проработав полгода у Уиллэвера негласным осведомителем за 240 долларов в месяц, садится в кресло агента по найму (а по-нашему — заведующего отделом кадров) с неограниченной властью нанимать и увольнять тысячи людей, претендующих на место в курьерской службе именитой компании. Целой империи, куда входят сотни контор, и каждая со своим штатом курьеров. Причем штатом постоянно меняющимся; руководству, в данном случае Миллеру, приходится вести неравную борьбу с "текучкой": курьер уходил выполнять поручение, но возвращался далеко не всегда — по доро-

ге у него могли измениться планы, ему могло прийти в голову, что выгоднее продавать газеты, стоя на перекрестке, чем носиться сломя голову по огромному городу. Поэтому постоянный штат курьеров составлял не более двадцати процентов от несметной курьерской армии со средней зарплатой, не превышающей полсотни в неделю.

Миллер впервые в жизни (а ему уже под тридцать) стал нужным и важным человеком. От желающих работать в "Вестерн Юнион" не было отбоя. С утра в кабинет всесильного "кадровика" набивались просители из всех мыслимых сфер жизни. Работы хотели все: негры, евреи, индейцы, эскимосы. Бывшие уголовники, алкоголики, проститутки, эпилептики. Ученые, инженеры, дантисты, матросы, ковбои, музыканты. Одного такого музыканта из Миннесоты, Гарольда Орвиса Росса, изучавшего в Джульярде теорию музыки, Миллер пригрел: познакомил с женой, поселил у себя и потом долго с ним переписывался. Мечтали служить в "Вестерн Юнион" и фермеры, и бывшие сенаторы, и сутенеры. И, конечно же, эмигранты. Многие — люди психически неполноценные и почти все — дошедшие до ручки и готовые на любую работу. Мужчины, женщины и даже дети лет десяти-двенадцати рвались в кабинет агента по найму, и у каждого имелась "про запас" своя слезная история. Три телефона звонили одновременно и, как в кабинете булгаковского Филиппа Филипповича Тулумбасова, не умолкали ни на минуту. Миллер, как и колоритный персонаж "Театрального романа", демонстрировал чудеса психологической эквилибристики, ведь, с одной стороны, нельзя было ослушаться приказов сверху — уволить, например, всех курьеров свыше сорока пяти лет или не нанимать калек. Нельзя было пренебречь гневными окриками из главного офиса: "Срезать зарплату! Увеличить время работы! Ускорить доставку корреспонденции!" С другой же — хотелось невозможного: усовершенствовать курьерскую службу и в то же самое время удовлетворить просьбы страждущих, которые ради получения работы не брезговали ничем: целовали руки, становились на колени, предлагали взятки (которые иной раз благосклонно принимались). А также, если им отказывали, писали записки такого, например, содержания: "Побывав у Вас в кабинете на Парк-Плейс, 33, я понял по Вашим глазам, по тому, как Вы изъясняетесь, что Вы дадите мне, бедному парню, еще один шанс". И Генри, человек не злой, к тому же сентиментальный, про которого говорили, что он "владеет секретом доброты", этот шанс "бедному парню" давал, вызывал на повторное собеседование. "За "милость к падшим" ему не раз доставалось от начальства: каждые десять дней его вызывали к управляющему на ковер "за чрезмерное добросердечие".

В “чрезмерном добросердечии” руководство обвиняло нового агента по найму не зря. В эти годы Миллер, писавший впоследствии, что ему никогда в жизни не доводилось видеть “такого скопления нищеты”, проявил себя с лучшей стороны. Если не мог обеспечить просителя работой, ссужал его деньгами (и даже, случалось, приводил, как Гарольда Росса, домой или кормил-поил в ресторане). Если проситель почему-то не устраивал его в качестве курьера, пытался подыскать ему другую работу. Не обращая внимания на сыпавшиеся на него жалобы, добился повышения процентной нормы для евреев, негров и трудоспособных калек. А также права нанимать на курьерскую службу женщин, отчего, заметим мимоходом, выигрывали не только нанимаемые (особенно девушки до двадцати лет), но и наниматель...

Трудится Миллер, не покладая рук, три года подряд не уходит в отпуск; чтобы использовать 1000 курьеров, приходится рассматривать 10 000 заявлений в год — не до отпуска. Зарплату при этом получает весьма скромную. Нехватку долларов, однако, возмещает бесценным для писателя, особенно начинающего, опытом. Ведь перед ним открылся “весь срез американской жизни. Жизни экономической, политической, нравственной, художественной, статистической, патологической”. И жизнь эта — патологическая по преимуществу — представилась ему, прямо скажем, не в лучшем свете. С его “насеста”, как он выражался, она “выглядела еще страшней, чем сыр, изъеденный червями и издающий всеобъемлющее зловоние”. Как “жестокий фарс на фоне крови, пота и нищеты”. Как “огромный шанкр на изношенном половом члене”. Перед его взором (и отнюдь не только мыслимом) предстала целая галерея самых разнообразных и диковинных типов, которых он — всех ведь не упомнишь — добросовестно заносит в “книгу учета”, не уступавшую полицейскому досье. Распределяет (немец как-никак) по цвету кожи, вероисповеданию, профессии, социальному положению. Наряду с книгой учета заводит — уже для внутреннего пользования — “Картотеку забавных случаев” (“Humorous File”); от печального до смешного — один шаг. Ведет также дневник, в котором каждодневные записи соседствуют с вырезками из газет, цитатами из любимых книг и собственных писем, модными словечками. С помощью “книги учета”, дневника и “картотеки забавных случаев”, а также, воспользовавшись советом Уиллэвера написать книгу о курьерах компании на манер “романа успеха” популярного в те годы романиста Хорейшо Элджера, начинает делать заметки. В голове у него, правда, не Элджер с его неизменным “хеппи-эндом”, а анти-Элджер. Не роман успеха, а роман нескончаемых жизненных неурядиц, несчастий и бед, сви-

детелем которых он становится, слушая ежедневные исповеди выпрашивающих работу. “Сидя на своем стуле, — напишет он в “Тропике Козерога”, — я путешествовал вокруг света и узнавал, что везде одно и то же. Голод, унижения, невежество, порок, жадность, извращения, сутяжничество. Пытки, деспотизм, бесчеловечное угнетение человека человеком. Узда, хомут, шлея, вожжи, кнут, шпоры”.

Со временем начинает ощущать хомут и на своей шее. И пытается этот хомут ослабить. Работает все хуже, пускает дела на самотек, груб и несправедлив с подчиненными, развратничает: в студии, которую снимает с уже упоминавшимся Джо О’Риганом, устраивает форменный бордель. Развлекается с безответными сотрудницами компании, готовыми ради зарплаты на всё, ставит над ними психологические опыты; к психологии у Миллера еще со времен лекций Челлакома и Миллза давний и стойкий интерес. “Наверху” Миллером недовольны, но местом он больше не дорожит. Не раз уходит с работы в середине дня, оставив на своем письменном столе объявление: “Сегодня приема нет”. Одевается неряшливо и даже с напускной богемной неряшливостью, что ему не раз ставилось на вид. Нанимает, кого придется, упор делает на эмигрантов, случается даже, пользуется услугами преступного элемента, что руководству понравиться никак не может и против чего его не раз предостерегали. Уиллэвер теряет к нему расположение: насылает на него комиссию, которая находит в работе агента по найму немало огрехов и рекомендует ему переезжать из конторы в контору, а не сидеть на одном месте. Приставляет к Миллеру секретаря, которому поручается за нерадивым агентом по найму присматривать: раньше осведомителем был он сам, ныне шпионят за ним.

“Вестерн Юнион” ему теперь только мешает, и чем скорее он с телеграфной компанией расстанется, тем лучше. Об этом ему говорит его внутренний голос, а он привык к нему прислушиваться. Отныне у него одна цель — писать. О чем он с ликованием и сообщает своему другу Эмилю Шнеллоку, который только что вернулся из Европы, где учился живописи: “А я-то уж думал, что буду деловым человеком, из тех энергичных парней, известных своими барскими замашками и грешками с хорошенькими стенографистками. Как бы не так! Я занят интеллектуальным делом, черт побери! Споем же осанну ‘Вестерн Юнион’, которая исправно набивала мне утробу, а заодно и всем вонючим ублюдкам, что гнули на них спины!”

Начинающий писатель не уверен в себе, он не может не подражать признанным авторитетам, не может на них не ориентироваться, и объектом для подражания Миллер избирает

Теодора Драйзера, его книгу “Двенадцать человек”. Вслед за Драйзером Миллер выбирает из своей картотеки двенадцать наиболее колоритных случаев, двенадцать искореженных жизней, с тем, чтобы противопоставить своих незадачливых героев героям романа успеха Хорейшо Элджера. Вся книга, собственно, и задумана как вызов расхожей американской прозе, отличающейся, как заметил Миллер в одной из рецензий в “Черной кошке”, “ослепительной стерильностью”. С этой стерильностью будет Миллер бороться и впредь. У всех двенадцати персонажей, реально существовавших людей, кого Миллер нанимал на работу, чью судьбу решал, а теперь взялся описать, отсутствует надежда на будущее — отсюда и заглавие книги: “Подрезанные крылья”; Миллер уподобляет своих героев падшим ангелам. Среди ангелов с подрезанными крыльями выпускник Йеля Андерсон, пьяница, который, приревновав жену, убивает ее, а потом вешается сам. Индус Гупте, которого зарезал ревнивый муж. Слабоумный Чарльз Кэндлз, который избивает до смерти собственных детей. За время работы агентом по найму компании “Вестерн Юнион” Миллер столкнулся с сотнями подобных “success stories” — “счастливых судеб”.

20 марта 1922 года — исторический день: Генри Миллер (через полгода ему исполнится тридцать один) становится наконец писателем, рецензии в “Черной кошке” трехлетней давности не в счет. Уже прочитаны (для вдохновения) крупнейшие современные американские поэты: Эзра Паунд, Карл Сэндберг, Эдгар Ли Мастерс. Уже составлен подробный план книги. Уже решено, что в день он будет сочинять никак не меньше 5000 слов; оказалось, правда, что это совсем не так просто. “Мой первый писательский день чуть меня не раздавил, — пожаловался Миллер Эмилю Шнеллоку. — У меня возникли серьезные сомнения относительно конечного результата”. Решено, что писаться книга будет не дома, под недовольным взглядом Беатрис, а в студии Шнеллока. И что первым ангелом с подрезанными крыльями будет Чарльз Кэндлз; “Чарльз Кэндлз — моральный урод” — так будет называться первый очерк из двенадцати. Миллер довольно быстро входит во вкус; за время работы над “Подрезанными крыльями” он сочинит еще много чего: и эссе, и пафосное стихотворение в прозе про борца Джима Лондоса, и драматические монологи, и даже очерки про жевательную резинку и про пользу пива и бесполезность “сухого закона”. Только вот беда: ни на одну из этих однодневок ни один американский журнал не польстился. И в ближайшее время и не польстится. От написанного через пару лет методом “автоматического письма” “Дневника футуриста” издатель и литературный агент Брюс Бартон не оставил камня на камне:

"Со всей очевидностью, молодой человек, могу сказать, что писателем вы не будете никогда; литература — не ваша сильная сторона". А знаменитый сатирик Генри Луис Менкен, редактор "Американ меркьюри", не только не опубликовал "Дневник" Миллера, но в ответом письме перепутал — подозреваю, не без умысла — пол автора; начиналось "отказное" письмо с вежливого "Дорогая мисс Миллер".

Не состоялись и "Подрезанные крылья"; книгу, к слову сказать, не приняли не только критики, но и "автор идеи" Уиллэвер; патриот своей компании, он воспринял очерки Миллера как удар ниже пояса: компания, мол, столько для тебя сделала, а ты ее порочишь. Не изменил Уиллэвер своего мнения и после того, как Миллер, чтобы угодить вице-президенту, несколько "разбавил" мрачный тон своего сочинения. Ввел в "Крылья" "позитив": эмигрант, неудавшийся продавец картин Якобус Дан, становится курьером, после чего, по чистой случайности, встречается на улице со старым знакомым и благодаря ему получает отличную работу, сходится с нужным человеком и выходит в люди.

Относительно того, имел ли Миллер в виду опорочить "Вестерн Юнион" или нет, еще можно поспорить, но литературные недостатки "Крыльев" действительно бросаются в глаза. Вот слагаемые неуспеха двенадцати очерков "не успеха". Во-первых, риторика, нравоучительный тон, чего у Драйзера нет и в помине. Миллер не только делится с читателем весьма любопытным опытом общения с "отбросами общества", но и поучает его, навязывает ему свои довольно наивные и банальные моральные оценки и сентенции; вроде такой, например: "Оттого что у нас будет больше хороших детей и меньше плохих, мы все только выиграем". Чистая правда. Во-вторых, в этих двенадцати очерках, как и почти во всяком сочинении начинающего литератора, явственно ощущаются чужие влияния. Помимо Драйзера, это и давно любимые Ницще и Достоевский (совсем недавно прочитан роман "Преступление и наказание"). И неподражаемая разговорная интонация недавно вышедшего "Триумфа яйца" Шервуда Андерсона: на него Миллер, как и многие молодые американские авторы тех лет, тоже ориентируется. И пламенное, наивное реформаторство Майкла Голда, который, прежде чем стать редактором "Либерейтора", перепробовал, как и Миллер, множество специальностей, поиски работы сделались и его ремеслом. В конечном счете из двенадцати очерков Миллеру удалось, да и то лишь через два года, пристроить всего один, про негра Тода, в журнал "Кризис" негритянского общественного деятеля и писателя

У. Э. Б. Дюбуа. И это притом, что очерк Миллера "Черное и белое" вносит некоторые коррективы в знаменитый тезис Дюбуа "Черное – это прекрасно". Равно как и в тезис Элджера: "Америка – это прекрасно". Отношения с "прекрасным" отечеством, начиная с "Подрезанных крыльев", у Миллера, о чем уже приходилось говорить, не сложились.

Впрочем, судьба "Подрезанных крыльев", равно как и телеграфной компании "Вестерн Юнион", в мае 1924 года, когда Дюбуа напечатал в "Кризисе" "Черное и белое", Миллера уже беспокоила мало. Не пройдет и полугода, как он промозглым ноябрьским днем явится утром на работу, захлопнет лежавшую у него на столе книгу учета, куда заносились имена опрошенных кандидатов, и, никого ни о чем не предупредив, навсегда покинет опостылевший офис. И даст себе клятву, что нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет больше служить, повторив вслед за своим любимым Уитменом: "My own master absolute" – "Хозяином своей судьбы буду я один"[1].

От расставания с "Вестерн Юнион" и с неудавшимися "Подрезанными крыльями" Миллер испытал заметное облегчение. У него теперь иное на уме, ему не до курьеров и не до Драйзера. У Пушкина муза является на смену любви; у Миллера любовь приходит на смену музе. Любовь если не на всю жизнь, то на десятилетия.

Глава пятая. "Поговорим о странностях любви"

В "Тропике Рака" имеются не только мало приличные сцены и нецензурные выражения, из-за которых книга десятки лет не допускалась к читателю. Есть в этом, не самом благонравном, романе и высокая поэзия. И пробивающаяся сквозь неутешительную парижскую жизнь лирическая интонация. Есть и лирическая героиня – Мона.

Мона есть и Моны нет. В книге она, как лирической героине и положено, присутствует лишь временами, является нежданно и ненадолго, да и то, очень может быть, лишь в воображении героя: "Она поднимается из моря лиц и обнимает меня, обнимает страстно". А явившись, несет ни с чем не сравнимую радость встречи, тем большую, что встреча эта мимолетна: "Я сажусь рядом с ней, и она начинает говорить... но я не слышу ни слова, потому что она прекрасна, потому что я счастлив, потому что я люблю ее и готов умереть... Я чувствую ее тело, такое родное, сейчас оно всё мое...". Гораздо чаще о Моне говорится в прошедшем времени, и тогда она –

символ неверности, легкомыслия, даже коварства, отчего, впрочем, чувство к ней рассказчика слабее не становится: “Она ушла, бросила меня здесь... оставила на краю завывающей пропасти, ее слова все еще звучат в моей душе и освещают тьму подо мной”. И у автора, и у читателя Мона призвана вызывать ностальгию, герою она является лишь в качестве воспоминания, чего-то упоительно желанного, но, увы, недосягаемого. “Всего только год назад Мона и я каждый вечер... бродили по рю Бонапарта”. “Я помню эту красную спальню и всегда открытый сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке...” “Моны в толпе нет... Я перечитываю телеграмму, но это ничего не меняет...” “Я смотрел с тоской на уходящие поезда, пытаясь представить себе, где она может сейчас быть”. “Беда в том, что я почти забыл, как она выглядит, и что я чувствовал, когда держал ее в своих объятиях”.

И Мона — не плод авторского воображения, у нее, как почти у всех героев Миллера, есть реальный прототип. Прототип этот оставил в его жизни заметный след. В бесконечной череде Миллеровых “девушек в цвету” Джун Эдит Мэнсфилд, femme fatale[1] Миллера, выходит на сцену вслед за Беатрис — и мгновенно ее (и всех, кто был до нее) затмевает.

Выходит на сцену в прямом, а не только переносном смысле. Джун была прирожденной актрисой, безупречно владевшей многотрудным искусством перевоплощения. И поистине безудержным воображением. Чего только Миллеру она про себя не рассказывала! Любовь доверчива, и Генри — во всяком случае, поначалу — верил всем, самым разным (и весьма противоречивым) версиям ее богатой событиями жизни. По одной версии, ее мать умерла родами и была румынской цыганкой, в подтверждение чего Джун низким, надтреснутым голосом исполняла по-русски “Очи черные”. Согласно этой же версии, воспитывала бедную сиротку тетушка — понятное дело, скаредная и жестокосердная. По другой версии, родилась Джун вовсе не в Румынии, а в штате Вермонт, училась в престижном женском колледже “Уэллсли”. Одно время зарабатывала на жизнь игрой на скрипке, работала корректором. По третьей, ее отец был англичанином, талантливым инженером, дружил с Карузо, боготворил дочь, хорошо зарабатывал, да вот беда — проигрался на скачках, и теперь без денег, без родных и друзей умирает от рака в санатории в Канаде.

1. Роковая женщина (*франц.*).

Версий было много — каждый день новая, но во всех без исключения Джун — сегодня окутанная тайной женщина-вамп, завтра добропорядочная девушка, взахлеб читающая Стриндберга и декадентов, — выходила из бесконечных жизненных передряг победительницей. В самых сложных и щекотливых ситуациях она сохраняла честь и достоинство, неизменно демонстрировала благородство, смекалку, недюжинную предприимчивость. Ее страстные поклонники (а были среди них и наркоманы, и азартные игроки, и даже не знающие пощады чикагские гангстеры) предлагали ей деньги, руку и сердце, клялись, что покончат с собой, если она не согласится выйти за них замуж, угрожали, запугивали, валялись в ногах. Но всякий раз Джун вырывалась из объятий развратника и негодяя, ставила его на место. Оставалась чиста. Чиста и независима.

Войдя во вкус, Джун переиграла перед Миллером все романтические роли мирового репертуара, он же слушал ее, затаив дыхание, и не обращал никакого внимания на то, что она "путается в показаниях". А попросту говоря, врет напропалую; в минуту откровения, уже спустя несколько месяцев после их первой встречи, она поведала возлюбленному правду своего рождения. Трудно, впрочем, представить, что эту правду (или очередную ложь) Миллер узнал непосредственно от нее; скорее от каких-нибудь доброхотов: Джун предпочитала примеривать на себя жизнеописания не в пример более идиллические. Звали ее, оказывается, вовсе не Джун, а Джулия Эдит Смит, да и не Джулия Смит, а Юлия Шмерч. Когда ее семья эмигрировала в Америку из Черновиц, фамилия отца трансформировалась из Шмерч в Смит. Ее отец при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не британцем, а польским евреем, никогда ни в Англии, ни на скачках не бывавшим. И не талантливым инженером, а самым обыкновенным рабочим на лесопилке; перебравшись в Штаты, он зарабатывал на жизнь продажей подержанной одежды. Дочь он не только не боготворил, а регулярно избивал, называл (не вполне безосновательно) "грязной шлюхой" и в конце концов выгнал из дому. Жестокосердная же тетушка на поверку оказалась ее матерью, которая, согласно первой версии, давным-давно отправилась на тот свет. Наконец, сама Джун (она же Джулия, она же Юлия) не только не училась в "Уэллсли", но не кончила даже средней школы и из Бруклина ни разу в жизни не выезжала. И зарабатывала на жизнь не игрой на скрипке и не чтением корректур, а делом куда более увлекательным, да и прибыльным. В буквальном переводе с американского на русский ее профессия называлась "такси-танцов-

щица" — "taxi-dancer". То есть подрабатывала Джун платной партнершей в дансинге. Покупаешь билет и танцуешь с платной партнершей: один билет — один танец; о прочих услугах договариваешься при непосредственном контакте.

Вот в одном из таких дансингов в бруклинском "Уилсонз-Данс-холл" летним вечером 1923 года Генри Миллер, как пишут в любовных романах, встретил свою судьбу. Судьба явилась к нему в образе несколько подержанной, но тонной ренуаровской красавицы с сонным, мечтательным взглядом и аппетитными статями. Уже в первом танце красавица, проявив недюжинную прозорливость, завела с партнером разговор о литературе. Услышав комплименты в адрес своих любимых скандинавов Стриндберга и Гамсуна, да еще из уст смахивающей на цыганку таинственной красавицы, Миллер разомлел, голова у него пошла кругом, после чего дело довольно быстро сладилось. За первым танцем последовал второй, за вторым — третий, за третьим — жаркие поцелуи в такси, потом любовь прямо на траве в парке. А вслед за любовными утехами появилась и первая просьба: не мог бы Генри дать ей в долг пятьдесят долларов — тетушке, дескать, надо срочно внести очередной взнос за купленную в кредит квартиру.

Миллер влюблен, и не на шутку — он ни в чем не отказывает подруге: водит ее по ресторанам, делает подарки, клянчит деньги у родителей, у друзей; если ему не хватает расплатиться в кафе, звонит ночному менеджеру в "Вестерн Юнион" и просит привезти ему с курьером двадцатку. Он, неглупый, образованный, имеющий немалый опыт в отношениях с женщинами человек, верит каждому ее слову и даже помыслить не может, что уличная девица, обманщица и лгунья водит его за нос — он, как сказал поэт, "сам обманываться рад". И не беда, что Джун, заявив, что едет на похороны отца, исчезает из его жизни на две недели. Не беда, что на дансинге, как сама признается, уже давно не работает и что ее — "представь только!" — взяли в театр и даже дали второстепенную роль. Второстепенную — это ей-то, первоклассной актрисе; какая несправедливость! Не беда, что у нее вдруг завелись деньги: пусть Генри не беспокоится, эти деньги ей дают немощные старики, и только за то, чтобы иметь возможность любоваться ею, "побыть в ее обществе". Миллер, правда, обнаруживает "в ее обществе" отнюдь не только немощных старцев, но и это обстоятельство его не смущает. Не беда, что в один прекрасный день она уезжает с очередным ухажером в Массачусетс, ведь оттуда она пишет ему нежные письма: "Люблю одного тебя, хочу быть твоей женой".

Он тоже хочет быть ее мужем, хотя друзья единодушно отговаривают его от этого опрометчивого шага, они-то видят, с кем Генри имеет дело. Но любовь слепа, да и поступки Миллер всю жизнь совершает по большей части опрометчивые. Он женился бы на Джун завтра — вот только как быть с Беатрис? Тем более с Барбарой? Он делает "ход конем": признается Беатрис, что любит другую, о чем, впрочем, жене давно известно. Поначалу она приходит от столь неожиданного и чистосердечного признания в бешенство, отпускает, когда видит, как он, перед тем как встретиться с возлюбленной, красуется перед зеркалом, колкие замечания вроде: "Ну что, опять собираешься на свидание со своей шлюшкой?" Но, по здравом размышлении, меняет тактику, решив, по-видимому, что лучше жить вовсе без мужа, чем с таким, как Миллер. Объявляет Генри, что уезжает, причем далеко и надолго, через пару дней неожиданно возвращается и, прихватив с улицы двух свидетелей, врывается в квартиру в предрассветный час — самый неподходящий (для Джун и Генри) и самый подходящий для бракоразводного процесса. Нехитрый план удается: свидетели подтверждают наличие промискуитета, неверный муж захвачен врасплох и вместе со "своей шлюшкой" выброшен из дома. Бракоразводный процесс длится несколько минут: отныне Генри свободен, вот только свобода обходится недешево: суд вменяет в обязанность нарушившему брачные узы еженедельно платить за дочь алименты в размере 30 долларов — сумма для Миллера неподъемная.

Теперь можно и под венец, и первого июня 1924 года жених с невестой, предварительно договорившись с друзьями, что они приедут и будут свидетелями, отправляются для заключения матримониального союза в Нью-Джерси. Джун (прирожденная актриса, мы помним) по дороге закатывает истерику, талантливо разыгрывает разочарование, ревность, обиду: "Зачем я тебе нужна?! Нет, ты не хочешь на мне жениться! Это я тебя заставила!" От избытка чувств несколько раз порывается выбежать из вагона. Вдобавок, свидетели, сочтя, что Джун и Генри их разыгрывают, не являются, и приходится дать мзду первым встречным, дабы они скрепили своей подписью нерушимые узы брака. Брака номер два.

Миллер счастлив. И это при том, что чадолюбивый отец вправе видеться с любимой дочерью лишь по воскресеньям. И это при том, что и с любимой женой он проводит вместе не больше двух-трех часов в день: днем работает он, ночью — Джун; весь же день молодая жена сидит дома, "на охоту" выходит под вечер, возвращается лишь под утро. И это при том, что жить приходится не в королевских покоях. Одно время

молодожены снимают неприглядную комнатушку в Бронксе, в доме некоего доктора Луттингера, специализирующегося на подпольных абортах. Абортарий кишит не только жертвами несчастной любви, но и тараканами, и Джун и Генри именуют свое пристанище "Кокроуч-холл" — "Тараканником".

Джун по-прежнему изображает из себя жертву и страдалицу: несколько раз уходит от мужа, шантажирует его, пытается — разумеется, у него на глазах — покончить с собой. Но ведет и совсем другую, так сказать, "сердобольную" линию: видит, как страдает любимый человек, которого лишили возможности встречаться с дочерью, и заявляет, что готова Барбару взять. И зарабатывать на жизнь готова тоже — лишь бы Миллер мог писать: "Ты должен стать великим писателем — для меня!" Зарабатывать на жизнь, правда, можно по-разному; зарплата Джун прямо пропорциональна количеству заказанного постояльцами питейных клубов спиртного. И это еще полбеды. Напившись, они обычно начинают к ней приставать (Джун этого не скрывает), порываются проводить до дома, нередко рвутся спьяну в брачное гнездышко. Среди ее ухажеров публика самая разная — есть пьяный сброд, но есть и люди "культурные": издатели, шахматисты, художники, музыканты, попадаются и банкиры — неровен час отобьет какой-нибудь толстосум! Все это Миллеру понравиться не может. С другой стороны, он тронут — к столь бережному отношению к своему призванию он не привык: и мать, и Полин, тем более Беатрис, единодушно настаивали, чтобы он работал; занятие литературой, с их точки зрения, — пустая трата времени. Луиза-Мари отказывается понимать, как это "муж ничего не делает", и на семейных обедах в присутствии Джун пытается образумить тридцатипятилетнего тунеядца: "Ты должен работать, а не валять дурака!"

Генри честно пытается найти работу: деньги нужны как никогда: жену — если ей верить — из театра уволили, а живут они уже не в "Тараканнике", а в престижном районе не престижного Бруклина "Коламбия-Хайтс", в большой квартире, за которую платят, страшно сказать, 90 долларов в месяц. И не платят, а платит — Джун. Впрочем, в одном доме надолго не задерживаются: Джун подрабатывает в различных клубах и питейных заведениях. Из "Какаду" перебирается в "Римскую таверну", из "Таверны" в "Пряности", из "Пряностей" в "Катакомбу". И супруги постоянно переезжают, чтобы находиться поближе к ее работе. Джун по-прежнему против того, чтобы на жизнь зарабатывал муж. Стоит Генри отправиться на поиски работы или сесть за пишущую машинку, как она обвиняет мужа в упрямстве, эгоизме: "Только о себе и думаешь!" Джун не

угодишь: с одной стороны, она хочет, чтобы он писал, готова ради этого работать за двоих; с другой же, когда видит его за машинкой, недовольна, ревнует мужа к Музе: "Я для тебя на последнем месте! Главное для тебя литература, а не я!" В начале 1926 года Миллер устраивается на работу в заштатную газетенку на Лонг-Айленде, и Джун, хотя деньги нужны позарез, устраивает ему скандал, угрожает: "Ты пожалеешь, что уходишь на работу и бросаешь меня дома одну. Я за себя не отвечаю!" И Миллеру пришлось из газеты уйти: стоило ему отправиться утром в редакцию, как Джун, верная своему слову, назначила свидание давно увивавшемуся за ней испанскому эстрадному певцу — писаному красавчику.

Осуществляют молодожены и "совместные проекты". Разыгрывают перед богатыми членами клубов спектакли: Генри исполняет роль богемного, но разорившегося литератора, его закадычный друг Эмиль Шнеллок — бедствующего голливудского художника, Джун — гризетки. Все трое играют вполне правдоподобно, перевоплощаться особой нужды нет. Цель спектакля — разжалобить клиента, для чего пригождаются, вдобавок к собственным напастям, и умирающий в больнице близкий друг, и плачущие по лавкам дети; и друг, и дети, разумеется, — за сценой. Ставит изобретательная Джун и спектакли, рассчитанные на двух "актеров" — себя и Генри. Например, такой. Приводит домой поклонника, а по дороге "раскручивает" его на выпивку и дорогие закуски. Тут нежданно-негаданно появляется Генри. Джун: "Ба! Кто это к нам пожаловал? Да это ж Вал Миллер, писатель!" Миллер (*подыгрывает*): "А я как раз мимо проходил, дай, думаю, зайду". Задача теперь только в том, чтобы "пересидеть" поклонника. Ждать, пока тот, чертыхаясь, уберется восвояси, приходилось иногда до рассвета — зато было, чем поживиться.

Торгуют конфетами: Генри по пятнадцать часов в день бродит по Манхэттену, набив леденцами и шоколадом карманы пальто; у Джун квалификация выше, да и внешность авантажнее: она продает конфеты по ресторанам, и денег выручает гораздо больше, чем коробейник-муж. Участвует в конфетном бизнесе и примирившаяся с потерей "кормильца" Беатрис. Бывшего супруга она снабжает конфетами домашнего изготовления, а из заработанных им денег удерживает львиную долю в счет алиментов; вторая жена продает товар, изготовленный первой.

Весной 1925 года Джун приходит в голову еще одна, куда более богатая (и в переносном смысле тоже) идея: она будет продавать не конфеты и не свое танцевальное искусство, а литературный талант мужа. На этот раз роли распределялись

следующим образом: Генри пишет короткие, строк на десять-двенадцать, очерки, печатает их на разноцветных карточках, а Джун продает карточки своим ухажерам. Подписывались очерки (философские размышления, стихотворения в прозе, изречения, пародии, шутливые рекламные объявления) не безвестным Генри Миллером, а громким именем Джун Э. Мэнсфилд.

Так Миллер превратился в литературного негра собственной жены: Джун получает заказы из различных журналов, и рассказы за нее и в "Янгз" (что-то вроде нашей "Юности") и в "Увлекательные истории" сочиняет Миллер. И одновременно с этим пишет свои очерки. Делится с читателем жизненным опытом. Продавца конфет — в очерке "Искусство уличной торговли". Героя любовника: в карточке под названием "Пробуждение" описывает уже известную нам скоропалительную ночную вылазку к своей однофамилице, смазливой официантке Глэдис Миллер. А вот как будущий автор "Тропика Рака" рекламирует в одноименном очерке пиво: "Ублажайте человека Пивом. Вы полагаете, что человеку нужна мораль? Нет, ему нужно Пиво". "Пиво" — с прописной буквы, "человек" — со строчной. А вот еще одно рекламное объявление, на этот раз рекламируется не пиво, а собственная жена: "Цена: пять центов за танец. Инструктаж обворожительного тренера. Оплата сдельная. Вы станцуете с ней сотню танцев и не почувствуете усталости. Летать будете, как на крыльях. Она научит вас танцевать и в придачу поведает вам о своих семейных неурядицах". Оксюморон в названии рекламы: "Американское ночное пастбище безобидного греха", равно как и замечание о семейных неурядицах, которыми жена делится со своим партнером, свидетельствуют: Генри не так наивен, как кажется, свою жену за год совместной жизни он изучил неплохо. Вообще, Миллеру особенно удавались броские названия разноцветных карточек. Хвалебную рецензию на фильм "Последний смех" он назвал — и тут мы узнаем уже сложившегося Миллера — "Христианство у выгребной ямы". Ядовитую сатиру на напыщенные и пошлые американские похоронные процедуры, которая сделала бы честь автору "Незабвенной", — "Если ты при смерти, мавзолей к твоим услугам". Разноцветные карточки шли на ура; еще бы: танцовщица — и такое литературное дарование!

На вторых ролях оказывается Генри и в еще одном начинании, которое можно было бы назвать "Домашнее кафе". Джун снимает по дешевке подвальное помещение, и не где-нибудь, а в богемном Гринич-Виллидж, и открывает там кафе, причем вином поит гостей не каким-нибудь, а ритуаль-

ным, приобретенным в кошерной еврейской лавке. В кухне помещает супружеское ложе. В большой комнате "Домашнего кафе", предназначавшейся для посетителей, ставит стол для пинг-понга, оборудует барную стойку, задвигает в угол, чтобы не мешал танцам, столик с шахматной доской — развлечения на любой вкус. В другой же комнате, поменьше, принимает поклонников, в чем чистосердечно, за вычетом несущественных деталей, признается супругу. Супруг же довольствуется второстепенной и довольно унизительной ролью бармена и повара, из-за чего временами бунтует; однажды в пылу праведного гнева перебил всю посуду.

Собственные коммерческие проекты удавались Генри еще хуже, чем совместные. Поздней осенью 1925 года он вместе с закадычными друзьями Джо О'Риганом и Эмилем Шнеллоком отправляется на заработки во Флориду. Дело как будто бы верное — заработать на перепродаже недвижимости, цены на Юге упали, и самое время действовать. Миллер загорелся, он вообще легко загорался и так же легко остывал, был, подобно Исаю Бенедиктовичу из мандельштамовской "Четвертой прозы", "хорош только в самом начале хлопот". Его энтузиазм настолько велик, что не страшно даже оставлять любимую жену на съедение волкам-ухажерам. Все дальнейшее, увы, укладывается в черномырдинскую формулу: "Хотели, как лучше..." По прибытии (автостопом — денег-то нет) в Джексонвилл подельники обнаруживают, что в поисках золотой жилы приехали не они одни, да и жилы-то, собственно, никакой нет. Побираются, пытаются — без особого успеха — торговать газетами (вместо недвижимости), ждут, что найдется добрый человек, который подвезет их бесплатно до Нью-Йорка. Не нашелся. Спят под открытым небом, а ведь уже начало декабря. Забавная деталь — возможно, впрочем, Миллером (или его биографами) впоследствии выдуманная: проснувшись однажды утром на скамейке в парке, видит, что одним концом парк выходит на улицу Джун, а противоположным — на улицу Мэнсфилд; хорошо бы выяснить, были ли в Джексонвилле эти улицы. Мистика! Открытие это, однако, пророческим не оказалось: не Джун Мэнсфилд, а Генри Миллер-старший прислал в конце концов блудному сыну денег на дорогу домой.

Была и вторая вылазка на Юг, на этот раз вместе с Джун. Вездесущий Джо О'Риган посулил хорошие заработки в Ашвилле, если Генри пойдет работать агентом по связям с общественностью в контору по продаже недвижимости — опять недвижимость! Генри не без труда уговорил составить ему компанию упиравшуюся Джун, взял в долг денег, приехал в Ашвилл, но контора по продаже недвижимости оказалась

очередным фантомом. И Джун пришлось, чтобы прокормить себя и непутевого мужа ("Для бизнеса ты не годишься"), торговать галантерейными товарами, соблазняя южных красоток — а заодно и красавцев — шелковым женским бельем. Для этой цели был взят кредит, который в срок выплачен, натурально, не был, и пришлось спасаться бегством. Сначала Джун и Генри сбежали, не расплатившись, из съемной квартиры, а потом, сытно пообедав в самом дорогом ресторане города, чистосердечно признались официанту, что платить им нечем. Повезло с вызванным полицейским: тот не только отпустил мошенников, но дал им денег на телеграмму Эмилю Шнеллоку в Нью-Йорк...

Глава шестая. Ménage à trois[1], или Джун и Джин

"Наметился путь беды", как сказано в набоковском "Даре", гораздо раньше, теперь же беда подступила вплотную. Джун, которая прежде никогда не унывала, скисла. Надежды, связанные с Миллером, не оправдались, рассчитывать приходилось теперь только на себя. Миллер же, если он хочет, чтобы их брак сохранился и чтобы жена приносила в дом деньги, должен будет довольствоваться ролью еще более унизительной, чем раньше. И забыть, что такое ревность. Вот условия, которые жена поставила мужу. Во-первых, в клубе ("Катакомба") не должны знать, что они женаты и что живут вместе. Во-вторых, если Джун приводит поклонника, Миллер должен немедленно ретироваться. А по возвращении, не входить без стука и в дверях спрашивать: "Я могу войти? Посетители ушли?" И не роптать, если жена вернулась лишь под утро и не одна. И не интересоваться, где она была в случае, если ее отсутствие затянулось на несколько дней. И Миллер ретировался, не входил без стука, в дверях спрашивал "Я могу войти?", не роптал, не интересовался. Он готов был на все — лишь бы сохранить Джун.

И вот однажды, после почти недельного отсутствия, Джун возникла на пороге, и не с очередным поклонником, а с огромной куклой, изображающей графа Бруга, героя романа популярного романиста, драматурга и сценариста Бена Хекта. Следом за куклой явилась и ее создательница, двадцатиоднолетняя поэтесса, автор малопонятных экспрессионистических стихов и еще менее понятных сюрреалистических картин, Джин Кронски, чью внешность общий знакомый охарактеризовал так:

1. Любовь втроем (*франц.*).

"Лукреция Борджиа с портрета Пинтуриккио". А Джун ограничилась коротким, в три слова, пояснением: "Моя подруга Джин". И эту фразу она будет повторять по многу раз на дню. А чтобы Генри не задавал лишних вопросов, вроде тех, которыми мучил у Пруста Одетту влюбленный Сван: "Было у тебя с другими женщинами?", чтобы окончательно уяснил себе, *какую* роль Джин, и в самом деле не уступавшая знаменитой флорентийке ни в красоте, ни в коварстве, играет в жизни Джун, — закадычные подруги спустя месяц решили съехаться, с каковой целью сняли подвальное помещение, бывшую прачечную на — ирония судьбы — Генри-стрит; Миллеру же милостиво разрешили к ним присоединиться. Чтобы Генри в полной мере ощутил себя "третьим лишним", Джин с самого начала держалась с ним высока и даже, пожалуй, вызывающе. Учила жизни, живописи (это она, кстати сказать, приохотила его к акварели) и литературе. Дала ему читать своего любимого Рембо, о котором спустя много лет Миллер напишет книгу, а также — Фрейда и Юнга, подруге же жаловалась, что не в коня корм. А самому неучу и неудачнику недвусмысленно намекала, что он до этих авторов в свои тридцать пять лет еще не дорос и дорастет вряд ли.

У подруг, надо сказать, было немало общего: Джин Кронски тоже любила порассказать о своих многочисленных приключениях и увлечениях, человеческих и творческих. Ее жизнь — если ей верить — тоже не баловала: она и по миру помыкалась, и без денег сидела, и за решеткой побывала. Вот и к бедняге Миллеру относились Джун и Джин одинаково. То превозносят до небес. "Ты мой Бог!" — восклицала в порыве страсти экзальтированная Джун. Джин же целыми днями писала его портреты, имевшие немного общего с оригиналом, утверждала, что его "интересно писать", и даже снисходительно похваливала его акварели, отпуская глубокомысленные замечания вроде: "А что? В этом что-то есть...". То, напротив, обе его распекают, втолковывают, каждая на свой лад, что он ни на что не годен, что ему давно пора взяться за ум, что им обеим претят его приземленные буржуазные привычки. Буржуазность же Миллера заключалась в том, что он, сын своей матери, пытался, насколько это возможно, навести в заросшей грязью квартирке минимальный порядок и чистоту. Отказывался видеть в груде немытых тарелок, в разбросанных по полу предметах женского туалета и плавающих в недопитом вине окурках высокий художественный беспорядок.

И, что еще обиднее, не обращают на него никакого внимания, его — и не только для Джин, но и для Джун — словно не существует. Когда ему становится невмоготу и он ненадолго переезжает с Генри-стрит в студию Эмиля Шнеллока, его

отсутствия не замечают. Когда же он в очередном приступе ревности — и не только к разлучнице Джин, но и к нескончаемым ухажерам Джун, не раз подменявшим его в любовном треугольнике, — вставляет в руку графа Бруга их с Джун брачное свидетельство или же найденную им любовную записку, адресованную Джин и состоящую всего из трех слов: "Отчаянно тебя люблю!" — расхваливают его отменное чувство юмора, объясняют его выходку бурным артистическим темпераментом — и не придают ей никакого значения.

Когда тебя игнорируют, ты, что совершенно естественно, стремишься любыми способами обратить на себя внимание. Вот и Генри мог явиться в "Катакомбу" и сообщить подруге жизни, что уезжает в Калифорнию, при том что ни о чем подобном даже не помышлял. "Вот и хорошо. Съезди ненадолго. Только держи меня в курсе, где ты находишься", — с удручающей беззаботностью отреагировала на выдумку мужа жена. Или забрасывал Джун письмами, которые подписывал "Неудачник" (унижение паче гордости) и в которых угрожал, призывал одуматься, признавался в вечной любви, готов был все простить. Когда же убеждался, что эпистолярное воздействие столь же бесперспективно, избрал способ, казалось бы, безотказный: попытался покончить с собой. В отсутствие Джун принял несколько таблеток сильного снотворного, а для верности — вдруг не подействует? — разделся догола и распахнул все окна и двери. Все усилия, однако, оказались напрасны. Снотворное не подействовало — передозировка, надо полагать, была невелика, сквозняк тоже не носил летального характера. Джун же, вернувшись утром, легла к мужу в постель, первым делом его ублажила, потом пожаловалась на жизнь: "О Боже, я так измотана, так устала! Забери меня отсюда. В этом мире мне нужен только ты!" Пожаловавшись и пустив слезу, Миллера успокоила: "Пойми ты, я люблю вас, тебя и Джин, по-разному, к ней я испытываю исключительно платонические чувства". После чего, посчитав, что супружеский долг исполнен, как ни в чем не бывало, уединилась с подругой, дабы исполнить долг платонический...

Отношения в доме на Генри-стрит выясняются ежечасно и сопровождаются бурными сценами и нецензурной бранью. Миллер обвиняет жену в изменах и постоянной лжи, обзывает (тогда это еще было оскорблением) лесбиянкой. Джун, в свою очередь, обвиняет супруга в мужеложестве. "И кто же, по-твоему, мой любовник?!" — "Как кто? Эмиль Шнеллок, Джо О'Риган, мало тебе?!" Джин же последовательно и целенаправленно настраивает жену против мужа, чего муж долгое время не понимает. На все жалобы и упреки Миллера реа-

гирует с цинизмом немало испытавшей на своем коротком веку: “Ты говоришь, что страдаешь? Ничего, тебе, писателю, страдать полезно, от страданий только лучше пишется”.

Ошибается: Миллер не только ничего не пишет, но в порыве бессильной ярости сжигает уже начатое, в частности — очерк с красноречивым названием “Невиданные муки”. И опять идет работать — лифтером, посудомойкой, могильщиком на муниципальном кладбище в Куинсе. Не столько даже ради денег (Джун работает за троих и на троих), сколько от безысходности, дома находиться нет сил. И тут у читателя может возникнуть законный вопрос: откуда этот паралич воли? Этот садомазохизм? Что, собственно, мешало ему порвать с женой и ее подругой, хотя бы на время? Мешали четыре вещи. Любовь к Джун, я бы даже сказал, избыточная любовь к Джун; в одном своем рассказе Миллер очень точно подметил: “Вся беда в том, что я боготворю женщин, а женщины не хотят, чтобы их боготворили”. А также — нежелание возвращаться к родителям, отсутствие средств для самостоятельной жизни, тяжелая, продолжительная депрессия и, как следствие, апатия, какую, бывает, испытываешь в кошмарном сне: тебя преследуют, за тобой гонятся, а ты не то что бежать — рукой пошевелить не в состоянии. Имелась и пятая, возможно, самая главная причина: спасительная способность Миллера “не брать” проблемы в голову.

Кошмарный сон обрывается неожиданно: Джун и Джин в его присутствии давно уже обсуждали идею отправиться вместе в Париж. “Ты ведь не будешь возражать, если я поеду с Джин в Париж? Ты же к нам приедешь, если сможешь, правда?” Расставание, уверяет Джун мужа, будет недолгим, к тому же придаст их браку “новый стимул” — так и выразилась: новый стимул. Миллер не знает, убиваться ему или радоваться. С одной стороны, любимая жена его бросает и уезжает с соперницей — не исключено, что навсегда. Шансы же кладбищенского смотрителя (лифтера, посудомойки, портного) переплыть океан и к ней присоединиться равны нулю, да и фразу “Ты же к нам приедешь, если сможешь, правда?” никто: ни Джун, ни Джин, ни он сам — всерьез не принимают. С другой стороны, так, как они жили с Джун последний год, дальше жить невозможно; без Джун он будет скучать, томиться, но ведь и сможет перевести дух, собраться с мыслями и, как знать, что-нибудь да сочинит.

Впрочем, Миллер волноваться не склонен: он неплохо изучил и Джун, и ее подругу, знает цену их далеко идущим планам, которые меняются каждый день и редко осуществляются. Знает к тому же, что денег, которые зарабатывает Джун,

едва хватает на жизнь. А потому полагает, что Париж — очередной мираж и относиться к этой поездке всерьез следует едва ли. Как же он был потрясен, когда однажды, апрельским вечером 1927 года, вернувшись в квартиру на улице своего имени, обнаружил, что квартира пуста и по ней, как говорится, гуляет ветер. Потрясение от увиденного (и прожитого за последние месяцы) было столь велико, что с Генри случилась истерика: он принялся крушить мебель, бить посуду, рвать висевшие на стене картины и акварели (в том числе и свои собственные), бросать вещи на пол и в остервенении топтать их ногами. После чего, прихватив лишь толковый словарь (необходимое подспорье в литературной работе) и свои рукописи, хлопнул дверью и уехал к родителям.

Пятилетний период жизни под названием "Джун Эдит Мэнсфилд", казалось бы, остался в прошлом: Миллер опять работает с отцом и на отца и подумывает даже, не вернуться ли ему к Беатрис и Барбаре, к традиционным семейным ценностям. Но нет. Беатрис, как выясняется, выходит замуж за весьма обеспеченного джентльмена, на четверть века ее старше. Да и Джун вскоре дает знать о себе, присылает из Парижа телеграмму, просит денег, и Генри на седьмом небе от счастья: он опять нужен, востребован. Шлет жене почти все, что зарабатывает, пишет ей длинные, нежные письма (в ответ на которые получает за три месяца всего две-три открытки с видами Эйфелевой башни, Нотр-Дама и Триумфальной арки). В его письмах постоянно звучат две темы: лучше покончить с жизнью, чем жить без тебя, и какой же я был дурак, что тебя отпустил.

Счастлив Генри и еще по двум причинам. Во-первых, его вновь посещает муза. Он набрасывает план книги о жизни с Джун и Джин с первоначальным, откровенно порнографическим названием "Лакомые лесбиянки". Начинена книга самыми пикантными подробностями, начинаться же будет "от печки", с того весеннего дня шестилетней давности, когда заведующий отделом по найму нью-йоркской телеграфной компании отправился в дансинг "Уилсонз-Данс-холл". Во-вторых, из редких и лапидарных парижских посланий жены можно было, тем не менее, вычитать, что союз Джун и Джин распался, подруги поссорились и расстались. Как в дальнейшем выяснилось, не поделили поклонника, австрийского журналиста Альфреда Перлеса; Перлес приударил было за Джун, однако потом отдал предпочтение более интеллектуальной Джин и увез ее в Северную Африку.

Из чего следовало, что Джун вернется из Европы одна или, по крайней мере, без Джин Кронски и что в отношениях супругов действительно намечается "новый стимул".

Глава седьмая. Молох с подрезанными крыльями

Поначалу казалось, что так оно и будет. Джун вернулась на подъеме, заявила, что "надышалась парижской культурой", цитировала Камасутру, взахлеб рассказывала про выставки сюрреалистов, хвасталась, что встречалась с Хемингуэем в легендарном "Café Deux Magots"[1], что за ней ухаживали и Кокто, и Пикассо, и Кокошка, и модный скульптор русских кровей Осип Цадкин. (Насчет Цадкина Джун, скажем прямо, поскромничала: у них был бурный роман.) И еще заявила, что теперь ужасно хочет поехать в Париж с Миллером.

На ловца и зверь бежит. Джун вернулась в Нью-Йорк в июле, а уже спустя месяц у нее завелся очередной "спонсор": неказистый, очень немолодой, зато очень не бедный поклонник по имени Поп, который познакомился с творчеством Джун по очеркам на разноцветных карточках. Дабы завести с Джун роман, он заказывает ей роман — в духе своих любимых Пруста и Джойса: вкусы у Попа продвинутые. Роман, по замыслу спонсора, должен быть из парижской жизни, и он обещает, что оплатит Джун "творческую командировку" во французскую столицу — чтобы написанное в Нью-Йорке и одобренное заказчиком, она довела до ума в Париже. Схема, таким образом, сохранялась прежняя, давно опробованная. Во-первых, спонсор не должен знать, что Джун замужем. Во-вторых, роман пишет, как и очерки на карточках, не Джун, а Генри, подписывает же его не Генри Вал Миллер, а Джун Эдит Мэнсфилд. В Париж на деньги Попа Джун отправится вместе со своим испытанным литературным негром — если литературный негр не оплошает и напишет то, что от него требуется.

И напишет быстро — а то как бы Поп не передумал. Да и в Париж очень хочется. Миллер торопится и поэтому за основу берет уже написанные "Подрезанные крылья". С той лишь разницей, что теперь в центре повествования не курьеры с их безрадостной судьбой, а он сам. При этом со своим "автогероем" автор особо не церемонится, что следует хотя бы из его имени — Молох. Заведующего бюро на найму "Вестерн Юнион" Миллер описывает с нескрываемой иронией, которой не допускал в очерках про "униженных и оскорбленных" курьеров. Вот каким предстает Молох в первой главе, которую Миллер, кстати сказать, сочинил лишь в самом конце работы, когда большая часть романа была уже завершена и в ко-

1. Кафе "Две мартышки" (*франц.*).

торой, как и в "Подрезанных крыльях", заметен не столько талант автора, сколько его начитанность. Аллюзии и реминисценции дают себя знать на каждом шагу, в чем читатель наверняка убедится сам.

Расхлябанной походкой сомнамбулы шествовал Дион Молох среди привидений Бауэри-стрит. Говорю привидений, ибо всякий умудренный опытом житель Нью-Йорка знает: Бауэри-стрит — это улица, где павшие души возносятся в рай за цену бесплатного обеда...

Хоть Молох и состоял на службе в Великой американской телеграфной компании, манией величия он не страдал, равно как и преждевременным старческим слабоумием, да и любым другим модным нервным и умственным расстройством двадцатого столетия.

В любом случае в нем не было ничего от некоего гоголевского персонажа, которому приходилось давать знать, когда ему надлежит высморкаться. То был, иными словами, стопроцентный американец; американец в трех поколениях. Американец, а никак не русский...

Взглядам толпившихся на тротуаре предстал скромный, впечатлительный субъект среднего роста с чертами лица, в которых угадывался одновременно ученый муж и фавн... Простой смертный с парой ног, облаченных в брючную пару, подобно любому другому смертному в Западном полушарии. Не ментор с садистическими наклонностями, подобно творцу с Изумрудного острова, показывающему рискованные фокусы на трапеции. Не великий овод с головой Сократа, что впивается в толстую шкуру британского филистерства. Не славянин, что флиртует с вечностью, сидя в ванне с тараканами. Нет, самый обыкновенный экземпляр мужского пола в костюме и в помочах, а также в исподнем, безупречно облегающем промежность. Экземпляр мужского пола, в чьем имени нет решительно ничего византийского. Американец в трех поколениях, муж и отец, скромное, впечатлительное создание. Что, впрочем, не мешает ему занимать место заведующего отделом по найму в Великой американской телеграфной компании.

Иронический тон и бесконечные аллюзии (Гоголь, Джойс, Голсуорси, Достоевский) пришлись Попу по вкусу. И в апреле 1928 года подающая надежды романистка Джун Эдит Мэнсфилд с мужем отбывают из Нью-Йорка в Европу, где в течение нескольких месяцев (Поп на литературе не экономит) разъезжают, пересаживаясь с парохода на поезд, с поезда на велосипед (в то время вид транспорта еще весьма экзотический), по городам и весям. Живут — кажется, впервые в жиз-

ни — на широкую ногу. “Им хотелось, — напишет впоследствии в своей книге “Мой друг Генри Миллер” Альфред Перлес, — поставить Европу на место”. Добираются даже до Черновцов, родины Джун; продвинулись бы и восточнее, но советская граница во все времена была, особенно для таких, как Миллеры, на замке. И везде, даже в la douce France[1], Миллера поджидает разочарование. Тем большее, что согласия между супругами нет и за границей. Джун опять погуливает: продолжается ее роман с Цадкиным, заводит она и подругу, немку Магду, как и Джин Кронски, художницу. Роман с Магдой, впрочем, длился недолго; вспомним опять героиню Пруста: “Может, раза два или три, ну, я не знаю...”. Нельзя сказать, чтобы и Генри хранил жене супружескую верность...

Кажется, еще Ларошфуко заметил, что наши мечты, как правило, сбываются, вот только на поверку все оказывается чуть хуже, чем нам мечталось. Миллеры испытали мудрость француза на себе. Лондон не полюбился, так как впереди был вожделенный Париж; тем более не полюбится он Миллеру, когда тот спустя год приедет сюда в одиночестве. Париж, спору нет, был прекрасен, однако всё, от отеля на рю Бонапарт, где Миллеры остановились, до легендарных улиц, набережных и площадей выглядело каким-то тусклым, унылым, не праздничным. Запомнились почему-то не готика, не дворцы и не несметные богатства картинных галерей, а тараканы, клопы и загаженные общественные уборные. Именно таким — с черного хода — предстанет Париж спустя пять лет в “Тропике Рака”. Миллер воображал, что французская столица — это сплошная экзотика, а по приезде обнаружил в Париже немало общего с родным Бруклином. Чаще всего Миллеры бывали не в знаменитых кафе “Селект”, “Куполь” и “Две мартышки”, не в Люксембургском саду и на Монмартре (“Жизнь завсегдатая парижских Больших бульваров столь же бессмысленна, как жизнь любого другого завсегдатая”, — писал Миллер из Парижа приятелю), а в офисе “Американ экспресс”, куда они с Джун наведывались ежедневно узнать, не пришел ли от Попа очередной транш.

Немецкие города и вовсе ничем не запомнились. Вена же, которая, как говорят венцы, “всегда остается Веной”, откровенно разочаровала: утратила имперский лоск, провинциальна. “Старой Вены, города романтических мечтаний, более не существует, — пришла к выводу взыскательная американская чета из Бруклина. — С архитектурной точки

1. Прелестная Франция (*франц.*).

зрения, она никогда не была особенно хороша. Теперь же это морг, к тому же с трупным запахом". Брюссель моргом не показался, однако если и запомнился, то, пожалуй, лишь своей центральной площадью, бельгийцы же, особенно в сравнении с французами, смотрелись грубыми, неулыбчивыми, туповатыми. Не угодили Миллерам и поляки: "Самый угрюмый и глупый народ в Европе". Ницца (Генри и Джун прикатили на Ривьеру на велосипедах) была бы всем хороша, если бы на Лазурном берегу, как в свое время в Джексонвилле и Ашвилле, у путешественников не кончились деньги и не пришлось прибегать к помощи американского консула в Ницце.

По возвращении в Нью-Йорк отношения между супругами лучше не стали, и Джун всерьез задумывается над тем, как бы совместить полезное с приятным. Полезное для мужа и приятное для себя. Миллера — и не откладывая — отправить куда-нибудь с глаз долой; глядишь, что-нибудь и напишет. Самой же понежиться год-другой в обществе бескорыстного и безотказного Попа или любого другого богатого и не слишком скупого любовника. Уговорить Миллера вернуться в не полюбившийся Париж, да еще одному, без страстно любимой жены, оказалось делом не простым; поначалу он и слышать об этом не хотел — во всяком случае, в ближайшее время. Но Джун, как мы знаем, перед трудностями не пасовала. Главное было придумать веский аргумент — и аргумент был найден.

Дело в том, что, вернувшись на родину, Генри энергично взялся за переработку "Молоха". "Молох", собственно, остался, каким был, в центре же нового романа — "Взбесившегося фаллоса" — находился уже не он сам, а Джун и Джин. Молох превратился в Тони Бринга, который в финале из ревности убивает подругу своей жены — в романе убить соперницу куда проще, чем в жизни. Впрочем, литературная смерть Джин Кронски подсказана смертью реальной: за время отсутствия Миллеров Джин, как выяснилось, вернулась в Америку и покончила с собой. Кроме того, действие теперь сосредоточилось на любви втроем, герой же из центрального персонажа превратился в рассказчика, от чьего имени ведется повествование. На что Миллер рассчитывал, назвав свой роман "Взбесившимся фаллосом", сказать трудно; на рукопись с таким названием в конце двадцатых годов прошлого века издатель, даже самый "прогрессивный", польстился бы едва ли. Впрочем, писать в стол Миллеру было не привыкать.

Очередное эпатажное название найдено, а вот сам роман не пишется, чем сообразительная и ушлая Джун и воспользовалась. "Поезжай, — упрашивала она Генри, заранее договорившись с Попом, что билет мужу купит, — путешествие пой-

дет на пользу не только тебе самому, но и твоему роману. А насчет денег я позабочусь. Это мое дело. Неужели ты мне не веришь? Я ведь тебя люблю, ты же не будешь отрицать?"

Миллер не отрицал, хотя как первый, так и второй вопрос, откровенно говоря, не казались ему стопроцентно риторическими. Жене, особенно после истории с Джин, он верил не слишком; впрочем, был убежден: в Париже вдохновение на него снизойдет, и роман обязательно будет дописан. С этим убеждением, а также с чемоданом, где лежали тщательно отутюженные костюмы, пошитые фирмой "Генри Миллер и сын", а также рукописи законченного "Молоха" и начатого "Фаллоса", плюс настольная книга — "Листья травы" Уолта Уитмена, — Миллер поднимается на палубу отплывающего из Нью-Йорка в Ливерпуль "Американского банкира". В кармане у путешественника целое состояние — десять долларов, которые, к слову, достались ему вовсе не от жены, не пришедшей даже проводить мужа, а от верного, такого же нищего, как и он сам, Эмиля Шнеллока.

В путь Миллер пускается в конце февраля 1930 года, а 4 марта, прожив десять дней в унылом — даром что неподалеку от Британского музея — лондонском пансионе "Мелвин" и дождавшись скромного денежного перевода из Нью-Йорка, прибывает в Париж, не подозревая, что его парижская "творческая командировка" продлится в общей сложности больше десяти лет.

Генри Миллер

Два эссе

Перевод с английского Елены Калявиной

Бенно – дикарь с Борнео

Бенно всегда напоминал мне аборигена Сандвичевых островов. Не только из-за того, что шевелюра у него попеременно то прямая, то мелким бесом, не только потому, что, впадая в безумную ярость, он страшно выкатывает глаза, не только из-за его худобы и воистину каннибальского неистовства, когда у него пустое брюхо, но и потому, что он нежен и безмятежен аки голубь, спокоен и невозмутим, как вулканическое озеро. Он утверждает, что родился в самом сердце Лондона от русских родителей, но это просто миф, сочиненный им, дабы скрыть свое действительно мифическое происхождение. Каждому, кто хоть однажды обогнул архипелаг, известна сверхъестественная способность этих островов то появляться, то исчезать. В отличие от пустынных миражей эти таинственные острова на самом деле исчезают из виду и на самом деле неожиданно выныривают из неизведанных морских глубин. Бенно весьма и весьма похож на них. Он обитает на своем собственном архипелаге, который вот так же таинственно появляется и исчезает. Никому еще не удалось со всей доскональностью изучить Бенно. Он эфемерен, ускользающ, предательски изменчив и ненадежен. То он — горный пик со сверкающей снежной шапкой, то безбрежное скованное льдом озеро, а то — вулкан, плюющийся огнем и серой. Иногда он скатывается к самому океану и лежит там неподвижно, подобно огромному белому пасхальному яйцу, в ожидании, пока его упакуют в корзинку, выстланную мягкими опилками. А порой он производит на меня впечатление не человека, рожденного материнским лоном, а чудища, вылупившего-

© 1937 “Benno, The Wild Man From Borneo” in: “The Wisdom of the Heart”, originally published by New Directions Publishing Corporation, Inc. All rights reserved.
© 1939 “Hamlet: a Letter” in: “The Cosmological Eye”, originally published by New Directions Publishing Corporation, Inc. All rights reserved.
© Елена Калявина. Перевод, 2015

ся из крутого яйца. Приглядевшись поближе, вы обнаружите у него рудиментарные клешни, как на карикатурном изображении черепахи, и шпоры, точно у петушка, а вглядевшись совсем пристально, заметите, что, подобно птице додо, он прячет гармонику под правым отростком.

С малых лет, с самых малых лет Бенно пришлось вести одинокую и отчаянную жизнь речного пирата на маленьком островке у черта за пазухой. Неподалеку находился тот самый древний водоворот, о котором рассказывает Гомер в карфагенской версии "Одиссеи". Там Бенно в совершенстве освоил кулинарное искусство, что сослужило ему хорошую службу в чреде лишений. Там он с охотой выучил китайский, турецкий и курдский языки, а также менее известные диалекты Верхней Родезии. Там же он научился почерку, в котором поднаторели только пустынные пророки, неразборчивым каракулям, доступным, однако, пониманию студентов-эзотериков. Там же получил поверхностное представление о тех странных рунических узорах, которые позднее воспроизводил розовой и оранжевой гуашью, ажурно вырезал в своих линолеумных и древесных галлюцинациях. Там же он изучал семя и яйцеклетку, одноклеточную жизнь простейших, которыми ежедневно кишели верши для омаров. Там же его впервые увлекла тайна яйца — не только его форма и гармоничность, но и его логика, его предопределенная необратимость. Яйцо неожиданно возникало снова и снова, порой в тонком, как скорлупа, голубоватом фарфоре, порой контрапунктом к треноге, порой расколотое проклевывающейся жизнью. Изнуренный беспрестанными исследованиями, Бенно всегда возвращается к истоку, к фундаменту, к центру собственного мироздания — яйцу. Это всегда пасхальное яйцо, называемое "священным". Это всегда яйцо утраченного колена, источник гордости и силы, уцелевший после разрушения святыни. Когда не остается ничего, кроме отчаяния, Бенно сворачивается калачиком внутри своего священного яйца и засыпает. Он впадает в долгую шизофреническую зимнюю спячку. Это куда лучше, нежели бегать в поисках говяжьего стейка с луком. Нестерпимо проголодавшись, он съест свое яйцо, а потом некоторое время спит где попало, часто прямо позади кафе "Клозери де Лила", рядом со статуей, воздвигнутой в честь маршала Нея. Это, фигурально выражаясь, "сны Ватерлоо", когда повсюду до-

1. Гебхардт Леберехт Блюхер (1742–1819) — прусский генерал-фельдмаршал, в битве при Ватерлоо (1815) главнокомандующий прусско-саксонской армией, сыгравшей решающую роль в победе над армией Наполеона. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жди и грязь, только Блюхера[1] не хватает. С восходом солнца Бенно снова тут как тут — живой, бодрый, веселый, язвительный, раздражительный, гундящий, вопрошающий, нерешительный, ворчливый, подозрительный, искрометный, в своей всегдашней синей робе с закатанными рукавами и с вечной табачной жвачкой за щекой. К закату он успевает приготовить с десяток новых полотен, больших и маленьких. А дальше уже вопрос пространства, рам, гвоздей и кнопок. Паутина сметена, пол вымыт, стремянка убрана. Постель брошена на произвол судьбы, вши веселятся, звенят колокольчики. Ничего не остается, как прогуляться в парк Монсури. Здесь, лишенный одеяний и плоти, покинутый родом человеческим, Бенно рассматривает синицу и амариллис, что-то записывает насчет петушков-флюгеров, изучает песок и камни, которые его почки неустанно выбрасывают наружу.

С Бенно вечно так — пан или пропал. Грузит ли он щебень на Гудзоне, расписывает ли стену дома. Он динамо-машина, камнедробилка, газонокосилка и часы с восьмидневным заводом одновременно. Он вечно где-то что-то ремонтирует и чинит. Все ракушки соскоблены с днища, все швы просушены и законопачены. Иногда устанавливается новая палуба. Посмотрите на дело его рук, тот же остров Пасхи графа Потоцкого де Монталка: новые достопримечательности, новые монументы, новые реликвии, все расплывается в камамберно-зеленоватом свете, льющемся сквозь камыши. И вот он сам, Бенно, восседает в центре своего архипелага, и яйца носятся вокруг него, как угорелые. На этот раз только новые яйца, по-новому гармоничные; все они резвятся на лужайке. Бенно, толстый и ленивый, нежится на солнышке, подливка стекает у него по подбородку. Он читает прошлогоднюю газету, чтобы скоротать время. Он изобретает новые блюда из морской капусты с гребешками или, если нет гребешков, то с устрицами. И все это под вустерским соусом с жареной петрушкой. В такие минуты он любит все мясистое и брызжущее соком. Он разрывает кости и урчит, словно довольный волк. У него гон.

И все это, повторяю, чтобы скрыть свое немыслимое происхождение. Чтобы скрыть свое чудовищное появление на свет, Бенно втирается в доверие, скользкий, как пума после дождя, заводит речи о том о сем. Несусветная абракадабра ферментирует у него внутри. Странной формы уравнения, замысловатые новообразования, похожие на растения, плесень, мухоморы, слизь-трава, ядовитый плющ, мандрагора, эвкалипт — все формируется в ложбинках внутренностей в виде диких линолеумных узоров, которые выгравирует резец, когда Бенно выйдет из транса. По меньшей мере, девять различ-

ных городов погребены под его диафрагмой: посередине находится Самарканд, где у него однажды состоялось рандеву со смертью. Тут он прошел процесс остекленения, после которого средние слои стали гладкими, как зеркало. Тут, пребывая в крайнем отчаянии, он бродит среди сталактитов и сталагмитов, прохладных, как лезвие ножа, и украшенных багровыми листьями. Тут он видит себя вечно юным брюзгой из "Швейцарской семьи Робинзонов"[1], мрачным типом, который играл на побережье у Адских врат. Здесь воскресают ностальгические запахи: запах крабов и морских черепах, всех тех маленьких деликатесов из прежней островной жизни, когда формировались его вкусы.

Подобно пчелиной вши или амарантовому дереву Бенно прогрессирует сразу во всех направлениях. В двенадцать лет он был виртуозом, в шестьдесят будет свеж и щеголеват, яркий петушок-задира с красным гребнем, в перчатках, отороченных пухом и перьями, не говоря уже о шпорах. Круговой прогресс, но неспешный и безошибочный. Между приливами энтузиазма Бенно подобен левиафану, погрузившемуся вздремнуть на дно океана, или морской корове, приплывшей попастись на побережье Лабрадора. Время от времени он летает от стены к стене на коротко подрезанных крыльях, которые изобретает во время спячки. Порой он отращивает шубу из прочной мериносовой шерсти, только что доставленной из Оберраммергау. В лучшие свои моменты он никому не доверяет. Он родился с дурным глазом. Во лбу у него встроена ацетиленовая горелка. В нетерпении он грызет удила; наевшись овса, бьет копытом, в ярости — фыркает огнем. Обычно он ласков и спокоен, безмятежен, как ирландец в своем болоте. Он любит зеленые лужайки и высокие холмы, воздушных змеев, парящих над Сучжоу, виселицу и пытку, любит кули в кожаных обмотках, устричных пиратов, надзирателей тюрьмы "Даннемора" и терпеливого плотника с теслом и складным футом. И тригонометрию он любит тоже, а еще затейливые виражи почтового голубя и фортификации Дарданелл. Он любит все, что усложнено правилами или логарифмами либо приправлено огненными настойками: любит кровоостанавливающие яды, трибромиды, прикосновение карборунда, пятно меркурохрома. Он любит свет и простор так же, как шампанское и устрицы. Но больше всего он любит шум и гам, потому что тогда-то и появляется дикарь с

1. Роман швейцарского пастора Иоганна Давида Висса (1743–1818), в русском переводе более известный как "Швейцарский Робинзон".

Борнео, и небо покрывается тропической потницей. Разозлясь, он укусит себя за хвост или взревет, как осел. В гневе он способен засечься. Его гнев изливается из паха, как струя синильной кислоты. Гнев покрывает чистым слоем лака его работу, его любови, дружбы. Это геральдическая эмблема, тарантул, вышитый на всех ночных сорочках Бенно, на его носках и даже на пуговицах манжет. Яркий, пернатый гнев, который он носит, как плюмаж. Ярость пристает к нему, как прибыток, или как эмульсионная краска.

Таков он, Бенно, — таким я его всегда знал и таким я его вижу. Крепкая абордажная сабля с лицом пенобскота и важной повадкой кабальеро. Он далеко пойдет, если его не сразит клинок. Он принадлежит чернильным полуостровам, открытым водным путям, пиратским пристанищам Кулебры[1]. Он как моллюск, происхождение его неведомо, начало его берется, пожалуй, из гордости и высокомерия, из водных глубин и косолапых точек опоры. Он метит свои границы и защищает свою территорию, точно саблезубый тигр. Он перенял маскировочную раскраску зебры и при необходимости может пролежать в высоких травах вечность. В сущности, он вулканический пепел — не смешивается с водой, не разрушается и медленно стареет. Он из древнего рода островитян, горцев, путешествовавших по затонувшим Андам и открывших мексиканский мир. Он жесткий, как старая индейка, но сердечный и нечеловечески нежный. Этакий дикарь с Борнео с центральным отоплением, пружинным матрасом, солонками-перечницами и бумерангом в левой руке.

Гамлет. Письмо

8 ноября 1935 г.

Уважаемый Ф.![2]

Вы были очень любезны, давая мне столь подробные ответы. Однако у меня такое ощущение, будто Вы пытаетесь сбить меня с толку. Похоже, Вы полагаете, что я безоговорочно уверен в Вашей якобы эрудиции, а посему принимаю

1. Небольшой остров восточнее Пуэрто-Рико. Открыт в 1493 г. Христофором Колумбом; около трех столетий был пиратской стоянкой.
2. Миллер переписывался с американским философом и издателем Майклом Френкелем на тему “Смерть в литературе”. За основу переписки взят “Гамлет”.

на веру все, написанное Вами о Гамлете. Тут Вы ошиблись дважды. Во-первых, я подвергаю сомнению всякую эрудицию, в том числе и Вашу. А во-вторых, в Вашем письме нет и намека на эрудицию. Когда я задаю Вам простые и прямые вопросы, то цель этих вопросов — узнать, что Вы сами думаете о Гамлете, а не что Вы знаете о том, что думают о Гамлете другие. Настоящий эрудит среди нас, как Вам еще предстоит рано или поздно узнать, — маленький Альф[1]. Задайте ему вопрос, и он проведет остаток жизни в библиотеке, чтобы найти ответ. Нет, мне не нужна вся подноготная Гамлета, как Вы себе вообразили, я хотел, чтобы Вы лишь изложили собственные суждения. Однако, возможно, это лично Ваш способ, так сказать, "по-гамлетовски" отвечать на вопросы. Я подозреваю, что Вы слишком раздуваете...

Тем не менее, Ваши ответы побуждают меня предоставить Вам более ясную картину моего собственного впечатления о Гамлете, поскольку, как я уже объяснил ранее, уникального Гамлета (то есть шекспировского Гамлета) ныне поглотил общеупотребительный Гамлет. Что бы там ни имел в виду Шекспир, нынче это уже никому не интересно и совершенно неважно, это лишь отправная точка, не более. Как бы ни был слаб тезис принца Альфреда об "объективности", тем не менее, подобные критические мысли приходят на ум и мне самому, например, мысль о том, что Шекспир был кукловодом. И, со своей стороны, я осмеливаюсь, к невежеству прибавив безрассудство, утверждать, что только благодаря этому умению Шекспира "дергать за ниточки" его произведения обрели такую универсальную популярность. Эта популярность, как и популярность Библии, прибавлю я в скобках, основана на вере и на незнании предмета. Просто никто больше не читает ни Шекспира, ни Библию. Все читают "о Шекспире". Критическая литература, возведенная на его имени и произведениях, куда более плодотворна и вдохновляюща, чем собственно Шекспир, о котором, похоже, по большому счету, никто ничего и не знает, сама его личность — тайна. Хочу обратить Ваше внимание, что о других писателях прошлого такого не скажешь, особенно о Петронии, Боккаччо, Рабле, Данте, Вийоне и т. п. Зато это справедливо по отношению к Гомеру, Виргилию, Торквато Тассо, Спинозе и проч.; Гюго, великого французского бога, в наши дни читают только недоросли и только потому, что он обязателен к прочтению. И

1. Речь идет об общем друге Миллера и Френкеля — австрийском журналисте Альфреде Перлесе.

английский бог — Шекспир — нынче тоже читается теми же недорослями, ибо входит в школьную программу. Взяв его в руки позднее, вы почувствуете, что почти не в силах преодолеть предубеждение, которое привили вам школьные учителя. С их подачи Шекспир стал всего лишь напыщенным дутым гигантом, этаким священным быком для англичан. Нехватку глубины они компенсировали, добавляя ему фальшивого объема, однако отовсюду так и торчат бутафорские набивные подушки.

Но я, повторюсь, хочу предложить Вам кое-какие собственные раздумья о Гамлете, правда, несколько спутанные, зато честные. Не сомневаюсь, что, если бы по всему англоязычному миру устроили опрос на эту тему, и тогда бы мало что прояснилось. Начну с того, что опущу первое прочтение, которое было принудительным и, par consequent[1], совершенно безрезультатным (если не считать стойкого отвращения к предмету, которое с годами переродилось в пытливость археолога, если можно так выразиться). Таким образом, я хочу сказать, что на сегодня мне куда интереснее услышать, что́ мистер Икс (мистер Никто) скажет о Гамлете или об Отелло, Лире, Макбете, нежели узнать, что скажет какой-нибудь ученый-шекспировед. Из Вашего письма я не узнал абсолютно ничего — в нем сплошная вода. А ведь именно у тех, кого я называю Никто и к которым причисляю и себя, я учусь всему.

Как бы там ни было, какое-то время спустя после окончания школы, въедливость и неутолимая любознательность моего шотландского друга — Билл Дайкер его звали — пробудили и во мне интерес к Гамлету. Однажды вечером, после долгой дискуссии на тему “Шекспир и его предполагаемое мировое значение”, мы пришли к обоюдному согласию, что хорошо бы перечитать его снова. Остаток вечера мы посвятили обсуждению вопроса, на которую из пьес налечь первым делом. И, как Вы, наверное, замечали, едва возникает подобный вопрос, этой пьесой почти неизбежно оказывается “Гамлет”. (Вот опять поразительнейшая вещь — зацикленность на одной пьесе, как будто, чтобы узнать Шекспира, нужно во что бы то ни стало прочесть “Гамлета”. Гамлет! Гамлет! Почему вечно Гамлет?)

Итак, мы его прочли. Мы заблаговременно назначили дату, чтобы встретиться и обсудить пьесу в свете наших индивидуальных впечатлений. И в условленный вечер встретились. Однако так случилось, что у друга моего Билла Дайкера на тот

1. Следовательно (*франц.*).

же вечер было назначено свидание с одной женщиной где-то на окраине города. Женщина она была необычная, и, возможно, это отчасти оправдывает перенос нашей дискуссии о Гамлете. Она принадлежала к литературной среде и не получала удовольствия от обычных сношений, поскольку "была слишком хрупкого сложения". По крайней мере, так мне объяснил мой друг Дайкер. Я помню, как дождливым вечером мы отправились на окраину пешком по Бродвею и где-то в районе Сороковой подцепили шлюху. (Дело было перед войной, тогда проститутки еще промышляли на улице и днем, и ночью. Кабаки тоже были на каждом шагу.) Самым странным в этой встрече — представьте себе совпадение — было то, что та шлюха тоже имела отношение к литературе. Прежде она сочиняла для бульварных листков, но дело не выгорело. А до этого работала "красоткой кабаре" в городке Бьютт, что в Монтане. Вполне естественный путь: начать с литературы и двигаться дальше. И еще в тот вечер под мышкой у меня оказалась книга под названием "Эзотерический буддизм"[1]; в ту пору я выговаривал по слогам: "э-зо-те-ри-чес-кий". Естественно, мне было совершенно невдомек, о чем там речь. Видимо, эта книга была одной из тех, которые рекомендовал своим читателям Брисбейн[2] (я тогда вознамерился читать только "самое лучшее", расширяющее интеллект).

Конечно же, очень скоро все наше внимание сосредоточилось на шлюхе. Ирландских кровей, томная и соблазнительная, она, как водится, была наделена даром болтливости. И, вдобавок, склонна к догматизму. Мы и сами были догматиками. В те дни догматиками были все. Могли себе позволить эту роскошь. Когда по ходу дела мы вспомнили о первоначальной цели, шлюхе, разумеется, не понравилось, что мы собрались на свидание с женщиной, обладающей малоприятными особенностями, каковые я описал выше. Более того, она нам не поверила. Она заявила, что ни о чем подобном не слыхивала. Еще наша шлюха предположила, что женщина эта — нимфоманка, и попала в точку, как мы убедились впоследствии. Ситуация сложилась весьма деликатная. Настало время действовать! Однако действия подразумевались как раз такие, на которые мы были неспособны, даже в те дни. Это скорее касалось моего шотландского друга, чем меня са-

1. Автор — Альфред Перси Синнетт (1840–1921) — британский журналист, писатель и теософ.
2. Артур Брисбейн (1864–1936) — один из самых известных американских журналистов и издателей начала XX в.

мого. Он обладал тем, что именуется "здравомыслием": мог долго разводить турусы на колесах, да так ни за что и не зацепиться в итоге.

Единственное, что нам оставалось — никакое решение так и не было принято, — это продолжить возлияния. Мы вышли из заведения, в котором сидели, и отправились во французский бар на Тридцать какой-то улице. Когда мы туда закатились, там вовсю резались в кости, а мой друг Дайкер был ярым поклонником этой игры. Несколько тамошних шлюх, невзирая на девицу, державшую нас под руки, принялись делать нам авансы. Ситуация стремительно ухудшалась, наша шлюха, поскольку мы, похоже, оставались безучастны к ее прелестям, вздумала воздействовать на нас посредством интеллекта. Таким образом, мы постепенно вернулись к Гамлету, весьма озабоченные проблемой, быть в постели или не быть, опасностью (возникшей по ходу дела) подцепить дурную болезнь, денежными затруднениями, вопросами чести, словом, данным другой женщине etc., etc. Из странного болота, в котором увяз Гамлет, я так и не смог его вытащить. Что касается Офелии, то в моем сознании она неотделима от белобрысой девушки, сидевшей в подсобке, — всякий раз по пути в уборную я мимо нее проходил. Помню, какое у нее было жалкое, растерянное выражение лица. Впоследствии, если мне доводилось где-нибудь увидеть иллюстрацию с Офелией, плывущей по воде навзничь, с волосами, запутавшимися среди лилий, я вспоминал девушку из каморки бара, ее остекленевший взгляд и пряди цвета льна — такие же, как у Офелии. Что до самого Гамлета, то мой друг Дайкер с его "рассудочностью" оказался квинтессенцией всех Гамлетов, когда-либо мне встречавшихся. Он был неспособен даже на то, чтобы опорожнить свои недра. Честное слово! В его берлоге на стене была пришпилена записка, призывавшая: "Не забыть сходить в уборную!" Друзья, прочтя записку, напоминали ему об этом. А не то он умер бы от запора. Чуть позднее, когда Дайкер влюбился и начал подумывать о женитьбе, его истерзала проблема: как же ему быть с сестрой? Две сестрицы были практически неразлучны. И он был бы не он, если бы не влюбился в обеих. Время от времени они втроем ложились в постель якобы вздремнуть. И пока одна из сестер спала, он ублажал вторую. Для него было несущественно, которую избрать. Помню, каких мучительных усилий стоило ему объяснить мне все это. Ночи напролет мы обсуждали его дилемму, пытаясь найти решение...

Моя близкая дружба с Биллом Дайкером, как вы, разумеется, заметили, оттеснила Гамлета на второй план. Дайкер был Гам-

летом по жизни — его я на досуге мог изучать совершенно безболезненно. Теперь мне на ум приходит вот что: показательно, что в тот вечер, когда мы вознамерились "обсудить" Гамлета, последний канул в лету и более никогда никем из нас не был упомянут. И с того дня, думаю, Билл не прочел ни единой книги. Не прочитал даже *мою* книгу, подаренную ему мной по прибытии в Нью-Йорк, о которой он сказал мне перед отъездом: "Я попытаюсь заставить себя прочитать ее как-нибудь, Генри". Словно я возложил на него тяжкую повинность, от которой, невзирая на нашу давнюю дружбу, он всеми силами постарается уклониться. Нет, не думаю, что он хоть раз открыл мою книгу или когда-нибудь откроет. А я — его лучший и старейший друг. Ну и чудак же этот Билл Дайкер!

Я несколько увлекся рассказом о Билле Дайкере. На самом деле я хотел передать вам мои впечатления от Гамлета, накопившиеся за годы блужданий, годы пустопорожних разговоров, годы метаний. И рассказать, как с течением времени "Гамлет" смешался с множеством прочих книг, прочитанных и забытых, забытых настолько, что нынче сам Гамлет стал совершенно аморфным, абсолютно многоязычным, словом — этаким универсальным элементом. Во-первых, стоит произнести это имя, как перед глазами немедленно возникает картина: полумрак, сцена, а на ней исхудавший юноша с поэтической шевелюрой, в чулках и камзоле, держит речь над черепом в своей простертой правой руке (прошу иметь в виду, что я никогда не видел сценической постановки "Гамлета"!). На заднем плане разрытая могила и земляной холмик подле. На куче дерна — фонарь. Гамлет говорит — несет отборнейший бред, насколько я могу судить. Вот так же он стоял и бредил веками! И занавесу никогда не суждено опуститься. И никогда не прервется монолог. Что там должно произойти после этой сцены, я всегда представлял себе в том же духе, хотя, конечно, этого никогда не было и не будет на самом деле. Посреди беседы с черепом прибывает гонец — наверное, кто-то из этих Розенкранцев-Гильденстернов. Гонец что-то шепчет Гамлету на ухо, но Гамлет, погруженный в грезы, естественно, и ухом не ведет. Внезапно являются трое в черных плащах и вынимают из ножен мечи. "Прочь!" — кричат они, а Гамлет до смешного молниеносно и неожиданно обнажает свой клинок и бросается в бой. В результате короткой схватки нападавшие, разумеется, убиты. Убиты с молниеносной скоростью, будто во сне, а Гамлет стоит, уставившись на окровавленный меч точно так же, как за несколько мгновений до того уставился на череп. Только теперь — безмолвно!

Вот что я вижу, как я уже сказал, когда при мне упоминают имя Гамлета. Всегда одна и та же сцена, одни и те же персонажи, тот же фонарь, те же слова и жесты те же. И всегда под конец — безмолвие. Это, думается мне, после того как я урывками почитал Фрейда, определенно есть исполнение желаний. И я признателен Фрейду за то, что узнал об этом.

Образы — это еще полбеды. Когда я говорю о "Гамлете", приводится в действие иной механизм. Я называю это "вольные фантазии" — и касается это не только Гамлета, но и Вертера, "Освобожденного Иерусалима", Ифигении в Тавриде, Парсифаля, Фауста, "Одиссеи", Inferno (комедия!), сна в летнюю ночь, путешествия Гулливера, "Святого Грааля", Айеши[1], Уиды[2] (просто Уиды, а не какой-то определенной ее книги), Расселаса, графа Монте-Кристо, Эванджелины[3], Евангелия от Луки, "Рождения трагедии", Ессе Homo, Идиота, Геттисбергской речи Линкольна, упадка и *разрушения* Римской империи[4], "Истории европейской морали" Леки, "Эволюции Бога"[5], "Единственного и его собственности"[6], "Вместо книги"[7] и так далее, и тому подобное, включая "Алису в Зазеркалье" — ничуть не менее важную! Когда вся эта солянка сборная начинает бурлить у меня в мозгу, я изо всех сил стараюсь думать о Гамлете. Гамлет в мертвой точке с рапирой в руке. Я вижу призрака — но не Гамлета, а Макбета, — крадущегося по сцене. Гамлет окликает его. Призрак исчезает, и пьеса начинается. Представление вертится вокруг Гамлета. Гамлет ничего не делает — даже не убивает гонцов в финале, как я навоображал, едва заслышав его имя. Нет, Гамлет стоит вот тут, посреди сцены, и каждый норовит ткнуть его или уколоть, как дохлую медузу, распластанную на морском берегу. И так продолжается актов двенадцать, на протяжении которых множество людей гибнут от рук убийц или налагают на себя руки. И все *с речами*, понятное дело. Самые лучшие монологи всегда произносятся за миг до смерти. Но ни одна из этих речей никуда нас не ведет. Это как шахматная доска Льюиса Кэрролла. Сначала стоишь у ворот замка, и идет дождь — английский дождь, который так способствует

1. "Приключения Айеши" — серия романов английского писателя Райдера Хаггарда.
2. Уида — псевдоним английской романистки Марии Луизы Раме.
3. "Эванджелина" — поэма Г. В. Лонгфелло.
4. Э. Гиббон "История упадка и разрушения Римской империи".
5. Р. Райт "Эволюция Бога: Бог глазами Библии, Корана и науки".
6. Основной труд немецкого философа Макса Штирнера.
7. Б. Такер "Вместо книги: написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу".

росту репы, брюквы и тонкого руна у барашков. Потом гром и молния, и, может быть, снова является призрак. Гамлет болтает с ним запросто, ибо болтовня — его *ремесло*. Временами входят и выходят гонцы. Они шепчут то Гамлету на ухо, то Королеве, а то и Полонию. Жужжание, жужжание разносится повсюду все двенадцать актов подряд. Полоний время от вре́мени появляется в дурацком колпаке. Он держит за руку своего сынка Лаэрта и то и дело нежно смахивает перхоть с воротника Лаэртовой куртки. Все это, дабы пустить Гамлету пыль в глаза. Гамлет угрюм и неразговорчив. Он не снимает руки с эфеса рапиры. Глаза его сверкают. Выходит Офелия с длинными льняными косами, струящимися по плечам. Идет, сцепив руки на животе, и бормочет молитвы, перебирая четки. Она кажется застенчивой, скромной и глуповатой вдобавок. Притворяется, что не видит Гамлета, стоящего прямо у нее на пути. По дороге Офелия срывает лютик и подносит к ноздрям. Гамлет, убежденный, что у нее не все дома, делает ей авансы — проводит с ней время. Это форсирует развязку драмы. Следовательно, Гамлет и его лучший друг Лаэрт должны сражаться на дуэли насмерть. Гамлет, обычно не склонный к действию, тем не менее по-быстрому убивает своего возлюбленного друга, со вздохом протыкая его тело рапирой. Гамлет вообще постоянно вздыхает на протяжении всей пьесы. Таким образом он дает понять публике, что не пребывает в каталептическом трансе. А после каждого убийства скрупулезно вытирает клинок — платком, который обронила Офелия, уходя. Жестами своими Гамлет неуловимо смахивает на английского джентльмена. Потому-то я Вас прежде и спрашивал, не в Англии ли происходит действие пьесы? По мне, так именно в Англии, и никто не убедит меня в обратном. И вдобавок в самом сердце Англии, я бы сказал, где-то в окрестностях Шервудского леса. Королева-мать — та еще мегера. У нее вставные зубы, как и у всех английских королев испокон веку. Еще у нее выпирающий живот, который в конце все-таки напросился на острие Гамлетового клинка. Почему-то она у меня сливается с Черной Королевой из “Алисы”. Похоже, она только и говорит, что о масле, как сделать его погуще да повкуснее. Тогда как Гамлета заботит только Смерть. Диалог между этими двоими неизбежно приобретает странный оттенок. Сегодня мы бы назвали его сюрреалистическим. И, тем не менее, это определение — в самую точку. Гамлет подозревает свою мать в сокрытии отвратительного преступления. Подозревает, что был обгажен в собственном гнезде. Он бросает матери обвинение в лицо, но та — прирожденная ренегатка и всегда ухитряется вернуть

разговор в масляное русло. Дело в том, что королеве с ее чисто английским коварством почти удается внушить сыну, что он сам виновен в некоем чудовищном преступлении, просто оно никогда не будет раскрыто. Гамлет ненавидит мать от всего сердца. Он бы придушил ее голыми руками, если бы только мог. Но королеву-мать голыми руками не возьмешь. Вместе с дядей Гамлета они разыгрывают фарс, в котором выставляют Гамлета дураком. Тот демонстративно покидает зал еще до окончания пьесы. В вестибюле он встречает Гильденстерна с Розенкранцем. Те что-то шепчут Гамлету на ухо. Он говорит, что уезжает. В путешествие. Друзья уговаривают его остаться. Он выходит в сад, к крепостному рву, и тут его мечтательную задумчивость нарушает внезапно представшее взору зрелище: мертвая Офелия плывет по течению, локоны аккуратно свиты в косы, руки чинно сложены на животе. Кажется, она улыбается во сне. Никто не знает, сколько дней она пролежала в воде и почему ее тело выглядит так свежо, хотя по всем законам природы она должна бы уже раздуться от газов. Как бы то ни было, Гамлет решает произнести речь. Он начинает со своего знаменитого "Быть или не быть..." Офелия мирно дрейфует по течению, слух ей уже отказал, но она все еще мило улыбается, как и положено девушке из высших слоев английского общества, пусть даже и мертвой девушке. Именно эта тошнотворно-милая улыбка утопленницы приводит Гамлета в неистовство. Он не возражает против смерти Офелии, но эта ее улыбка сводит его с ума. Кровь застит ему взор, он снова вынимает рапиру из ножен и отправляется в бальный зал. И тут внезапно мы уже в Дании, в замке Эльсинор. Гамлета совершенно не узнать, он будто оживший призрак. Он врывается с намерением хладнокровно покрошить всех в капусту. Но ему навстречу выходит его дядя — бывший король. Дядюшка улещивает Гамлета и препровождает во главу стола. Гамлет отказывается есть. Он сыт по горло всем этим представлением. Он требует сообщить ему наконец, кто убил его отца — сей факт практически полностью ускользнул от его внимания, однако он неожиданно вспоминает о нем как раз во время трапезы. Звон посуды, общий тарарам. Полоний, чтобы сгладить неловкость, заводит милый спич о погоде, но Гамлет пригвождает его к шпалере. Король, притворяясь, что не замечает случившегося, подносит кубок к губам и провозглашает здравицу Гамлету. Гамлет осушает отравленный кубок, но не умирает на месте. Зато сам король падает бездыханный к Гамлетовым стопам. Гамлет протыкает его клинком, точно кусок холодной свинины. Потом, повернувшись к королеве-матери, он пронзает ей жи-

вот — очистительная клизма раз и навсегда. В этот момент появляются Розенкранц и Гильденстерн. Они обнажают клинки. Гамлет слабеет. Он валится в кресло. Появляются могильщики с лопатами и фонарем. Они протягивают Гамлету череп. Гамлет берет череп и, держа его в простертой руке, обращается к нему с красноречивым монологом. Теперь Гамлет при смерти. Он знает, что умирает. И вот он начинает свою последнюю и лучшую речь, которая, к сожалению, никогда не закончится. Розенкранц и Гильденстерн ретируются через боковую дверь. Гамлет остается в одиночестве за банкетным столом, пол усеян трупами. У Гамлета словесный понос. Занавес медленно опускается...

Мадам де Севинье
“В Вашем дружестве – вся моя душа, вся моя жизнь”

Из писем к дочери

Перевод с французского, вступление и примечания С. Райского

Маркиза де Севинье

Графиня де Гриньян

Мадам де Се́винье (Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье; 5 февраля 1626, Париж — 17 апреля 1696, Гриньян, Прованс).

Отец, Сельс-Бенинь де Рабютен, барон де Шанталь, погиб в сражении с англичанами через год после ее рождения, мать умерла в 1633 году. Юная сирота воспитывалась родственниками матери и получила превосходное по тем временам образование. Она прекрасно владела итальянским языком, в меньшей степени латынью и испанским.

В 1644 году вышла замуж за маркиза Анри де Севинье (1623—1651). После гибели на дуэли ветреного мужа посвятила себя воспитанию детей,

© С. Райский. Перевод, вступление, примечания, 2015

дочери и сына. Жила преимущественно в Париже, с 1677 года в отеле Карнавале квартала Маре.

В 1669 году дочь, которую она страстно любила, вышла замуж. Два года спустя она покинула Париж, так как ее муж, граф де Гриньян, королевским указом был назначен наместником в только недавно ставший частью Франции Прованс. Желая заглушить тоску, вызванную разлукой с дочерью, маркиза де Севинье начала переписку, которая и обессмертила ее имя.

Зиму 1695—1696 года маркиза проводила в замке дочери в Гриньяне, где скончалась от скоротечной горячки. Была похоронена в Гриньянской церкви. Во время Великой французской революции могила ее была вскрыта, останки уничтожены.

Удивителен феномен писем маркизы де Севинье: многие в России о них слышали, многие о них знают, даже могут припомнить, что это письма любящей матери к любимой дочери, но никто их не читал, ибо последний, далеко не полный их перевод был сделан в далеком уже 1903 году. А между тем письма маркизы некогда были хорошо известны. В своих произведениях, дневниках их неоднократно упоминали и цитировали друг А. С. Пушкина А. И. Тургенев, Владимир Набоков, Ирина Одоевцева, Евгения Гинзбург, Марсель Пруст, Александр Дюма, Проспер Мериме, Франсуа Мориак и многие другие. Альфонс де Ламартин в свое время назвал маркизу "Петраркой прозы" во французской литературе.

По всей вероятности, в XIX веке и в начале XX в России эти письма были гораздо шире известны по причине отсутствия надобности в переводе. Так, в статье "Эпистолярная литература" Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890—1907) мы читаем: "...переворот сделан письмами г-жи Севинье, которая умеет быть сильной без преувеличений, наивной без кокетства; она вполне овладела тайной естественности".

В России XVII века жанр частного письма представлен лишь немногими известными источниками, к примеру, перепиской Антиоха и Марии Кантемир (кстати, на новогреческом и итальянском языках), личным архивом казненного Петром I стольника Андрея Ивановича Безобразова, да двумя небольшими собраниями частной корреспонденции известных военных и политических деятелей XVII века князей А. И. Хованского и В. В. Голицына. Во Франции же этот век обильно представлен блестящими эпистоляриями самого Людовика XIV, кардиналов де Ришелье и де Реца, Сен-Симона, Бюсси-Рабютена, маркиза де Ларошфуко, госпожи де Лафайетт, мадемуазель де Лавальер, мадам де Ментенон, Нинон де Ланкло и многих других. Однако письма маркизы де Севинье выделяются и в этом ряду.

В чем же особенность и интерес писем г-жи де Севинье для сегодняшнего читателя?

Маркиза де Севинье — это прежде всего писатель поневоле. Она и подумать не могла, что ее личная переписка с дочерью когда-нибудь может стать достоянием общественности. Ее письма — это не взвешенный ана-

лиз происходящего вокруг в расчете на вдумчивого и заинтересованного читателя, не наблюдения и заметки избалованной и скучающей представительницы высшей родовой знати, но глубоко личные, полные искреннего чувства послания любящей матери к дочери. Они писались только для одного адресата, одних глаз и могли появиться лишь в той, особой, атмосфере, которая связывала этих женщин. Как неоднократно говорила сама маркиза, переписка с дочерью составляла смысл всей ее жизни. Это какой-то льющийся сам по себе нескончаемый разговор, зачастую понятный лишь им одним, когда из соображений безопасности (перлюстрация по воле короля уже тогда была обычным явлением) опускаются имена, события и персонажи маскируются литературными аллюзиями и прочее. В условиях острого в ту пору дефицита информации (еженедельная "Французская газета" начинает выходить только в 1631 году, а "Галантный Меркурий" выходит лишь раз в месяц) и повышенного спроса на новости из Парижа, из королевских резиденций в Версале либо в Сен-Жермене частная переписка во многом помогала заполнить этот вакуум.

Ни одно из писем не было издано и не попало в чужие руки при жизни г-жи де Севинье. Все письма к дочери писались сразу же набело, без черновиков, что было немыслимо в жестких рамках века классицизма. Совершенно очевидно, что у маркизы никогда не было намерения опубликовать их, именно поэтому после себя она не оставила ни копий с подлинников, ни черновиков, ни даже общего их перечня. Признание и успех к маркизе де Севинье пришли сами, вопреки ее собственному желанию и по воле немыслимого стечения бесчисленных, но счастливых обстоятельств.

Самим же наличием этих писем мы обязаны прежде всего почтительности, любви и аккуратности дочери, которая бережно и до самой своей кончины хранила у себя в замке письма матери. По решению Полины де Симиан, дочери графини и внучки маркизы, первое, очень неполное, собрание писем вышло в свет лишь спустя пятьдесят лет после кончины их автора. Трудами скрупулезного издателя оно было приведено "в соответствие с духом времени" (то есть тщательно отредактировано и выверено). По желанию заказчика, подлинники писем тогда же были преданы огню. И всего лишь последние пятьдесят лет, благодаря поискам и работе исследователей, мы имеем возможность читать эти тексты (по крайней мере, большую часть из них) в том виде, в котором они некогда были написаны. Первое полное собрание писем маркизы в трех томах с подробным комментарием и аннотациями появилось лишь в 1953—1963 годах в "Bibliothèque de la Pléïade". Наиболее же удачной считается следующая их публикация в том же издательстве "Галлимар" в 1974 году под общей редакцией Роже Дюшена.

С течением времени и в отсутствие переводов имя маркизы де Севинье превратилось в избитый символ слепой материнской любви и преданности. Однако, вчитываясь в строчки писем, вдруг отчетливо понимаешь, что это прежде всего диалог двух зачастую плохо совместимых темпераментов, двух совершенно по-разному сложившихся женских судеб. Дочь до

болезненности застенчива и скрытна, мать порой игрива и даже кокетлива, первая склонна поступать по зрелому размышлению, вторая же предпочитает полагаться на случай, мать полна оптимизма и жизнелюбия, дочь больше склонна к мечтательности, уединенности, маркиза умна, остра на язык, тяготится условностями и вечно сомневается в ответных чувствах дочери. Графиня столь же умна, но при этом, напротив, сдержанна, отдает должное приличиям и соображениям респектабельности и разрывается между любовью к мужу и нежной привязанностью к живущей вдалеке матери. Одной отмерено семьдесят лет земного бытия, а ее любимой дочери на целых тринадцать лет меньше.

После того как Франсуаз-Маргарит, дочь маркизы, в 1669 году выйдет замуж за дважды к тому времени овдовевшего тридцатисемилетнего графа де Гриньяна, им с матерью предстоит прожить еще целую четверть века, и более восьми лет из этой четверти — в разлуке. За это время дочери будет написано около 1000 писем, то есть по одному каждые три дня, два письма в неделю, и так на протяжении восьми лет. Первое из этих писем было написано 1 июня 1669 года, когда автору едва исполнилось 45 лет, а последнее — 20 декабря 1695-го, за год до ее кончины. Дочь, надо сказать, отвечала с такой же регулярностью, однако ее писем время не пощадило.

К слову сказать, маркиза вовсе не была любительницей коротать время за написанием писем. Число ее адресатов за всю жизнь едва перевалило за тридцать.

В чем же прелесть и необычность этих писем? Дело в том, что в них, как и в самой жизни, есть все: тревоги, заботы, мелкие радости, наблюдения за окружающими, за модой, ценами и нравами эпохи. В них можно найти практические советы, скажем, о пользе и рецептах приготовления какао, о том, как похудеть, как избавиться от боли в суставах, где купить подешевле отрез ткани по случаю. Все это перемежается анекдотами, путевыми заметками, рецептами снадобий, рассказами о пророчествах модного тогда Нострадамуса, светскими сплетнями, рассказами о литературных новинках и прочем. Но за всем этим то и дело наталкиваешься на философские обобщения, точные и острые свидетельства очевидца о событиях, которые с течением времени стали историей Франции: судебный процесс над всемогущим Никола Фуке, трагическая гибель лучшего, по признанию Наполеона, французского полководца всех времен маршала де Тюренна, самоубийство легендарного кулинара Ваттеля, истории о нашумевших убийствах, эпидемиях, отравлениях и прочем. А чего стоит повседневная жизнь, в которой задействованы кардинал де Рец, Мадемуазель де Монпансье, графиня де Лафайетт, Жан де Лафонтен, герцог Франсуа де Ларошфуко, маркиз де Помпонн, госпожа де Ментенон и многие, многие другие. При этом письма буквально пропитаны сильными чувствами и переживаниями: тревогой и страхами за близких, заботами о дочери и внуках, почтительным и временами ироничным уважением к зятю, любовью и преданностью к сыну и близким ей людям, точными, иногда нелицеприятными наблюдениями и

оценками. И все это написано на одном дыхании, легко и непринужденно, настолько, что порой не обращаешь внимания на некоторую синтаксическую утяжеленность, встречающиеся стилистические огрехи и даже грамматические ошибки, на которые потом неоднократно будут указывать многочисленные исследователи эпистолярного наследия маркизы.

За четыре века своего существования многое из этих писем разошлось на бессмертные цитаты. Чего стоят хотя бы вот эти: "Чем больше я познаю людей, тем больше люблю собак", "Неверность могут простить, но не забыть", или "Чтобы понять, как мы надоедливы, достаточно вспомнить, какими занудами бывают другие, когда говорят с нами", или "Мы всегда готовы стоически переносить несчастья ближнего", или "Долгие надежды ослабляют радость так же, как долгие болезни ослабляют боль", или "Нет таких наслаждений и радостей, которые не теряли бы этого названия, когда они достаются легко и во множестве".

Господствующий доныне взгляд на это наследие — историографический. В нем отыскивают характерные черточки, детали эпохи, отголоски и свидетельские показания о тех или иных событиях далекой уже истории. Именно в силу этих причин переводы писем зачастую так неполны и фрагментарны. Но сами французы ценят эти письма, в первую очередь, за их непосредственность, добросердечие, благорасположенность к роду человеческому, а также легкость и искренность слога. Маркиза в своих письмах кто угодно: любящая мать, заботливая бабушка, ворчливая теща, верный друг, но уж историограф — в самую последнюю очередь. Для французов вся прелесть переписки не в событиях, а во взаимоотношениях дочери с матерью.

Естественный вопрос: а почему выбраны именно эти письма? На наш взгляд, эта подборка способна дать некое представление обо всем собрании в целом. Так, она охватывает значительный период (пять из восьми с половиной лет в разлуке), письма написаны в разных условиях и из разных мест: из Парижа, из деревни, с дороги. Они различны по объему: от нескольких строчек до нескольких страниц, написанных в течение двух-трех дней. Кроме того, большая их часть представлена в хронологической последовательности, что позволит читателю обратить внимание на архитектонику переписки.

Полных переводов на русский язык этих писем не существует.

Г-жа Севинье неодинакова во всем, вплоть до глаз и век. У нее разноцветные глаза, а глаза — зеркало души. Темперамент у нее холодный... У нее весь жар заключен в уме.

Бюсси Роже де Рабютен,
член Французской академии,
кузен маркизы де Севинье

Мадам де Севинье — первая во всем своем столетии по эпистолярному стилю, даже пустячки она излагает с грацией невероятной!

Франсуа-Мари Аруэ Вольтер

Случайно раскрыл томик де Севинье и ахнул: “Ces beaux jours de cristal du début de l’automne...”* Ведь это же тютчевский “день как бы хрустальный”, и не может быть ни малейшего сомнения, что Тютчев этот образ у мадам де Севинье заимствовал! О совпадении не может быть и речи.

Георгий Адамович
Из записных книжек, 1947 г.

Госпоже де Гриньян

Париж, пятница, 10 апреля 1671 г.

В среду я отправила Вам письмо почтой, вчера утром еще одно — с Магалотти, сегодня утром — снова почтой, однако одну роскошную оказию вчера вечером все-таки упустила. Отправилась погулять в Венсенн со своими домашними и со всеми своими Трошами[1]. Там повстречалась мне цепь галерников на Марсель[2]. Через месяц они будут там — чем тебе не оказия. Но подумалось тогда о другом: вот бы и мне с ними. Среди них есть некто Дюваль[3], судя по его речам, он неплохо образован. Представляю, как Вы бы их увидели, стали бы вглядываться в лица и вдруг с изумлением узнали бы меня в толпе бредущих за цепью женщин. Хочу, чтобы Вы знали,

* “Эти чудные хрустальные дни начала осени” (*франц.*).

как ласкают отныне мой слух эти имена: Прованс, Марсель, Экс, вот только Рона, пожалуй, эта треклятая Рона, да еще Лион мне не по нутру. А Бретань и Бургундия теперь, что полярные страны, есть они, нет их — все одно. Остается только повторить за Куланжем[4]:

От недугов, самых злых,
Орвиетан людей больных
Исцелит чудесно сразу...[5]

Это так мило с Вашей стороны, дорогая моя, упрашивать нашего аббата запретить мне делать Вам подарки. Что за причуды! Как так! О каких подарках речь? Разве только о *Газете*[6], которую я Вам периодически посылаю. Воля Всевышнего и без того смиряет мои желания, так что ни аббат, ни кто другой не в силах заставить меня отказаться от подарков для Вас. Это такое счастье, так что в следующий раз лучше за меня порадуйтесь. Большей благодарности мне и не надо[7].

Ваши письма восхитительны, готова побожиться, что они написаны не с голоса местных дам. Сдается мне, что, в довершение ко всему, тут снова не обошлось без г-на де Гриньяна, он один, похоже, способен Вас понять и проявить дружеское участие. Охраняйте же его добросердечие Вашей душевной кротостью, однако знайте: если бы Вы оба вдруг вздумали разлюбить меня, пусть и каждый по-своему, то я почла бы это черной неблагодарностью. Нынешнее мнение об отсутствии в мире этого чувства в силу причин, которые мы с Вами живо обсуждали, проистекает, на мой взгляд, из учения Декарта, а обратное — от Аристотеля. Вам известно, что взгляды последнего мне ближе; и на вопрос о неблагодарности в том числе[8]. Те же, кто оспаривает ее наличие в мире, получаются истцами и судьями одновременно. В этом случае, моя милая, Вы могли бы выставить себя маленькой, неблагодарной девочкой; но, к счастью и мне на радость, этого не случилось, и только поэтому я позволяю себе лишний раз засвидетельствовать свои чувства к Вам таким вот необычным образом.

Прощайте же, моя разлюбезная, пора заканчивать. Вечером напишу еще, расскажу, как пройдет день. Мы не теряем надежды найти желающих снять Ваши комнаты; когда это касается Вас, то я, заметьте, ничего не забываю. Это для меня, как для иных — личная корысть.

1. Мари Годд де Ла Перьер Ла Трош — дочь советника парламента в Бретани, подруга г-жи де Севинье. Так как ее отец был служащим, то ее не приглашали в дома знати, в

частности, к г-же де Лафайетт, что порой вызывало размолвки подруг.

2. Марсель — главный город Прованса, место стоянки галерного флота. Приговоренные к галерам обычно сковывались цепью в единую вереницу, численность которой могла колебаться от 4 до 5 тысяч человек.

3. Дюваль — слуга Принцессы де Монморанси (1594–1650), супруги принца де Конде, к которому Принцесса одно время испытывала сердечную привязанность. Он же, в свою очередь, возненавидел ее пажа Жана-Луи де Рабютена, дальнего родственника г-жи де Севинье, к которому Принцесса давно питала нежные чувства. Однажды между соперниками вспыхнула ссора, и они схватились за шпаги. Принцесса, пытаясь их разнять, получила легкое ранение. Дюваля арестовали и приговорили к галерам (именно о нем г-жа де Севинье упоминает в письме), но еще до прибытия в Марсель он был отравлен. Юному Рабютену удалось скрыться.

4. Кристоф Куланж (1607–1687) — Добрый Друг, дядя маркизы де Севинье, ее советчик и ближайший наперсник во всех деловых вопросах. С 1624 году настоятель аббатства в Ливри. Маркиза называет его наш аббат.

5. Строка из комедии Мольера "Любовь — целительница" (акт II, сцена VII. Перевод Р. Венгеровой). Вероятно, намек на строчку из песни своего кузена, Филиппа-Эммануэля де Куланжа, с пародией на Мольера. Орвиетан — модный в то время лечебный препарат на основе опия.

6. Газета — "La Gazette" — французская газета, издававшаяся с 1631 года. Традиционно считается первой европейской газетой, отвечающей современным стандартам. Издателем "La Gazette" был парижский врач Теофраст Ренодо, получивший от Людовика XIII специальный патент на распространение новостей на территории Франции. "La Gazette" являлась важным инструментом общественно-политической жизни Франции. Так, отдельные статьи, посвященные важнейшим событиям международной и национальной политики, писал сам Король. Тираж "La Gazette" составлял свыше 1000 экземпляров, газета печаталась типографским способом. Прекратила свое существование в 1915 году.

7. Маркиза в письмах часто упрекает дочь за нежелание принимать от нее подарки.

8. Г-жа де Севинье не делает точных ссылок на Декарта. Предпочесть Аристотеля Декарту — значит для нее отдать предпочтение устоявшемуся мнению в противовес новым веяниям.

В пятницу вечером, 10 апреля

Запечатываю это письмо у г-на де Ларошфуко, который шлет Вам сердечный поцелуй. Он в полном восторге от Вашей от-

поведи этим каноникам и отцу Демару[1]. Мне нравится писать Вам про всякие мелочи, Вы так живо на них отзываетесь. Он просит передать, что Ваш светлый образ так и стои́т у него перед глазами. Обещает написать, если узнает что-нибудь достойное Вашего внимания. Утратив всякую надежду встать на ноги, он не покидает своего особняка. Когда его выносят в гости или до кареты, чтобы подышать свежим воздухом, то для него это настоящий праздник. Он поговаривает о поездке на воды; я советую ехать в Динь[2], другие — в Бурбон. Обедала в Болтадене[3], было до уморительности невинно. За столом все словно языки проглотили, так что удалось только поболтаденить, серьезного разговора, как в прошлый раз, не получилось. Была у Мадмуазель[4], она все еще нездорова.

Дня три-четыре назад Бранка[5] перевернулся в канаву. Сам он этого даже не почувствовал и все спрашивал у сбежавшихся на помощь, в чем дело. Все стекла вдребезги, а голове хоть бы что, благо она более удачлива, нежели умна. Это событие ничуть не нарушило его всегдашней мечтательности. Сегодня утром я послала ему записочку, где рассказала, как его карета угодила в ров, и как сам он при этом едва не сломал себе шею, и что, как водится, узнает об этом последним; я не могла не засвидетельствовать своего беспокойства, теперь вот сижу и жду ответа.

Г-жа графиня и г-н де Бриоль[6] шлют Вам тысячу приветов.

Прощайте же, бесценное мое дитя, пора запечатывать пакет. Верю, у Вас нет сомнений в моей искренней привязанности, поэтому о ней сегодня умолчу.

1. Демар Туссен (1599–1687) — отец-ораторианец, знаменитый прорицатель.
2. Динь — город с термальными источниками, расположенный недалеко от Экса. Источники Бурбона неподалеку от Ла-Рошели в те времена пользовались большей популярностью.
3. "Сходить в 'Болтаден'" — значит для маркизы обменяться новостями, поболтать с подругами. В данном случае это означает зайти поболтать к г-же де Лаварден. Разница смыслов между глаголами "поболтаденить" (поболтать) и побеседовать для г-жи де Севинье совершенно очевидна.
4. Мадмуазель — титул незамужних племянниц и двоюродных сестер короля. Великая Мадмуазель — Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627–1693), дочь Гастона, герцога Орлеанского, брата Людовика XIII, и его первой жены Марии де Бурбон, герцогини де Монпансье. Кузина Людовика XIV и Месье. От матери она унаследовала огромное состояние. Была вдохновительницей и активной участницей второй Фронды (1649–1652). Г-жа де Фиеск и г-жа де Монгла из свиты принцессы были

близкими подругами маркизы де Севинье. Сама маркиза в круг приближенных Мадмуазель не входила, но они были знакомы через кардинала де Реца и Бюсси. В 1665 г. маркиза де Севинье в сопровождении своей подруги г-жи де Лаварден осмеливается нанести визит опальной Мадмуазель в ее замке Сен-Фаржо неподалеку от города Оксер, что нашло отражение в мемуарах Мадмуазель.

5. Граф Шарль де Бранка (1618–1681) – младший сын герцога де Виллар-Бранка. Был очень близок к Фуке, а его жена называлась в числе дам, которых скомпрометировала их переписка с Фуке: во время процесса над ним эта переписка стала достоянием гласности. Их дочь вышла замуж за принца д'Аркура, дальнего родственника графа де Гриньяна.

6. Граф Габриэль де Бриоль (на самом деле Бриор) – сын одного из секретарей Великого Конде, его первый шталмейстер. Впоследствии посол в Савойе, затем в Голландии. По словам Сен-Симона его отличали обостренное понятие чести, здравый смысл, толика ума и обилие друзей.

Париж, воскресенье, 26 апреля 1671 года

Сегодня воскресенье, 26 апреля; это письмо уйдет только в среду, скорее даже не письмо, а изложение предназначенного для Вас рассказа Морёя[1] о происшествии с Вателем[2] в Шантийи. В пятницу я уже писала Вам, что он заколол себя кинжалом; теперь про то же, но с подробностями.

Король прибыл в четверг вечером. Охота, светильники, лунный свет, прогулка, застолье под открытым небом посреди моря нарциссов, все честь по чести. Отужинали. Кое-где не хватило жаркого, потому что из-за наплыва гостей пришлось в спешке накрывать дополнительные столы. Ватель принял все это близко к сердцу. Он то и дело повторял: "Я обесчещен, такого позора мне не снести". Потом подошел к Гурвилю[3]: "Что-то голова кружится, двенадцатую ночь подряд не смыкаю глаз. Помогите мне распорядиться". Гурвиль чем мог помог ему. Однако эта история с нехваткой жаркого не за королевским, а где-то там за двадцать пятым столом, видимо, не шла у него из головы. Гурвиль поставил в известность Господина Принца. Тот лично поднялся к нему в комнату: "Ну же, Ватель, все хорошо, Король более всего остался доволен ужином". А тот опять за свое: "Монсеньор, Ваша доброта убивает меня окончательно; я-то знаю, что жаркого[4] не хватило на двух столах". – "Пустяки, – возразил Господин Принц, – забудьте про это: все хорошо". Пришла ночь. Фейерверк не удался; откуда-то наползли тучи. Обошелся он, кстати, в шестнадцать тысяч франков. В четыре утра Ватель снова на ногах; мечется туда-

сюда — все еще спят. Тут на глаза ему попадается кто-то из мелких поставщиков с двумя корзинами утреннего улова; он спрашивает его: "И это все?" Тот отвечает: "Ну да, сударь". Откуда ему было знать, что Ватель разослал заказы по всему побережью. Время идет; никто ничего не везет. В голове у него помутилось; он решил, что подвоза больше не будет. Тогда он бросается к Гурвилю: "Сударь, этого позора мне уж точно не пережить, моя честь, доброе имя — все прахом". Гурвиль возьми еще да и пошути в его адрес. Ватель идет в свою комнату, упирает рукоять шпаги в закрытую дверь и направляет клинок себе в сердце, но пронзает его только с третьего раза, так как два первых были неудачными, и падает замертво. А тем временем со всех сторон тащат морскую снедь. Все спрашивают Вателя, ждут указаний. Поднимаются в комнату. Дверь не открывается, ее взламывают и в луже крови видят Вателя. Тут же докладывают Господину Принцу, тот в отчаянии. Господин Герцог залился слезами; его выезд в Бургундию строился в расчете на Вателя. Господин Принц с глубокой печалью рассказал обо всем Королю. Решили, что таким манером Ватель попытался защитить свое доброе имя; к этому все отнеслись с пониманием. Ему воздавали должное и одновременно проклинали за решительность. Король заявил, что именно из опасения доставить ненужные хлопоты он пять лет воздерживался от приезда в Шантийи. И что в этот раз просил господина Принца не накрывать более двух столов, а об остальном не беспокоиться; он поклялся, что впредь не потерпит от господина Принца подобного непослушания. Но, увы, бедному Вателю этим уже не поможешь. Гурвиль изо всех сил старался восполнить утрату Вателя: и у него это получилось. Обед удался на славу, потом полдничали, ужинали, гуляли, забавлялись, немного поохотились. Повсюду витал аромат нарциссов, и все было как в сказке. Вчера, в субботу, история повторилась. Под вечер Король отбыл в Лианкур[5], где заказал себе medianoche[6], сегодня он, должно быть, еще там.

Вот все, о чем поведал мне Морёй, дабы передать это Вам. Тут и сказке конец, что было дальше, мне неведомо. Г-н д'Аквиль, видимо, сам как очевидец опишет Вам подробности, однако, зная наперед, что, не в пример мне, он сделает это как курица лапой, я решила рассказать все сама. Делаю это весьма подробно, ибо случись нам поменяться местами, мне была бы интересна любая деталь, поэтому и пишу Вам про всякие мелочи.

1. Альфонс де Морёй, сеньор де Лиомер. В 1685 г. займет место главного управляющего дома Конде. Описание об-

стоятельств смерти Вателя в его мемуарах полностью совпадает с описанием маркизы де Севинье.
2. Франсуа Ватель (урожденный Фриц Карл Ватель, 1631–1671) – французский метрдотель швейцарского происхождения на службе у Николя Фуке, затем у принца Конде; покончил самоубийством из опасения, что к столу приглашенных принцем Конде именитых гостей в Шантийи (фамильный замок семейства Конде в Пикардии) не поспеет свежая морская рыба. Сегодня его имя превратилось в символ бескорыстной преданности кулинарному искусству.
3. Жан-Еро де Гурвиль родился в 1625 г. в замке Ларошфуко, где поначалу служил лакеем, а с 1646-го – управляющим. Затем служил у Мазарини, потом у Фуке, а позже был назначен главным интендантом Великого Конде. Не исключено, что именно это обстоятельство могло послужить истинной причиной самоубийства Вателя, служба которого могла оказаться не совсем бескорыстной. Всю жизнь хранил верность Ларошфуко, на одной из сестер которого, как поговаривали, был тайно женат.
4. На двух из шестидесяти. А поначалу для гостей планировалось накрыть лишь двадцать пять столов.
5. Лианкур – фамильный замок семейства Ларошфуко в Пикардии.
6. Поздний мясной ужин, полуночное разговенье после поста (*исп.*). Лианкур находился в нескольких лье от Шантийи.

Начато в Париже, в понедельник, 27 апреля 1671 г.[1]

Ваши приступы слабости очень мне не по душе. Вечно у меня, о чем ни подумаю – все сбывается, а думается про плохое; похоже, и на этот раз угадала. Милая моя девочка, если я не ошиблась в худших своих опасениях, то позаботьтесь, прежде всего, о себе. Срок ранний, постарайтесь, чтобы Вас не растрясло во время поездки в Марсель; пусть бы все немножко устоялось. Помните, что здоровье у Вас хрупкое и что в прошлый раз все закончилось благополучно только потому, что Вы были благоразумны, и только поэтому. Я неспокойна уже потому, что мой отъезд в Бретань нарушит привычное течение нашей переписки. Коли Вы и впрямь забеременели, то поверьте, что нет у меня других помыслов, кроме как исполнить любое из Ваших желаний; любую Вашу прихоть я почту для себя руководством к действию, а все свои возражения и увещевания отложу на потом[2].

Надеюсь, что новости о братце Вас позабавили. У него сейчас передышка. С Нинон они продолжают видеться ежедневно, но только как друзья. Недавно они зашли с ней в какое-то

местечко, где за столиками сидели пятеро или шестеро мужчин. По выражению лиц было ясно, что ее приняли за содержанку. Она тут же поспешила заявить: "Напрасно Вы так, господа, между нами ничего нет, поверьте, мы не более, чем брат и сестра". Вот уж, действительно, фрикасе[3]. Я забираю его с собой в Бретань, где попробую укрепить его дух и привести в порядок тело. Мы с Ла Муссом[4] позаботимся, чтобы он отмолил все свои грехи.

Г-н и г-жа де Виллар вместе с крошкой Сен-Жеран накануне своего отбытия шлют Вам приветы. Они хотят заказать копию с Вашего портрета, что стоит на камине, чтобы взять ее с собой в Испанию[5]. Малышка моя[6] в своих восхитительных кружевах целый день пробыла со мной в комнате, освящая своим присутствием тот самый дом, где все наполнено воспоминаниями о Вас и где ровно год назад Вы изнывали словно пленница; ныне все приходят его смотреть, восторгаются, но хоть бы кто захотел снять[7].

Недавно я ужинала у маркизы д' Юксель, где были еще маршальша д' Юмьер, г-жа д'Арпажон, де Беринген, де Фронтенак, д' Утрелез, Раймон и Мартен[8]. Вспоминали про Вас.

Заклинаю Вас, доченька, честно писать мне про свое самочувствие, про планы, про то, чем я могу помочь. Ваше состояние приводит меня в уныние; боюсь, что и Вам не слаще. Только и видится, что тысячи возможных осложнений, а мысли так и роятся в голове, не давая покоя ни днем ни ночью.

1. Письмом считается все то, что доставлялось одним курьером. Таким образом, это "начато" в середине письма на самом деле является продолжением письма с рассказом о самоубийстве Вателя.
2. Речь о различии во взглядах матери и дочери на проблему деторождения.
3. Маркиза цитирует Нинон де Ланкло, любовницу сына, которая называла его "фрикасе из мороженой тыквы".
4. Пьер де Ла Мусс — прелат и доктор теологии, почитатель Декарта. Был учителем г-жи де Гриньян. Ходили слухи, что он приходился внебрачным сыном г-ну де Куланжу, во всяком случае, после смерти де Куланжа он получил в наследство пожизненную ренту.
5. Маркиз де Пьер Виллар (1623–1698) — генерал-лейтенант, посол в Вене и трижды — в Испании, в Савойе, Дании. Война помешала г-же де Виллар выехать к мужу в Испанию, ибо тот был отозван во Францию.
6. Речь о Мари Бланш, первой дочери супругов де Гриньян, родившейся 15 ноября 1670 г.
7. Маркиза де Севинье и чета де Гриньян с 1 апреля 1669 г. сняли на три года дом на улице Торини. После отъезда графини они хотели сдать первый этаж в поднаем до конца срока аренды, чтобы частично оправдать расходы.

8. Все, кто собрались в тот день к ужину, были либо родственниками, либо ближайшими друзьями г-жи де Севинье.

Ливри[1], *среда 29 апреля*

С того момента, как я принялась за это письмо, довелось мне совершить одно приятнейшее путешествие. Из Парижа я выехала накануне рано утром. К обеду думала поспеть к Помпонну[2]. Наш добрейший старикан уже ждал меня[3]; я рада каждой возможности лишний раз с ним увидеться. Меня поразила его просветленность; чем ближе могила, тем более от него света. Движимый одной лишь заботой и любовью, он со всей серьезностью отчитал меня за нежелание следовать истинной вере, обозвал при этом сумасбродной, премиленькой язычницей; сказал, что в Вашем лице я сотворила себе кумира; что подобное идолопоклонство не менее опасно, чем любое прочее, хотя мне самой оно не кажется столь уж предосудительным; что мне, наконец, самое время подумать и о себе.

Все это он говорил с таким напором, что мне и слова не удалось вставить. Наконец, после шести часов этой милой и вместе с тем серьезной беседы я покинула его и приехала сюда, где уже вовсю торжествует май.

Соловей, кукушка, славка
В лесах весну встречают сладко.

Тут я весь вечер и прогуляла в полном одиночестве. Снова вернулись все мои тревоги, но про них лучше умолчу. Сегодня утром принесли Ваши письма от 22-го числа этого месяца. Из какого же далека добираются они в Париж! После обеда села за письмо прямо в саду, где не то три, не то четыре соловья совсем вскружили мне голову. Вечером вернусь в Париж, тогда и запечатаю пакет прямо перед отправкой.

В тот момент, когда я повстречала галерников, моей привязанности к Вам, должно быть, не хватило толики пыла. Тогда бы я пошла с ними, чтобы повидать Вас, вместо того чтобы думать про одни только письма; и я сама себя корю за это. То-то бы Вы изумились, завидев меня в Марселе в столь славном окружении! Вы там, надо думать, все время в паланкине? Ох уж эти Ваши причуды! Мне казалось, что эти носилки Вам по душе, только когда они прочно стоят на земле; Вы очень переменились. Теперь я понимаю тех, что злословят на сей счет; клянусь честью, не покинь Вы меня в свое время, ни за что Вам не пришло бы в голову взойти в подобный экипаж, а

г-н де Гриньян пусть бы и сидел в своем Провансе. Как же раздосадовало меня это Ваше положение, хоть я и знала, что так оно и случится! Берегите же себя, дорогая моя. Хочу напомнить, что наша *краса Гизардия,* будучи наперед уверена в счастливом разрешении, так оступилась, что три дня была на волосок от смерти; это ли не лучшее предостережение![4]

Г-жа де Лафайет по-прежнему побаивается, как бы Ваши прелести не обернулись угрозой для жизни. Она с готовностью уступает Вам подле меня первое место. Когда у нее все хорошо, она откровенничает, что идет на это скрепя сердце, зато теперь все как надо; за одно это второе место должно быть по праву отдано ей. Она его и получает; Ла Торш от этого только что не умирает[5].

У меня все своим чередом; свой черед и для поездки в Бретань. Это время нам придется прожить по-разному. Для меня оно будет омрачено заседаниями местных штатов в Витре в конце июля; все это мне в тягость. К тому времени Вашего братца уже и след простынет. Милая моя, Вы с такой радостью торопите время. Вы не ведаете, что творите; не успеете оглянуться, как оно и Вас за собой потянет. Поначалу оно будет казаться таким покладистым, но, вздумав однажды его остановить, Вы вдруг поймете, что не властны над ним. Когда-то давно я тоже наделала всех этих ошибок; теперь вот раскаялась; и пусть ко мне время оказалось более участливым, чем к кому иному, но те тысячи и тысячи приятных мелочей, которых я по его милости лишилась, наглядно показывают, сколь разрушительна его поступь.

Итак, вы полагаете, что Вашим актерам достанет духа читать со сцены Корнеля? От его строк, кстати, порой прямо дух захватывает. Я захватила с собой один томик и он весьма скрасил мне вчерашний вечер. Неужели в присланных мною книжках Лафонтена не отыскалось пяти-шести басен на Ваш вкус? Мы недавно у г-на де Ларошфуко прямо-таки упивалась ими. А строчки про обезьяну и кота даже заучили наизусть:

> ...Для двух пройдох теплее нет местечка,
> Ни брат, ни сват обоим не указ.
> Им лакомый кусок достанься на утеху:
> Соседей, родичей не созовут на пир:
> Мартышка спрячет все, а кот же, вот потеха,
> Охоте на мышей предпочитает сыр.

Ну и так далее. Как это точно. А про *Тыкву?* А про *Соловья?* Все они достойны войти в первый том[6]. Я совсем из ума вы-

жила — писать про такие мелочи; это Вам моя праздность в Ливри отливается.

Вы написали Бранка очаровательное письмецо. Он вчера исписал для вас целую десть[7] бумаги, довольно неплохая рапсодия[8] получилась. Нам с г-жой де Куланж он прочитал все вслух. Я попросила его: "Может, Вы закончите к среде и дадите мне?" А он в ответ, что и пальцем-де не пошевелит, что вовсе не желает, чтобы это дошло до Вас, что все это глупо и мелко. "А за кого же Вы нас принимаете? Нам-то Вы прочитали". — "Да, а ей — не хочу". Вот и все, иных пояснений не последовало. Таким полоумным я его раньше не видела. А недавно умудрился направить ходатайство во вторую следственную палату: дело же его слушалось в первой. Подобное чудачество весьма позабавило сенаторов; не удивлюсь, если из-за одного этого он и выиграл процесс.

Милая моя девочка, как Вам нескончаемость моего письма? Будь моя воля, я бы писала и писала до завтрашнего утра. Берегите же себя, бесценная Вы моя, и в этом вся канитель-ритурнель. Постарайтесь не оступаться; побольше лежите. Коли мне удалось отыскать для малышки кормилицу из времен Франциска I, то Вам, думаю, стоило бы быть повнимательнее к моим советам. Вы уже для себя решили, что в нынешнем году мне к Вам не собраться? Действительно, все задумывалось по-иному, и прежде всего из любви к Вам, но из-за этих носилок придется все передумывать по-новому; как тут не примчаться к Вам еще до конца года, в особенности, если и Вы хоть чуточку этого хотите? Увы! Должна признаться, что отныне единственное для меня пристанище — только подле Вас.

Ваш портрет торжественно водружен на каминную полку, Вам теперь поклоняются и в Провансе, и в Париже, и при дворе, и в Ливри. За все это, милая моя, Вам не расплатиться, придется с этим смириться и прослыть должником, а как же иначе? Обнимаю Вас и люблю, и без конца буду это повторять, ибо так оно и есть. Поцеловала бы и этого шалуна де Гриньяна, не будь я на него сердита.

Мастер Поль[9] умер неделю назад; сад наш пребывает в печали.

1. Ливри, аббатство в пятнадцати километрах к Северо-Востоку от Парижа, где маркиза де Севинье часто проводила жаркое время года.
2. Маркиз Симон Арно де Помпонн (1618–1699) — дипломат, государственный секретарь по иностранным делам, государственный министр. Друг маркизы де Севинье.
3. Речь о дворце Фрэн. Стариканом г-жа де Севинье называет Арно д' Андийи, отца своего друга Симона Арно де

Помпонна, которому в ту пору было восемьдесят два года.
4. *Краса Гизардия* — это г-жа де Гиз, у которой случился выкидыш, после того как она неловко оступилась в Версале. Это событие повлекло за собой еще более тяжкие последствия. Ее муж, отец единственного сына, умер в июле 1671 г. В 1675 г. умирает и его малолетний сын. С его смертью род де Гизов прервался.
5. Речь идет о ревнивых чувствах обеих.
6. Речь о шеститомнике "Избранных басен", изданном в 1668-м. Г-жа де Севинье цитирует по памяти, допуская ряд неточностей.
7. Десть — торговая мера бумаги, равная 24-м листам; 20 десть составляли стопу.
8. Рапсодия — от *греч.* бессвязный стихотворный отрывок.
9. Садовник в Ливри.

Госпоже де Гриньян

Маликорн, суббота 23 мая 1671 г.

Приезжаю сюда[1] и нахожу Ваше письмо, стало быть, мои хлопоты по поводу переписки оказались не напрасны[2]. Написала Вам в понедельник, перед тем как покинуть Париж. С той самой минуты, дитя мое, во власти непереносимой печали и неотступной череды воспоминаний, я все дальше и дальше удаляюсь от Вас, сознавая, что столь мрачное расположение духа делает меня порой воистину несносной. Перед самым отъездом сунула в сумку Ваш портрет и теперь частенько на него любуюсь. Мы с ним так сжились, что друг без друга никуда; Вы на нем чудо как хороши. В голове у меня только Вы, а в сердце одна бесконечная к Вам нежность. Так вдвоем мы и коротаем время в трех сотнях лье от Вас.

Жара нас измучила. Из чудной семерки моих лошадей одна дотянула только до Палезо[3], остальные пока держатся. Трогаемся обычно затемно, часа в два утра, чтобы уберечься от нещадного зноя. Вот и сегодня зарю мы встретили под сенью леса, чтобы поскорее увидеть наконец Сильвию[4], то бишь Маликорн, где уже завтра я наконец-то смогу перевести дух.

Повидала обеих девчушек, *нахохленных, с печалью на лице и голосом Мегеры.* Сказала им: *то детишки друга нашего, оставим их в покое.* Словом, *чем червячка морить, уж лучше отобедать*[5]. Никогда прежде я не ела с таким аппетитом и мне не было столь приятно в доме. Чтобы хоть немного отойти после недельной жары, я выпила чуть ли не всю воду в доме. С нашим аббатом все в порядке; сынок и Ла Мусс изо всех сил

стараются отвлекать меня от грустных мыслей. Мы вслух перечитали кое-что из Корнеля, с наслаждением пробежались еще раз по любимым строчкам. А еще мы захватили с собой последнюю книгу Николь[6]. Это суть то же, что Паскаль и "Воспитание Принца", только размах побольше; с ним не заскучаешь[7].

27-го будем в Роше[8], где меня должно уже дожидаться Ваше письмо. Увы! Теперь это единственная моя радость. Кстати, Вы теперь можете ограничиться одним письмом в неделю, все равно из Парижа они отправляются к нам только по средам, иначе я стану получать их парами[9]. Пишу и словно бы добровольно отказываюсь от половины своего имущества; при этом мне от этого хорошо, потому что ровно на столько же сниметсся и Ваша усталость, что в нынешнем положении немаловажно. Должно быть, я прихожу в себя, если предлагаю Вам такое. Только заклинаю, доченька, если Вы меня хоть чуточку любите, бога ради, поберегите себя. Ох, как же, милая моя, мне Вас жалко! Неужто Вам на роду написано не знать передышки? Стоит ли разменивать жизнь на бесконечные недомогания? У г-на де Гриньяна своя правда, но любовь к женщине и участие в ней — это зачастую одно и то же.

Итак, мой веер пришелся весьма кстати. Не правда ли, премилая штучка? Увы! Это всего лишь безделица! Не лишайте же меня этого невинного удовольствия и, коли впредь случится оказия, лучше разделите мою радость, пусть даже и по столь пустячному поводу. Держите меня в курсе Ваших новостей, сейчас это крайне важно. Да, каждую пятницу я буду получать Ваше письмо, но каково же мне при этом не иметь возможности видеть Вас, сознавать, что между нами тысячи лье, что Вы беременны, что Вам нездоровится. Только представьте... хотя нет, лучше не надо, я додумаю все сама, когда буду бродить в тени длинных аллей, усугубляя свою грусть разлитой в них печалью. Но бесцельны будут мои искания, не получится снова обрести того, что так скрашивало последнее мое пребывание здесь[10]. Прощайте же, драгоценное мое дитя, Вы так мало рассказываете о себе.

Внимательно помечайте даты моих писем. Впрочем, что от них теперь проку?

Сыночек мой тысячекратно Вас целует. Он меня очень забавляет, все норовит подольститься. Мы с ним читаем, ведем беседы, Вам ведь все это так знакомо.

Ла Мусс уверенно ведет свою партию, а лучше всех наш аббат, которого мы все обожаем уже за то, что он обожает Вас. Наконец-то он успокоился, переписав на меня свое имущество[11], а то был прямо сам не свой. Только не говорите ни-

кому про это, а то родственники разорвут его на части, но, право слово, любите его, да и меня тоже. Обнимаю этого плутишку де Гриньяна, несмотря на все его злодейства.

1. Маликорн — местечко в 32-х км от Манса по направлению к Анже. Там находился родовой замок Лаварденов.
2. Письмо, полученное в Маликорне, было написано в Эксе 12 мая. Для того чтобы сохранить сложившийся порядок переписки и как можно быстрее получать письма дочери, г-жа де Севинье обратилась с ходатайствами как на самый верх, к Ле Телье, суперинтенданту по делам почты, так и к рядовому служащему Дюбуа, который в итоге и помог ей решить все проблемы с доставкой.
3. Палезо находится по дороге в Шартр в 20-ти км от Парижа.
4. Именем Сильвии (женское имя, птичка славка; этимологически восходит к silva "лес") в то время принято было именовать возлюбленную.
5. Свободное цитирование строчек из басни Лафонтена "Орел и сова" У Лавардена от первого брака было две дочери, старшая из которых, Анн-Шарлотт, родилась в 1668 г.
6. Пьер Николь (1625–1695) — французский философ и теолог.
7. Г-жа де Севинье многократно будет возвращаться к этой новой книге, которая войдет в первый том "Опытов о морали"; во второй войдет произведение Мариво "Воспитание Принца", вышедшее из печати годом раньше.
8. Роше — поместье маркизы в Бретани. Усадьба с небольшим готическим замком была построена в XV веке предками Анри де Севинье, мужа маркизы. До наших дней аллеи прилегающего парка сохранили названия, данные им маркизой. В настоящее время — собственность дальних потомков маркизы де Севинье.
9. Речь о двух письмах от г-жи де Гриньян, написанных в среду и воскресенье. (Первое доставлялось в Париж слишком поздно, поэтому не успевало отправиться дальше в Бретань с субботним курьером, чтобы прибыть в Роше в понедельник. Таким образом, оно ждало своей очереди до среды, где его догоняло уже следующее письмо графини, которое приходило из Прованса либо в среду утром, либо накануне вечером. И тогда оба письма вместе попадали в Роше в пятницу.) Г-жа де Гриньян, тем не менее, продолжала писать дважды в неделю, опасаясь, как бы случайная пропажа одного из писем не оставила маркизу на целую неделю без известий.
10. Предыдущие поездки г-жи де Севинье в Бретань относятся к лету и зиме 1666 г. Она приезжала туда вдвоем с дочерью.
11. Аббат отписал свое имущество г-же де Севинье 16 мая. Впрочем, близкие, а это остальные племянники и племянницы аббата де Куланжа, также не будут забыты, как того опасалась маркиза.

Госпоже де Гриньян

Роше, воскресенье, 31 мая 1671 г.

Наконец-то, доченька, мы в нашем богом забытом Роше. Разве можно без грусти вновь видеть эти аллеи, вензеля, этот крохотный кабинет, книги и эту спальню? Вспоминается одно приятное, а многое до того трепетно и ярко встает перед глазами, что душа замирает, именно так помнится все, связанное с Вами. Вам, наверное, сложно представить, что может твориться в таком сердце, как мое?

Если Ваше здоровье, дитя мое, не подкачает, то я приеду повидаться только на следующий год: Бретани с Провансом не сойтись никак. Престранная все-таки штука эти дальние выезды. Если бы то состояние души, в котором пребываешь по приезде в новые края, оставалось неизменным, то, верно, впредь не хватило бы духу сняться с насиженного места. Но Провидение дало нам дар забвения, тот самый, что столь целителен для всякой роженицы. Забвение это угодно Богу, дабы не прервался род людской и можно было съездить в Прованс. Грядущая поездка в ваши края сулит мне величайшую на свете радость, однако как подумаешь, что пребыванию Вашему там еще конца-края не видно, так такая тоска наваливается! Ваша мудрость все более и более радует меня и вызывает любование. И хотя, сказать по правде, разлука меня крайне удручает, однако она же, надеюсь, позволит нам обеим многое увидеть в другом свете. Так давайте же уповать на это, не будь этого утешения, оставалось бы только в петлю. Во время прогулок по окрестным лесам на меня порой такие мрачные видения наваливаются, что я домой будто после приступа лихорадки добираюсь.

Судя по всему, в Марселе Вы не скучали. Не забудьте написать, как Вас встретили в Гриньяне. Тут по случаю прибытия моего сыночка устроили целый парад. Вайян поставил под ружье тысячи полторы мужиков, всех их принарядил, выдал каждому по новому шейному платку. Целой колонной они вышли нас встречать за целое лье от Роше. Бывает же так: господин Аббат загодя известил всех о нашем приезде во вторник, а дальше про это и думать забыл. И эти бедолаги, прождав целый день, только после десяти вечера, печалясь и недоумевая, разошлись по домам, мы же являемся в среду, не подозревая, что кому-то вздумается снарядить целую армию по случаю нашего приезда. Эта неувязка нас очень раздосадовала, но что тут поделаешь? Так вот все и началось.

М-ль дю Плесси[1] со времени Вашего отъезда ничуть не переменилась. В Витре она обзавелась новой подружкой, кото-

рой весьма гордится, ибо у той светлая голова, куда вместились все романы, а еще она получила целых два письма от самой принцессы де Тарант[2]. Я, конечно же, не утерпела и через Вайяна не без злого умысла дала понять, что эта новая ее привязанность вызывает у меня ревнивые чувства, которые я, конечно же, не стану выставлять напоказ, но что укол пришелся мне в самое сердце; все сказанное ею в ответ достойно пера Мольера. Зато теперь так уморительно наблюдать, с какой тщательностью она меня обхаживает, как ловко переводит разговор, дабы не упоминать при мне имени соперницы; я же, как ни в чем не бывало, продолжаю ломать комедию.

Деревца мои красивы на удивление. Трудами на диво усердного Пилуа[3] они вымахали чуть не до небес. Все кругом красиво, однако ничто не может сравниться с прелестью аллей, которые были заложены на Ваших глазах. А знаете, я тогда придумала девиз, который как нельзя лучше подходил Вам[4]. А для сыночка по случаю его возвращения из Канди[5] я велела повесить на дереве: *vago di fama*[6], неплохо для простого приветствия? А вчера в честь всех ленивцев приказала дописать: *bella cosa far niente*[7].

Увы, дочь моя, такие вот диковатые у меня выходят строчки! Где те времена, когда я, наряду со всеми прочими, только и писала что про Париж? Отныне все новости будут про меня одну, но мне почему-то верится, что они Вам более по душе, чем все прочие.

Здешняя компания весьма меня устраивает. Аббат наш учтив как всегда, сынок и Ла Мусс со мной ладят, впрочем, как и я с ними. Мы стараемся больше времени проводить вместе, а когда дела мои нас все-таки разлучают, то они досадуют и потешаются, не понимая, как столбцы стихов Лафонтена можно променять на столбики расчетов какого-то фермера. Все они Вас просто обожают; думаю, они скоро Вам напишут. Сама же я делаю это сейчас, терпеть не могу беседовать с Вами в общей суете. Доченька моя, пусть Ваша любовь греет меня денно и нощно. В Вашем дружестве — вся моя душа, вся моя жизнь. Я про это уже писала, но оно одно — источник всех моих страданий и радостей. Должна сознаться, что другая часть моей жизни протекает под пологом сумерек и печали, ибо она полна сожалений о том, что мне так часто предстоит коротать ее вдалеке от Вас.

1. М-ль дю Плесси — дочь местного бретонского дворянина дю Плесси.
2. Принцесса де Тарант (1625–1693) — германская принцесса, дочь Вильгельма V, ландграфа Гессен-Кассельского, состоявшего в родстве со всеми монархическими до-

мами Европы, соседка и наперсница маркизы де Севинье в Роше.
3. Жак Пилуа в "Счетной книге аббата Раюэль" числится "наставником и руководителем вспомогательного персонала". Овдовев, г-жа де Севинье захотела украсить Роше, заложив там ряд аллей, линии которых угадываются еще и сегодня.
4. По всей вероятности речь о девизе из коллекции Клемана, интенданта при дворе герцога де Немура, известного собирателя гербов и девизов: "Il più grato nasconde" — "Сокровенное — всегда тайна".
5. Канди — город на Севере острова Крит (Гераклион), более четырех веков находился под властью Венеции. В 1646 г. был осажден турками. Франция, будучи католической державой, направила против неверных свои войска под папскими знаменами. Они понесли тяжелые потери и вынуждены были в сентябре 1669 г. ретироваться.
6. *Vago di fama* — это начало сонета Менажа к м-ль де Ла Вернь: *Vago di fama,et cupido donore* ("Влюбленный в славу и вожделеющий почестей") (*итал.*).
7. *Bella cosa far niente* — "Нет ничего слаще праздности" (*итал.*).

Госпоже де Гриньян

Париж, пятница 2 августа <1675>

Доченька, мысли о боли и потрясении, которые Вы испытали при известии о смерти г-на де Тюренна, не дают мне покоя. Кардинал де Буйон[1] воистину безутешен; эту новость он узнал от одного дворянина из окружения г-на де Лувиньи, тому не терпелось первым выразить свое сочувствие. Он остановил карету кардинала, когда тот возвращался из Понтуаза в Версаль. Из его витиеватой речи кардинал поначалу ничего не понял. А этот дворянин, заподозрив, что тот еще ничего не знает, бросился бежать. Кардинал — за ним и таким образом узнал об этой ужасной кончине; с ним тут же случился обморок. Его срочно доставили назад в Понтуаз, где двое суток пребывал он в слезах и стенаниях, отказываясь от пищи. Г-жа де Генего и Кавуа[2], безутешные как и он сам, заезжали его проведать. Мне показалось уместным отправить ему короткую записку[3] с соболезнованиями; в ней я загодя поведала ему о Вашей печали, вызванной сочувствием к нему самому и глубочайшим почтением к нашему герою. Вы уж напишите и сами. По моим наблюдениям, Вам легко пишется по любому поводу, ну а тут уж сам бог велел. Большинство благородных семейств, да и весь Париж, глубоко потрясены сей невосполнимой утратой.

Все в оцепенении и ждут вестей из Германии. Отступающий Монтекукули[4], без сомнения, не преминет развернуть фронт и попытается воспользоваться столь благоприятным стечением обстоятельств. Рассказывают, что крики и рыдания солдат разносились на два лье в округе; они оставались глухи к любым доводам. Требовали немедленно вести их в бой, чтобы отомстить за своего отца, командира, защитника и покровителя; они кричали, что с ним они ничего не боялись, что их сердца переполнены яростью и что они рвутся в бой, чтобы поквитаться с врагом. Обо всем этом нам стало известно от одного благородного господина из свиты г-на де Тюренна; он специально прибыл, чтобы обо всем поведать Королю. Всякий раз, повторяя свой рассказ об изложенных выше событиях и о смерти своего Господина, он не мог сдержать слез.

Тело г-на де Тюренна буквально разорвало пополам: понятно, что ранение было смертельным, и он рухнул с коня. Однако с последним проблеском сознания он все-таки подался вперед и судорожно сжал пальцы в кулак. Потом на него набросили плащ. Ле Буа-Гюйо (тот самый благородный господин) не отходил от него ни на шаг, пока тело в полной тишине не перенесли в ближайший дом. Г-н де Лорж находился в полумиле от места трагедии; его отчаяние можно понять. Он разом потерял все и принял на себя основную тяжесть удара, ибо именно ему отныне предстоит нести ответственность за армию и грядущие события вплоть до прибытия Господина Принца, которому для этого нужно сделать целых двадцать два дневных перехода. Тысячу раз за день возвращаюсь я мыслями к шевалье де Гриньяну[5] и не могу представить, как можно сохранить ясность рассудка после столь тяжкой утраты. Все, к кому благоволил г-н де Тюренн, достойны самого искреннего сочувствия.

Сообщая о назначении восьми новых маршалов Франции, Король вчера сказал: “Будь у г-на де Гаданя чуть больше терпения, он тоже был бы среди них. Но ему не терпелось выйти в отставку, что сделано, то сделано”. Ходят слухи, что граф д’Эстре подумывает о продаже должности; он относится к числу отчаявшихся получить маршальский жезл. Угадайте, чем занимается г-н де Куланж; без тени смущения, он слово в слово переписывает все новости, которые я Вам сообщаю. Я уже рассказывала, что Главнокомандующий стал герцогом; роптать ему недостает смелости. При первой оказии он, конечно же, получит свой жезл, ибо то, как с ним говорил Король, значит намного больше, чем оказанные ему почести. Его Величество велел ему сообщить Помпонну свои титулы и перечень заслуг.

"Сир, — ответил он, — я позволю себе передать ему жалованную грамоту моего деда, достаточно будет снять с нее копию"[6]. Его ответ, право же, выше всяких похвал. Г-ну де Гриньяну тоже не стоит на них скупиться, даже для вероятных своих врагов[7] из числа тех, что упиваются словом *монсеньор* и слышать не хотят ни о какой справедливости.

Г-н де Тюренн, прощаясь с г-ном кардиналом де Рецем, оказывается, произнес (д'Аквиль вспомнил об этом только два дня назад): "Сударь, я не умею красиво говорить, но прошу поверить, что, не будь всех этих важных дел, требующих моего постоянного участия, я бы следом за Вами удалился от мира. Даю слово, если мне суждено вернуться живым, то я не стану дожидаться смерти, коротая время на сундуке[8], а вслед за вами найду чем заняться в ее преддверии". Г-н кардинал де Рец будет потрясен этой утратой. Доченька моя, мне кажется, что Вы без устали готовы внимать рассказам об этом печальном событии; мы ведь с Вами, помнится, говорили, что бывают в жизни случаи, где ни одна подробность не может быть лишней. Целую г-на де Гриньяна. Я бы пожелала вам обоим приезда кого-нибудь из гостей, с кем можно было бы поговорить о г-не де Тюренне.

Виллары от Вас без ума. Сам Виллар уже дома, но Сен-Жеран и пробитая голова все еще там; его супруга надеялась, что хоть кто-нибудь проявит участие и поможет доставить его домой. Думаю, что Лагард уже дал знать о своем желании Вас проведать. Мне не терпится поскорее проводить его в дорогу; мое же путешествие, как Вам известно, пока откладывается. Надо посмотреть на последствия доблестного марша шеститысячной кавалькады и провансальского дуэта. Г-ну де Лавардену[9] не позавидуешь: заплатить четыреста тысяч франков за должность, чтобы попасть в подчинение к г-ну де Форбену, притом что сам г-н де Шольн[10] предпочитает держаться в тени. Мои буссоли ныне — это г-жа де Лаварден и г-н д'Аруис. Дорогая моя, Вам, право, не стоит так волноваться обо мне и о моем здоровье. Вот пройдет полнолуние, новости из Германии придут, тогда и начну принимать слабительные.

До свидания, дорогое мое дитятко, нежно Вас целую и люблю сильнее некуда. Если бы кто вздумал добиваться моего дружеского расположения, то ему пришлось бы, увы, довольствоваться всего лишь тем чувством, которое я питаю к Вашему портрету.

1. Эммануил-Теодоз де Буйон (1644–1715) — кардинал, племянник де Тюренна.

2. Г-жа де Генего была дружна с Тюренном, они были соседями. Шевалье Луи Оже, позже маркиз де Кавуа, родившийся в 1640 г., был приятелем детских игр Людовика XIV. Тот произвел его в главные распорядители королевского имущества, а в 1677-м женил на м-ль де Кётлогон.
3. Написать записку (billet) — значило написать письмо без официального обращения. Это допускалось в отношениях равных по рангу друзей.
4. Раймон де Монтекукули (1609–1680) — итальянец по происхождению, генералиссимус австрийской императорской армии.
5. Шевалье Жозеф де Гриньян (первое имя Адемар) (1641–1713) — один из младших братьев графа де Гриньяна.
6. Франсуа де Дайон — дед графа дю Люда, также имел королевскую грамоту на герцогство, которая так и не была зарегистрирована Парламентом. Граф оставался генерал-лейтенантом на протяжении двадцати лет. Звание маршала он получит только в 1681 г. Ответ, вероятно, имеет целью подчеркнуть поспешность и некоторую легковесность пожалованного повышения.
7. В это время шли ожесточенные споры о том, должен ли маршал Франции в письменном обращении именоваться монсеньор. Гриньян, будучи назначен Королем генерал-поручиком в Прованс, выступал против, считая, что таким образом офицеры короны получают преимущество перед дворянами на ответственной государственной службе.
8. "Я отдал богу душу на сундуке в ожидании своего господина" (Тристан в своей эпитафии). Сундуки в приемных служили местом для дежурных слуг.
9. Анри-Шарль де Бомануар, маркиз де Лаварден (1644–1701) — генерал-поручик Бретани (первый заместитель губернатора), сын ближайшей подруги маркизы де Севинье.
10. Шарль д'Альбер д'Айи, герцог де Шольн, — губернатор Бретани, близкий друг маркизы.

Госпоже де Гриньян

Париж, понедельник, 19 августа <1675>

Милая моя, я принимаюсь за письмо и, прежде чем добраться до точки, мне надобно поведать Вам пропасть всяких вещей. Для разминки хочу поделиться мудрыми замечаниями нашего Короля, услышать которые уже само по себе было большим удовольствием. Он отлично понял, чем чревата гибель г-на де Тюренна, и когда, погружаясь в глубокие раздумья, уходит в себя, то именно это событие считает причиной последней неудачи[1]. Кто-то из его фаворитов заикнулся было о ничтожно-

сти понесенного урона и был немедленно одернут просьбой о недопустимости впредь подобных высказываний, а все происшедшее было коротко и ясно определено им как полный разгром. Кто-то дерзнул было заступиться за маршала де Креки. Признавая его личную отвагу, Король не преминул отметить: "Более всего мне досадно, что войска мои были биты людьми, славными исключительно успехами в басете[2]". Этот герцог Цельский и вправду молод и азартен; что ж, для начала совсем неплохо. Когда кто-то из придворных заметил было: "И зачем только маршалу де Креки надо было затевать это сражение?", Король ответил, весьма кстати припомнив старую присказку про герцога Веймарского[3]. Во время пребывания его во Франции, старый Парабер[4], кавалер голубой ленты, в беседе о недавно проигранном сражении поинтересовался: "Сударь, а зачем вообще Вам надо было в него ввязываться?" — "Милостивый Государь, — ответил ему герцог Веймарский, — единственно для того, чтобы победить". Отойдя немного в сторону, он тут же поинтересовался: "А кто этот болван с голубой лентой?" Памятливость его пришлась весьма кстати. Герцог де Лоррен[5] ранее посчитал ниже своего достоинства внять доводам юного герцога Целльского, брата герцога Ганноверского[6], а этот юнец, у которого под началом была целая армия, возьми да и реши действовать на свой страх и риск; в выигрыше оказались оба. О маршале де Креки после истории с лодкой больше ничего не слышно. Я полагаю, что его уже нет в живых.

Шевалье де Лоррен, позабытый всеми, сидит безвылазно в своем аббатстве[7]. Сейчас, право, не лучшее время для пустяшных новостей. Все Ваши письма я отправила. Про *монсеньора* попробую поговорить с г-ном де Помпонном. А пока суд да дело, думаю, что у г-на де Вивонна[8] с отпускным свидетельством все в порядке, и коль скоро он полагает, что ссориться с ним не в Ваших интересах, то я попробую написать записочку, где его и порадую, назвав *монсеньором.* Со всеми другими придется выкручиваться на манер Беврона, Лавардена и прочих: вместо них письма пишут их сестры и матери. Подобная изворотливость мне понятна, они пытаются выждать. Похоже, что д'Амбр[9] спасует-таки перед маршалом д'Альбером, а потом это станет нормой. В ближайшие дни свое слово по этому поводу должен сказать Король.

А теперь перехожу к вашему повару. Известие о его уходе следом за интендантом ужасно меня опечалило. По правде говоря, я не собиралась подыскивать Вам кого нового, разве что попалась бы уж такая восточная жемчужина[10], за которую потом уж точно не пришлось бы краснеть. Так оно и слу-

чилось. Мой нынешний повар настолько превосходит мои притязания, что мне, право, за него обидно. Надеюсь, что не я отвадила его от ремесла. Это не тот, угодливый, что боялся огня и все собирался в монахи; речь о другом, представляете, его обучал сам почитаемый Вами мэтр Клод. Он служил в хороших домах, сам мэтр Клод и помог мне переманить его от первого председателя гренобльского парламента[11], который до сих пор не может утешиться по этому поводу. Сейчас безо всякой выгоды для себя я уступила его г-ну де Лагарду за двести пятьдесят ливров содержания. Вы присмотритесь к нему у себя в Гриньяне, пусть потрудится, а там решайте, нужен ли он Вам. Если он Вам приглянется, а Вы — ему, и то и другое важно, тогда пусть остается. Если нет, пусть возвращается с Лагардом, а так как при нем он и числится, то у Вас нет никаких обязательств. Мне жаль расставаться с ним, он нам здесь такое рагу из говяжьего филе с огурчиками готовит, лучше не бывает. Мне очень по душе его вкус к натуральности. Вот и все, что я могу Вам сказать, моя милая, по этому распрекрасному поводу.

1. Поражение французской армии под Консарбрюком 1 августа 1675 г.
2. Басет — азартная карточная игра, модная при дворе Людовика XIV. Запрещена в 1680 г.
3. Бернард Саксон-Веймарский посещал Париж в 1636-м и 1637 г. Этот военачальник умер в 1639 г. в возрасте тридцати пяти лет.
4. Анри де Бодеан, граф де Парабер — губернатор Пуату, рыцарь ордена Святого духа (голубая муаровая лента через плечо) — умер в 1653 г.
5. Карл IV, герцог де Лоррен (Лотарингский, 1604—1675) — полководец, утратил свои владения в 1663 г. С 1652 г. на службе у короля Испании.
6. Иоанн-Фридрих де Брауншвейг Люнебург-Цельский, герцог Ганноверский — брат герцога Цельского, которому в то время был пятьдесят один год. Называя его *юнцом*, маркиза позволяет себе иронию в адрес Карла IV, герцога де Лоррена, которому на тот момент исполнилось семьдесят два и который скончался месяц спустя.
7. Шевалье Филипп де Лоррен (1643—1702) — брат графа д'Арманьяка, принадлежал к дому принцев Лотарингии и именовался "Лотарингским кавалером", так как его должны были посвятить в рыцари Мальтийского ордена. Оба брата славились при дворе своими интригами и распутным поведением. Речь идет об аббатстве Сен-Жан-де-Винь.
8. Луи-Виктор де Рошешуар, герцог де Вивон (1636—1688) — брат г-жи де Монтеспан. С 1641 г. — первый дворянин при королевских покоях, позже — генерал галерного

флота, с 1679 г. маршал Франции. Друг Бюсси, кузена маркизы де Севинье.
9. Генерал-поручик верхней Гиени, обязанный своим назначению маршалу д'Альберу, губернатору этой же провинции. Считалось хорошим тоном высказывать признательность в письменном виде. В итоге он подчинился этому требованию.
10. Долгие отлучки графини де Гриньян расхолаживали слуг, после возвращения она часто вынуждена была подыскивать новых. Перл Востока (восточный жемчуг), в отличие от его иммитации, воплощал в то время идею совершенства.
11. Дени де ла Гу де ла Бешер — председатель парламента в Гренобле с октября 1653-го по август 1679 г.

Понедельник, вечер

Мы добрый час проговорили с г-ном де Помпонном и г-жой де Вэн[1]. Говорили о том, что у всех сейчас на устах; досталось, между прочим, и вашему Провансу[2]; он говорит, что если выбор прокурора поручат ему, то им станет г-н де Сен-Андиоль[3]. Ахинея, которую несет господин де Марсель[4], никаким образом не помешает ему склонить г-на де Пейруиса[5] на свою сторону, да тому и самому это на руку. Г-н де Помпонн находит, что тот весьма лояльно и уважительно настроен к г-ну и г-же де Гриньянам. Далее я затронула тему *монсеньора*. "О Господи, сударыня, — воскликнул г-н де Помпонн, — ради Бога, пусть г-н де Гриньян забудет про своего *месье*, иначе это может выйти ему боком! Король по поводу маркиза д'Амбра высказался однозначно, так что, хочешь не хочешь, а тому придется подчиниться. Да еще маршал де Грамон со своим диким акцентом твердит на каждом углу, что граф де Гиш[6] — де вовсе не какой-то там проходимец без роду и племени и что он лично никогда не оспаривал титула *монсеньор* для маршалов Франции. Умоляю вас, постарайтесь убедить г-на де Гриньяна последовать моему совету". Это его подлинные слова; слово в слово. Не упрямьтесь вы с этим г-ном де Вивонном. Можно, конечно, вовсе никому не писать, но уж коли придется взяться за перо, тогда уж делайте как надо. Четыре дня назад в пользу этого высказался Король, да и нотации маршала де Грамона подлили масла в огонь. Г-жа де Вэн просила передать Вам искренние уверения в своей дружбе и особом, исключительном к Вам уважении вопреки ее в целом скептическому отношению к людям. Вскоре после окончания нашей беседы приехали г-жа де Виллар[7] с г-жой де Сен-Жеран[8]. Последняя поведала, что дерзнула обратиться к Королю с просьбой о гу-

бернаторстве для своего мужа на место Вобрена[9]. Поначалу ее трясло так, что она слова не могла выговорить, потом ничего, разошлась; кто знает, может у нее что-то и получится.

Господин коадъютор с блеском огласил едва ли не самое прекрасное свое обращение к Королю. С несравненной ловкостью и изяществом ему удалось обыграть поправки, внесенные в самый последний момент; придворных больше всего впечатлило именно это; позаимствовать у Вуатюра[10] его манеру, чтобы не докучать Принцу своими посланиями, и очень к месту распорядиться ею с таким же блеском — это ведь так необычно. Король остался доволен и не преминул заметить Дофину: "Вы не находите, что стоит приложить старание хотя бы ради того, чтобы изъясняться столь же блистательно, как г-н коадъютор?" Тут вступился г-н де Монтозье[11]: "Сир, нам до этого еще далеко; мы пока только учимся отвечать на вопросы". Министры и все присутствующие были искренне восхищены речью коадъютора, особо отметив изящество и благородство языка. Хочу поблагодарить Гриньянов за внимание и недавно полученные от них приветы: один — из Германии, а второй — из Версаля. Мне бы хотелось, чтобы и старшего не обошла благосклонность двора, тогда можно будет надеяться и на третий привет — из Прованса.

Г-н де Ла Трусс прислал супруге весточку. Он в плену у своего друга маркиза де Гранá. Жив-здоров, ни единой царапины. Пребывает вне себя от счастья; последние события только поспособствовали его славе. Пишет, что недавно ему подтвердили, что г-н де Санзеи мертв; я склонна этому верить, ибо, не говоря о том, что от него уже давно нет известий, он действительно из тех, кто первым бросается в атаку, заметив нерешительность подчиненных. Скоро все прояснится.

Про ваших Белльевров и Мирпуа[12] я лучше умолчу. Если соберусь в Бретань, мое путешествие придется как раз на судебные каникулы и на предварительное рассмотрение, где мне участвовать не обязательно, а как только подойдет пора действовать, я буду на месте. Мы будем настаивать на ратификации через суд с тем, чтобы далее вопрос этот решался между г-ном де Мирпуа и г-жой дю Пюи-дю-Фу. Выбросьте это дело из головы, оно касается меня и только меня. У нас на руках акт, подписанный Пюи-дю-Фу, и мировое соглашение, которое выставляет этого Мирпуа отпетым негодяем. Еще чуть-чуть — и мы вырвемся у них из лап. Пюи-дю-Фу противится тому, что она вполне бы могла сделать и без него: стоило ей в случае отказа в ратификации вернуть г-ну де Гриньяну десять тысяч экю[13], и Мирпуа бы быстренько зашевелился, но

вместо этого она юлит, льет слезы и ни на что не может решиться. Белльевру все-таки пришлось распроститься со своим имуществом в пользу кредиторов. Его отказ был подписан только позавчера; все пребывают в недоумении. Это крах полнейший, чтобы полностью расплатиться, не хватает еще около ста тысяч экю. Они даже не подозревали, что разорены. Сестричка под стать братцу. Из Сен-Реми[14] им придется съехать. Позор-то какой! А им хоть бы что. Мирпуа делает круглые глаза и уверяет, что ничего не знал. Врет, он первым все отлично знал, просто ему нужен был предлог.

Ковер для Вас мы пробуем найти с рук, так как в лавке вместе с золотисто-серебряной бахромой он Вам обойдется в четыреста франков, не меньше. Лионский бархат вышел бы дешевле; обдумайте, моя милая, все это хорошенько на досуге у себя в Гриньяне. Что до крошки д'Эскар[15], то будь я с вами, она вела бы себя как шелковая.

Насчет отъезда еще ничего не ясно, все зависит от встречи у г-на де Ломо[16], там многое должно решиться. Вопреки тому, что мне сообщали ранее, прах нашего героя в Тюренн отправлять не стали. Его доставили в Сен-Дени, где он будет покоиться в изножии усыпальницы Бурбонов; собираются построить специальную часовню, чтобы поднять их останки из склепа — тогда г-н де Тюренн окажется в ней первым. В последнее время я измучилась, думая о его последнем пристанище, и вот теперь, недоумевая, кто еще мог бы все это присоветовать, я полагаю, что было это не напрасно. Так или иначе, но четверо великих полководцев[17] ранее уже обрели покой у ног своих властителей, но даже без этого г-н де Тюренн, я думаю, был бы достоин стать первым. На всем пути следования скорбной процессии ее сопровождали слезы и стенания, шествия, давка, поэтому кортежу велено было прибыть в конечный пункт под покровом ночи; позволь они проследовать ему через Париж днем, весь город погрузился бы в печаль.

Недавно из одного надежного источника мне передали, как придворная братия, желая выслужиться и занизить потери, вздумала угодить Королю известиями о новых и новых эскадронах и даже батальонах, якобы вступающих в Тионвиль и Мец. Заподозрив в их словах пошлую лесть и усомнившись в цифрах, наш Король с присущей ему галантностью ограничился одним-единственным замечанием: "Вас послушать, так их у меня стало больше, чем было". Самый изворотливый из них, маршал де Грамон, нашелся немедля: "Ваша правда, Сир, им достало времени нарожать детей". Вот и все, что показа-

лось мне самым забавным из наших пустячков, но это чистая правда.

Только что объявился Ваш интендант и сообщил о возвращении повара. Говорит, что и один из форейторов уже здесь, а лакеи приедут следом[18]. Он тут порассказал такого, что к вам в Прованс ни одного управителя больше не сыщешь. А эта дикая история с обмороком кормилицы, когда сказали, что она подхватила дурную болезнь; и как ей пришлось оголиться, чтобы Вы своими глазами могли убедиться в обратном. Похоже, всем досадил ваш дворецкий, который, судя по рассказу, всю прислугу морил голодом, а сам в это время жировал со своими приятелями. Мне самой, как Вы понимаете, все понятно, и я охотно допускаю, что все они мошенники, но коль скоро из Гриньяна разъяснений нет, то представляю, что за толки могут идти о Вашем доме, и вряд ли поверенный господина кардинала придет в восторг, прослышав о порядках в доме своего родственника. Назовите же мне, однако, хоть пару причин, кои вынудили Вас прогнать этого малого. В ваших замках правда зачастую запрятана глубже, чем у нас при дворе.

Прибыл курьер, который своими глазами видел в Трире маршала де Креки. Мы все снедаемы тревогой за г-на де Санзеи; известия о нем донельзя противоречивы. Одни говорят, что он в плену; другие — что погиб; третьи — что он в Трире вместе с маршалом де Креки. Все это вздор. Трир по-прежнему в осаде. Король как-то высказал господину Главному[19] свое удовлетворение по поводу того, что его сын в безопасности. “Сир, — ответил тот, — я бы предпочел, чтобы он был ранен или оказался в плену; полное отсутствие опасности пугает меня более всего”. Король уверил его, что тот поступил правильно. Много говорят также о выезде в Фонтенбло. При одном воспоминании об этом чудном уголке земли мне все еще делается больно, все там исполнено для меня сердечного трепета и грусти. Для окончательного примирения мне надо в следующий раз встретить Вас именно там[20].

Г-жа де Тоскан затаилась у себя в *Гизардии*[21] на Монмартре. Своему окружению она заявила, что первые визиты отбили у нее всякую охоту выезжать, и первой сообщила это г-же де Рарэй[22]. Все полагают эту аскезу чрезмерной. Она в чем-то напоминает Диану Арльскую[23], сомневаюсь, однако, чтобы нынешний образ жизни дал ей повод улыбнуться.

Недавно у меня был кардинал де Буйон. Он весьма тронут Вашим письмом и не сомневается в его искренности. Глаза его по-прежнему полны слез. Я рассказала ему о Ваших переживаниях. Он упросил меня дать ему почитать письма, где

Вы об этом пишете; я не стану противиться, большей чести и представить себе невозможно. Я покажу ему заодно и письмо от шевалье, которое невозможно читать без слез.

У меня сегодня было много гостей. Процедуры[24] пошли мне на пользу, подруги мои ни на шаг от меня не отходили. Предметом беседы послужил Ваш портрет; прямо на глазах он превращается в шедевр. Это, видимо, оттого, что Миньяр[25] больше не берет заказов.

Прощайте же, моя милая, свет души моей. Распусти я язык, и чего бы я только не наговорила Вам про свое нежное к Вам отношение? Поверьте слову, милая, кроме меня ни одна душа не исполнится к Вам большей любви и уважения, ибо моя привязанность не знает меры; тому можно найти уйму всяких причин: У меня вовсе не было намерения распространяться на эту тему, просто порой не получается остановиться. На самом деле, я хотела передать сердечный поцелуй г-ну де Гриньяну. Ему все еще не до охоты? После моего отъезда ничего у вас не переменилось? Как там наши внучата? Полин[26] все хорошеет? *Карапуз* наш шишек себе еще не набил? А моя как? Меня-то еще помнит?[27] Боже мой! Милая моя, с какой же радостью я бы всех вас расцеловала!

Заранее прошу прощения за ошибки, которые во множестве могут встретиться в письме. Где найти сил все перечитывать?

1. Маркиза Шарлота Лавока де Вэн (1651–1737) – невестка де Помпонна. В 1674 г. выйдет замуж за шевалье, позже маркиза Жана де Ла Гарда де Вэна из Прованса. Близкая подруга г-жи де Гриньян.
2. Речь идет о затяжном политическом противостоянии в Провансе.
3. Сен-Андиоль, кузен графа де Гриньяна, кандидатуру которого тот поддерживал на выборах.
4. Господин де Марсель, епископ Марсельский – в тот период посол в Польше, продолжавший оказывать влияние на положение дел в Провансе.
5. Луи-Никола де Венто, маркиз де Пейруис, – племянник епископа Марсельского, избранный в 1674 г. первым консулом ратуши города Экса, центра политического влияния всего Прованса.
6. Антуан де Грамон (1604–1678) – отпрыск незаконнорожденного сына Генриха IV, был женат на одной из близких родственниц Ришелье. Губернатор Наварры и Беарна, пэр Франции и автор "Мемуаров". По свидетельствам современников, принадлежал к числу самых изощренных и бойких угодников и льстецов. Граф де Гиш – его сын.
7. Мари Гиго де Бельфон – тетка маршала де Бельфона,

жена Пьера, маркиза де Виллара, сделавшего блестящую дипломатическую карьеру. Одна из самых близких подруг маркизы де Севинье.
8. Франсуаз-Мадлен де Вариньи — с 1667 г. жена Бернара де Ла Гиша графа де Сен-Жерана. По свидетельству Сен-Симона отличалась легким, общительным нравом и всегда находилась в окружении друзей и подруг.
9. Губернаторство в Филипвилле. В итоге оно было передано генерал-лейтенанту Медайану.
10. Венсан Вуатюр (1589–1648) — поэт, завсегдатай литературного салона в отеле Рамбуйе, член Французской академии.
11. Шарль де Сент-Мор де Монтозье, маркиз де Саль, впоследствии герцог, губернатор Нормандии. В 1645 г. после тринадцати лет ухаживаний он в конце-концов женился на Жюли д'Анженн, старшей дочери г-жи де Рамбуйе. Они оба были дружны с маркизой де Севинье. Наследнику королевского престола, дофину, на момент написания письма было 14 лет.
12. Речь идет о запутанном судебном процессе, связанном с разделом наследства второй жены графа де Гриньяна. Второй стороной на этом процессе выступал Жан-Батист де Леви де Ломань, маркиз де Мирпуа, супруг Мадлены дю Пюи-дю-Фу, сестры второй жены графа де Гриньяна.
13. 29622 ливра, которые граф де Гриньян остался должен в счет наследства своей второй жены.
14. Особняк, из которого они (брат и сестра Белльевры и г-жа дю Пюи-дю-Фу) не хотели выезжать и который с молотка был продан за долги.
15. Одна из двух дочерей Франсуазы-Шарлотты Бюро де Ля Рабателиер, уроженки Пуату, в 1663 г. вышедшей замуж за Шарля д'Эскара, маркиза де Мервиля.
16. Речь идет о деле д'Асинье, одной из родственниц Анри де Севинье, мужа маркизы. Она была инициатором затяжного имущественного судебного процесса, в который после смерти мужа оказалась втянутой и г-жа де Севинье. Процесс окончательно завершился в пользу маркизы де Севинье лишь через пятьдесят лет после его начала. Этим делом в качестве защитника маркизы занимался адвокат парламента Парижа Жак де Ломо.
17. Шарль Мартель, Гуго Великий, отец Гуго Капета, Бертран дю Геклен и Луи Сансер. Останки Тюренна, по указу Короля, покоились в часовне Сент-Есташ собора Сен-Дени вплоть до 1793 г., когда их перенесли в национальную историческую палату. Там они оставались вплоть до 1800 г., когда, по приказу Наполеона, обрели окончательный покой во Дворце Инвалидов. Замысел короля о строительстве новой часовни Бурбонов так и не был осуществлен.
18. Возвращение слуг, нанятых графиней в Париже, объясняется прежде всего трудностями их акклиматизации в Провансе.
19. Господин Главный (главный распорядитель двора) — Шарль, герцог де Креки (1624–1687), с 1653 г. маркиз,

герцог и пэр, старший брат маршала де Креки, первый дворянин при королевских покоях двора и губернатор Парижа.
20. При отъезде дочери из Парижа маркиза проводила ее до Фонтенбло.
21. Великая Герцогиня Тосканская, Маргарита-Луиза, дочь Гастона, брата Людовика XIII, Мадмуазель де Монпансье. 13 апреля 1661 г. она вышла замуж за Комо Медичи, Великого Герцога Тосканского. Брак оказался несчастливым, и после рождения трех детей с согласия супруга она вернулась во Францию. До своей кончины в 1721 г. проживала в монастыре на Монмартре, где была настоятельницей. Франсуаз-Рене де Лоррен де Гиз, ее родная тетка.
22. Г-жа де Рарэй — гувернантка Великой Герцогини Тосканской.
23. Статуя Венеры, найденная в 1651 г. неподалеку от Арля и в 1683 г. преподнесенная в дар Королю. Именно он повелел называть ее Дианой.
24. Речь идет о приеме слабительного и кровопусканиях, которые были основными методами лечения в то время.
25. Пьер Миньяр (1612–1695) — первый живописец Короля, сменивший Шарля Лебрёна на посту директора королевской мануфактуры гобеленов и мебели.
26. Первое упоминание в письмах о Франсуазе-Полине де Гриньян, будущей маркизе де Симиан.
27. Мари-Бланш де Гриньян (15 ноября 1670–1735) — старшая дочь графини де Гриньян, впоследствии монахиня обители Визитации в Экс-ан-Провансе, за которой г-жа де Севинье ухаживала в 1671 г.

Госпоже де Гриньян

Ливри, среда 21 августа <1675>

На самом деле, милая, как было бы хорошо, окажись Вы тут рядом со мной; сегодня утром я приехала сюда в одиночестве, измотанная вконец; Париж высосал все мои силы, и оставаться там далее я не могла ни минуты. Нашего аббата задержали дела; меня же до субботы ничего не держит, и вот я здесь. Завтра тихо и спокойно в третий раз сделаю все свои процедуры. Похожу пешком; надеюсь, это пойдет мне на пользу. К тому же будет возможность если не постоянно, то сколь угодно долго быть мыслями с Вами; всякий уголок, всякая полянка — все будет мне напоминать, как год назад мы бродили здесь вдвоем. Но какой контраст! Думы о Вас переполняют меня нежностью, но Ваше отсутствие словно бы обрамляет их горечью и заставляет сердце болезненно сжиматься; впрочем, для черных мыслей у меня будет еще целый

вечер. А сейчас так приятно придаваться беседе с Вами, сидя в знакомом Вам крошечном кабинетике; ничто меня не отвлекает.

Я оставила г-на де Куланжа в сильной тревоге за г-на де Санзеи[1]. Зато за г-на де Ла Трусса[2] он рад безмерно; лишь в милых моему сердцу романах доводилось мне встречать столь непомерное счастье. Не случалось ли и Вам где-то уже видеть, как некий принц бьется на поле брани, не щадя живота своего? И вот уже некто устремляется к этому месту, желая поближе разглядеть яростно отбивающегося храбреца. Он видит, что бой идет не на равных. Его охватывает стыд; он приказывает своим воинам расступиться. Он приносит извинения храбрецу, а тот, следуя законам чести, отдает ему свою шпагу, которую, сложись все иначе, ни за что бы не выпустил из рук. Он в плену; и тут победитель узнает в пленнике одного из давних своих друзей, с которым некогда вместе служили они при дворе короля Августа. И вот уже тот становится ему как брат; и он готов повсюду превозносить его добродетели. Но что это, наш пленник тяжко вздыхает, уж не влюблен ли он? И сдается мне, что его уже готовы отпустить под честное слово; только вот ума не приложу, в каком же краю ждет его эта принцесса; такая вот история[3].

Когда я Вам рассказываю что-нибудь о Версале, то сама узнаю́ все это либо от господина Первого[4], с коим видимся мы достаточно часто то у него, то у меня, то у г-жи де Лаварден, то у г-жи де Лафайетт, либо от господина Главного[5], либо от сына г-на де Ларошфуко. Это все серьезные люди; они просят только не упоминать их имен всуе. А еще есть болтуны, их россказней я во внимание не принимаю. Впрочем, не хотите ли узнать, чего там понаписали прислужники из королевских покоев? Вы же знаете, где у нас обожают всякого рода пикантные истории. Так вот, кто-то перечисляет свои потери: чехол, кружка, воловий ремень, треуголка[6] — и при этом добавляет: "Неразбериха там творилась страшная. Будь я на месте генерала, ни за что не допустил бы ничего подобного". Другой рассказывает: "Вздумали в храбрецов поиграть. Нас было всего семь тысяч, а приказали атаковать против двадцати шести; кто бы видел, как они нам задали жару". — "А мы, — рассказывает третий, — такого драпака задали, что даже испугаться не успели". Так что, милочка, своих мальцов из пекарни[7] повсюду хватает. Только вот времени на такие глупости жалко.

Позавчера супруг Вашей кормилицы пришел ко мне, умоляя вступиться за его жену, которую, с ее слов, держат впроголодь, возвели на нее напраслину про дурную болезнь и вы-

нудили раздеться перед Вами донага, чтобы Вы лично могли убедиться в обратном. Первым делом я ему в глаза сказала, что нахожу его жену самой капризной, злой и неблагодарной особой на свете, которая вечно всем недовольна и злонамеренно его науськивает против Вас, и что в Гриньяне кормилице со стола всегда лучшие куски отдают. Дальше я обозвала его болваном и сказала, что никогда не поверю в эту околесицу. Он разъярился и давай вопить, что честное имя превыше всего, что только б...ь может подхватить заразу, и он-де пришел уверить меня в обратном. На этом месте он, похоже, готов был и сам передо мной разоблачиться. Я приказала выгнать его взашей; он подчинился, продолжая нести всякий вздор и грозясь пожаловаться г-же де Виллар; тем все и закончилось. Поясните же мне, что это за пикантная история[8].

Вы с таким почтением отзываетесь о кардинале де Реце и о его намерении отойти от дел, что одного этого было бы достаточно, чтобы снискать его признательность и дружбу. Кое-кто из моих знакомых считает, что ему все-таки стоило бы перебраться в Сен-Дени, хотя они же первыми его потом и осудили бы. Многим бы хотелось принизить благородство его поступка, но тут уж, будьте покойны, он никому не даст повода усомниться в своих намерениях. Вы красиво рассуждаете о счастливом стечении обстоятельств, но, право, лучше все-таки на это не уповать.

Отдельные места в Ваших письмах очень хороши; многие из них я перечитываю по нескольку раз. В ближайшие дни напишу, как тут будут восприняты Ваши слова о г-не де Тюренне. Кардинал де Буйон порадуется либо, напротив, опечалится, ибо это вновь вызовет у него слезы. После смерти нашего героя другой, “герой от молитвы”, предпочел укрыться в Коммерси; в Сен-Мишеле ему так и не удалось обрести покоя[9]. У первого президента палаты косвенных сборов[10] есть имение в Шампани. Однажды приходит к нему один из арендаторов с просьбой либо значительно снизить ставку, либо дать отсрочку по договору двухлетней давности. Начинают разбираться, дескать, это противу правил; так он возьми и ответь, что в бытность г-на де Тюренна можно было взять в долг под новый урожай и потом рассчитаться сполна; а вот теперь, когда его не стало, все подались в другие края из страха, что тут все отберут враги. Такие вот обыденные вещи порой выше всякого панегирика. Кстати, все, что Вы говорите о г-не де Лорже, лишнее тому свидетельство. Г-н де Лагард[11] все еще тут; вместе с семейством Ларошфуко они выезжали на прогулку в Шантийи и Лианкур. Он радовался, как пятнад-

цатилетний мальчишка. Я надеюсь увидеться с ним перед отъездом.

Не зовите более меня к себе; тем самым Вы отвращаете меня от невеселых моих обязанностей. Коли бы дать сердцу волю, то послала бы я эти дела ко всем чертям, да сорвалась бы вместе с Лагардом в Гриньян. Оставила бы тут своего Доброго Друга, потому что сейчас он скорее Зловредный, и денька четыре прожила бы как хочется, повинуясь одному лишь велению души. Это же чистое безумие смирять свои устремления в угоду рутинным делам и обязательствам! Боже мой, кто бы сказал, что лучше? Голова пухнет от всех этих мыслей. Увы, ныне вся моя правда — в делах, мысли же давно живут сами по себе, и, слава Богу, у меня нет нужды мирить их меж собою. Одно лишь стремление помочь Вам наполняет мою жизнь смыслом и составляет все мое утешение. На каникулы отправляюсь в Бретань и пробуду там до ноября, чтобы, вернувшись по милости этого бессовестного Мирпуа, снова погрузиться в судебные дрязги:

> Презренье смерти, торжество отмщенья —
> Им предалась в тот день я[12].

Эта Пюи-дю-Фу меня сильно раздосадовала. Если бы она и вправду любила г-на де Гриньяна, то давно бы уже все это прекратила; мы же видели, что единственной причиною последних ее поступков была одна лишь ярость против Мирпуа, который загнал ее в угол этими двумя десятками подписей. По природе своей она не способна принять ни одного взвешенного решения. Их разорение наделало много шума. Я ей вчера прямо сказала: “Знайте же, сударыня, Ваш братец воспользовался нашим искренним к Вам уважением и втянул нас в свои делишки. Если бы все то, что произошло нынче, случилось тремя годами ранее, то г-н де Мирпуа не имел бы ни малейшего основания отказать нам в ратификации под предлогом расстройства в делах”. Только вот ответа от нее не дождешься. Побежит к дверям, не подслушивает ли кто, убедится, что там никого, и все равно ничего путного не скажет. Жалкое создание. Повсюду только и разговоров, что о распродаже из этого дома: то что-нибудь из крупных вещей, то какие-нибудь мелочи. *Дурная голова ногам покоя не дает* — лучше не скажешь.

За военную кампанию в Бретани страшиться не стоит. Осталось совсем чуть-чуть, поверьте уж мне, трусихе. Думаю, что поеду туда в компании со старшим д’Аруисом.

Самочувствие мое в порядке. Добрейший Делорм приказал отложить порошки до зимы, а пока три дня кряду попить его

отвар; лучшее средство по такой жаре. Говорит, что худшее позади.

Штандарт[13] моему сыночку вконец опостылел. Помните наше безумное увлечение Дон Кихотом? Так вот, нынче он за сотни лье от того мыса, о котором, помните, мы ему все уши прожужжали[14]. Все, что есть ныне вакантного, истребовано либо для раненых братьев, либо для безутешных семей погибших, так что было бы непозволительно и бесчестно вставать у них на пути без крайней нужды. Предоставим же Провидению распутывать нити судьбы бедного нашего штандартюнкера; я же изо всех сил стараюсь его утешить. Если все-таки соберусь ехать, то прежде непременно сообщу адрес, который надо будет указывать на письмах. Что ж! Это мой крест; видно, таков уж печальный мой удел.

Переправьте мне с оказией то стеганое одеяло из дамаста; из него выйдет неплохой полог на Вашу кровать. Если в Лионе или Авиньоне попадется что-нибудь подходящее для занавесей, задника, спинки, подзора, рюшек и прочих милых штучек, то мы готовы будем к ним добавить три очаровательных оборки, а то в наших краях к ним совершенно нечего подобрать; получается, точно камзол с пустыми прорехами. Вот и будет у Вас по сходной цене целых две кровати со всем, что полагается. А больше Вам пока ничего не нужно. Хотим заказать для Вас ковер у королевских ковроделов; это было бы как раз то, что нужно.

Друзья нашей *путешественницы*[15], заметив, что их нечистая игра разгадана, стараются обратить все в шутку и выдать за забавное недоразумение; а коли что-то-де и было не так, так уже устроилось. За настоящее и будущее ручаться не берусь, а за прошлое — извольте, со времен избиения младенцев в этих краях ничего горше не случалось. Суверенитет прочен как у короля Фарамонда[16]. Quanto[17] в домашнем платье предается забавам в обществе *дамы из дворца*[18], а та от радости, что с ней считаются, млеет от счастья, готовая удалиться, будто простая горничная, по первому же движению век. Думаю, что писем у Вас прибавится, и рассказы малознакомых людей не окажутся Вам в тягость; все это по моей просьбе ради моего, а также и Вашего удовольствия на время моего отсутствия, стало быть, до пятницы, ибо я рассчитываю вернуться в Париж не ранее полудня в субботу.

Прощайте же, мой ангел. На сегодня достаточно. Вот уже звонят к вечерне.

Круженье колеса моей жизни вам хорошо известно.

Стоит чудная погода, я постараюсь больше ходить пешком, и одному Богу ведомо, с какой бесконечной нежностью в это время я буду думать о Вас!

1. Луи Тюрпен де Гриссе, граф де Санзеи, в 1675 г. пропал без вести в сражении под Концем. Приходился мужем Анне-Марии де Куланж, родственнице маркизы.
2. Филипп-Огюст Ле Арди, маркиз де Ла Трусс, — сын Генриетты де Куланж, тетки маркизы де Севинье.
3. Этот отрывок иллюстрирует романтическую сторону характера маркизы. Под именем короля Августа подразумевается маркиз де Грана, губернатор Кельна, в прекрасной принцессе угадывается г-жа де Куланж, к которой Ла Трусс, принц, испытывал в то время нежные чувства.
4. Господин Первый — Анри де Беринген, с 1645 г. первый конюший Короля.
5. Граф Люд Анри де Дайон, затем герцог дю Люд (1622—1685). С 1669 г. главный начальник артиллерии. На протяжении многих лет был влюблен в маркизу де Севинье.
6. Треуголка — кодебек — форменный головной убор военнослужащих того времени из грубой шерсти, который производили в г. Кодебек в Нормандии.
7. Во Франции того времени возвратом забытых и оставленных вещей занимались "напоминалы", прислужники из пекарни, где покупали хлеб и выпечку, которые в восемь вечера с криками пробегали по улицам в поисках владельцев утерянного.
8. Речь об уже изгнанной кормилице. Ходили слухи, что это граф де Гриньян передал "нехорошую" болезнь жене, а от нее, через ребенка, она перешла к кормилице.
9. "Герои выходят не только из битвы, / Есть слава от правды, а есть — от молитвы". (Ж.-Ф. Саразен. Надгробное слово памяти Вуатюра). В 1675 г. кардинал де Рец письменно заявил о своем отказе от сана кардинала (правда, папа официально не удовлетворил его ходатайство), распустил прислугу, оплатил долги и простым монахом-бенедиктинцем удалился в находившееся неподалеку от Коммерси аббатство Сен-Мийель (называемое иногда Сен-Мишель), где аскетически начал вести уединенный образ жизни. Иногда он посещал вверенное ему аббатство Сен-Дени близ Парижа, где продолжал исполнять обязанности настоятеля. Во время одной из поездок туда кардинал умирает. Г-жа де Севинье считала его отставку героическим поступком. Для нее она сродни героизму де Тюренна на поле брани.
10. Никола Ле Камю — генеральный прокурор, с 1672 г. первый президент палаты косвенных сборов. Он оказывал услуги г-ну де Вандому, губернатору Прованса, и в этой связи его имя неоднократно упоминается в переписке.
11. Лагард — речь идет о младшем брате Огюста Тома, маркиза де Лагарда, президента парламента города Экса. Он ссудил графу де Гриньяну значительную сумму денег.
12. Фрагмент монолога Медеи из трагедии Филиппа Кино (1635—1688) "Тезей" (II IX).

13. Должность штандартюнкера в полку легкой кавалерии Дофина была приобретена маркизой де Севинье для сына 18 апреля 1670 г.
14. Королевство инфанты Микомиконы из "Дон Кихота" — символ утраченных иллюзий и надежд.
15. Г-жа де Ментенон. Она сопровождала Луи-Августа де Бурбона, герцога дю Мэна (1670–1736), сына Людовика XIV от г-жи де Монтеспан на воды в Бареж.
16. Фарамонд — мифический предок Меровингов, первой королевской династии во Франции. В то время считался первым королем этой династии.
17. Quantova — прозвище Франсуазы Атенаис де Рошешуар, дочери маркиза де Мортемара, в замужестве маркизы де Монтеспан (1641–1707).
18. Королева Франции Мария-Терезия (1638–1683).

Вечер четверга

Сделала все как хотела, моя милая. Однако, видно, не судьба мне побыть в одиночестве. Утром я, как пай-девочка, выпила свои два стакана сенного отвара. Причесываться не стала; и до полудня оставалась spensierata[1], дабы не нарушить протекания естественных процессов. Только я со всем этим управилась, как на тебе, шестерка лошадей с каретой. А у меня к обеду, кроме единственного голубя, ничего. Оказалось, это чета де Вилларов с г-жой де Сен-Жеран и младшенькой посланницей[2]; не смогли отказать себе в удовольствии по столь чудной погоде сюрпризом нарушить мое уединение, а заодно и показать г-ну де Виллару известные Вам сады. Можете представить, что́ тут началось. Повар тут же принялся жарить-парить цыплят, голубей, словом, отобедали честь по чести. До шести вечера гуляли пешком, а потом подъехал экипаж нашего Аббата, где восседал он сам в окружении г-на де Куланжа и м-ль Мартель. Они привезли с собой куропаток. Так что плакало мое блаженное и столь вожделенное одиночество.

От бедного г-на де Санзеи по-прежнему никаких известий; нет его ни в списках погибших, ни среди раненых, ни среди попавших в плен. Гийераг справился даже у Его Высочества, нет ли у того новостей; Король милостиво ответил, что весьма опечален этим событием, но ума не приложит, что могло с ним приключиться. Можете представить, каково сейчас нашей бедняжке. Новости Вам пусть лучше перескажет г-н д'Аквиль. Меня заботит только осажденный Трир; как бы сына туда не перебросили. Мне бы толику Вашей решительности, чтобы признать, пусть уж лучше в Германии, чем на мессе у миноритов[3]. Ваши соображения по этому поводу не могут не вызывать восхищения.

Барабанщики пробарабанили было про воссоединение обеих подруг, но не тут-то было, его так и не случилось[4]. Первым среди барабанщиков был, конечно же, Бранка с доченькой. Об этой парочке Вы и без меня все знаете. Известный Вам куплетец[5] — сущий шедевр, и, кстати, то, что до сих пор никто не выболтал имени сочинителя — это тоже своего рода шедевр.

Принц д'Аркур потерял одного из братьев, а г-н де Гриньян — дальнего родственника[6]. Право не знаю, сколь значима эта утрата лично для Вас, здесь же она сродни иголке в стоге сена.

Еще я узнала, что покойный Сен-Люк[7] в письмах к маршалам Франции всегда ставил *Монсеньор*, ибо к их числу принадлежал и его батюшка, у графа де Гиша те же резоны; для всех остальных это становится нормой, и коль скоро приходится к ним писать, то копий по этому поводу уже не ломают. Я согласна с г-ном де Помпонном и советую вам оставить пререкания на этот счет с г-ном де Вивонном.

Королевские замашки[8] укоренились нынче так, что Вам и не снилось. Вставать нам более уже не пристало, никого вокруг мы не замечаем. Недавно одна безутешная мать, заливаясь слезами после гибели своего лучшего в мире мальчика, попыталась было на коленях испросить у Короля разрешения сохранить за семьей его должность. Она даже не остановилась. Тогда эта несчастная г-жа де Фруле[9] со стенаниями повалилась ей прямо в ноги, взывая о милосердии. Та проше-ствовала мимо и даже не замедлила шага.

Вы спрашиваете, сильно ли расстроила г-на де Ларошфуко гибель г-на де Тюренна. Разумеется, очень сильно. Что до его сына, так он лез в самое пекло. Можете порасспросить Ла Гарда; он подтвердит, что второго столь же честного и неподкупного при дворе не сыскать. Сейчас они все вместе в Лианкуре и Шантийи. Кому-кому, а ему-то будет что Вам рассказать. У Вас тысяча причин порадоваться встрече с ним. И курильницу он, кстати, Вашу захватит[10]. Господин кардинал приказал Вам ее переправить незамедлительно, и, похоже, досадует, что я не сделала этого ранее. Представить не могу, с чего это вдруг Вы решили, что отказаться от этой безделицы вышло бы честнее. Либо я несу вздор и ничего не понимаю в жизни, либо Вы собираетесь поступить до крайности неучтиво и бестактно, чего ранее за Вами не водилось.

Письмо кардиналу де Буйону от г-на де Гриньяна я переправила. С минуты на минуту жду Вашу "Венгерскую королеву" и за нее заранее стократ говорю Вам спасибо[11]. Обещаю

поделиться с г-жой де Виллар. Ваше участие — такая прелесть. Наш аббат вволю поторговался за Ваш ковер; он обойдется Вам в двести тридцать ливров, хоть бахрома у него искусственная, как у г-жи де Верней. Добрейшая ЛаТрош наконец-то успокоилась. Ходили разговоры, что братец *Табины* сражался, как юный Марс, и вроде бы сразил своего противника, но все это одни разговоры[12]. На сегодня прощайте, бесценное мое дитя. Все Виллары от Вас без ума. Мы с ними много говорили про это; они просто обожают Вас и очень высоко ценят. Прощайте же, моя милая, свет души моей. Целую дорогих моих внучат. Я очень тревожусь за малышку, зная что за отраву ей приходится глотать[13]. Я определенно виню во всем одну кормилицу, Полин тут ни при чем, а эти твари, что птицы залетные, а нам переживай потом за бедных малышек, за то, что они всю жизнь будут себя пожи́вой чувствовать.

1. Бездельничая, с пустой головой (*итал.*).
2. У г-жи де Виллар было четыре дочери, самой младшей из них исполнилось в ту пору 9 лет.
3. В монастыре францисканцев неподалеку от Королевской площади располагались казармы. Маркиза волнуется по поводу перевода сына из Фландрии, где войска не участвовали в активных военных действиях, в Германию, где разворачивались основные события.
4. Речь о примирении г-жи де Монтеспан и г-жи де Ментенон.
5. В этом куплете упоминались имена Бранка и его дочери: “Всем известно, как Бранка / спешит стать тестем кошелька”.
6. Сезар де Лоррен, граф де Монтлор, был тяжело ранен 27 июля и умер пять дней спустя. Через свою бабушку Маргариту де Монтлор он приходился родственником графу де Гриньяну.
7. Франсуа д’Эпине, маркиз де Сен-Люк — наместник короля в Гиени, позже губернатор Монтобана, генерал-лейтенант.
8. Речь о г-же де Монтеспан.
9. Анжелика де Бодеан в 1656 г. вышла замуж за Шарля, графа де Фруле, и в 1671 г. овдовела. Их старший сын, унаследовавший должность главного королевского квартирмейстера, был убит в сражении при Конце. Вдова просила оставить эту должность в семье для одного из ее младших сыновей.
10. Речь об античной курильнице, привезенной кардиналом де Рецем в подарок графине де Гриньян. Маркиза умышленно выдавала ее за копию, чтобы графиня согласилась принять столь дорогой подарок.
11. Вода венгерской королевы, спиртовой настой розмарина с добавлениями лаванды, шалфея, тимьяна и имби-

ря. Было известно, что этот настой чудесным образом вернул здоровье королеве Венгрии, когда той было уже семьдесят два года.
12. Намек на некую дуэль. Может быть, маркиза намекает на *Татину*, как называли Куланжи мадмуазель де Ла Трош? В этом случае речь могла бы идти о сыне подруги г-жи де Севинье.
13. По причине мнимого заболевания кормилицы.

Пятница, 23 августа <1675>

В нашем "дневнике" пора ставить точку. Г-н де Куланж и м-ль Мартель уже собираются в обратный путь; я же думаю тронуться завтра поутру. Намеревалась было с ними, но г-жа де Пюисье любезно взяла на себя труд уговорить г-на де Мирпуа на ратификацию[1]. Она исполнена желания горы свернуть, прислала мне письмо и просит быть у нее завтра после обеда с кем-нибудь из Гриньянов или с аббатом де Куланжем. Мне непременно нужно туда поспеть. Что до событий дня нынешнего, то, по моим наблюдениям, г-н де Куланж имеет намерение поведать Вам о них лично. Нежно и тысячекратно Вас целую, прежде чем уступить ему перо.

1. Попытка г-жи де Пюисье не увенчается успехом.

Госпоже де Гриньян

Париж, понедельник 26 августа <1675>

Вам смешно, но я и вправду вечно что-нибудь забываю. Вот, к примеру, забыла, что г-н Давонно от Вашего имени просил адрес г-на д'Аквиля; в моей последней записочке[1] на это, конечно же, не хватило места. Это на улице Вилледо, а пока, моя милая, не стоит мне слать писем для передачи. Боюсь, что я получу их уже в Бретани. А в другое время это такая радость, и было бы нехорошо с Вашей стороны лишить меня ее. Я также написала шевалье, приложив Ваше последнее письмо.

Пришло время доложить Вам о нашем разлюбезном Мирпуа. Итак, г-жа де Пюисье всерьез озаботилась этим делом. В субботу утром я вернулась из Ливри. Сразу после обеда от-

правилась к ней; увидела, что она вне себя от злости на г-на Мирпуа, у которого, говоря по совести, нет никакого резона противиться ратификации, если не считать того, что он самый бесчестный человек во всей Франции: мелкая душонка, взбалмошный, извращенный ум, он труслив и злопамятен, панически страшится делать людям добро и упивается возможностью довести до отчаяния всех, кто имел неосторожность связаться с ним. Ему нашептали, что имущества г-на де Белльевра достанет, чтобы погасить долги, и что если кто-то разоряется, то вступает в силу шестилетний срок давности[2]; ни о чем другом он теперь и слышать не желает. Толкует о каких-то *расторжительных письмах*; но ведь это безобразие распространяется лишь на убогих да малолетних. Мне-то понятно, что это как раз его случай, но судьи, по счастью, подходят к подобным ситуациям с подобающей серьезностью и вряд ли поверят в его неосведомленность[3]. Он намеренно старается свести в могилу и г-на де Белльевра, и г-жу дю Пюи-дю-Фу, которые накануне на коленях умоляли оставить в покое г-на де Гриньяна, а все свое жестокосердие, если ему так хочется, перенести на них одних. Как и пристало варвару, он даже не подумал поднять их с колен и не удостоил ни единым словом. Они буквально кипят от негодования и полны решимости как можно скорее покончить с этим делом, ибо отлично понимают, что мы оказались втянутыми в него по причине их нерасторопности и нашего безграничного к ним расположения. Г-жа де Пюисье не оставляет попыток вразумить этого мужлана, а Бандей[4], с которым мы видимся ежедневно, заверяет меня, что ратификация лишь вопрос времени, и де Белльевру просто выгодно выставлять себя жертвой, и что на исповеди у господина коадъютора он вроде бы каялся в чем-то, а в чем, сказать не захотел, зато обронил, что спешить не собирается, ну а стало быть, не стоит и мне. Все, что говорит и вытворяет этот Мирпуа, прямо хоть сейчас в комедию, но коль скоро сюжет этот омерзителен, а Мольера, который смог бы сотворить из него чудо, увы, больше нет на свете, то я воздержусь от дальнейших комментариев. Дело это сводится к тому, что либо г-жа де Пюисье и Бандей в течение ближайшей недели с ним покончат, стало быть согласятся на ратификацию, либо придется судиться[5]. В обоих случаях мне надо ехать и с помощью нашего аббата попытаться навести порядок в делах, до которых за последние четыре с половиной года попросту не доходили руки; впрочем, можете не сомневаться: дальнейшие наши планы будут целиком зависеть от обстоятельств этого дела, ибо оно задело нас за живое.

Скандальная распродажа имущества г-на де Белльевра произвела в Париже такую сумятицу, так расстроила денежное обращение, что все в ужасе; будто небо вот-вот обрушится на землю. Г-жа де Лаварден уже две недели пытается раздобыть пятнадцать тысяч франков, чтобы окончательно расплатиться за землю (заметьте, даже для этого!), и не может. В ответ только: "Сударыня... г-н де Белльевр!..." — и ни гроша.

Кстати, о маркизе, она отправила Вам полный отчет и приложила к нему записочку. Она в Вас души не чает. Не тяните с ответом, что, впрочем, не в Ваших правилах. Писать ей надо на улицу Сен-Пэр, в предместье Сен-Жермен; она съезжает с одного места, а мы с д'Аруисом — с другого. Куда Вам впредь адресовать письма, я сообщу позже. Судейские вакации многим дали возможность выехать за город. Двор перебрался в Фонтенбло. При одном упоминании о нем меня бросает в дрожь, но они-то едут туда повеселиться[6]. Дай Бог, чтобы на наши головы в ближайшее время ничего не свалилось! Трир активно отбивается; объявись пуля, коей суждено сразить маршала де Креки, она отыскала бы его с легкостью, ибо отчаяние толкает его в самое пекло.

Господин Принц прибыл к войскам в Германии. Проезжая по нашим местам, он сказал одному человеку: "Мне бы пару часов потолковать с тенью г-на де Тюренна, чтобы проникнуть в его замыслы, понять ход мыслей и намерений относительно этих мест, выспросить про художественную манеру этого Монтекукули". Услышав в ответ: "Сударь, Вы исполнены силы; Господь да хранит Вас из любви к Вам и к родной Франции!", он лишь пожал плечами.

Сынок сообщает, что принц Оранжский, похоже, намеревается осадить Кеснуа, а коли это правда, то они на пороге решительной кампании. Г-н де Люксембург спит и видит, чтобы за него замолвили словечко в нужном месте; он безмерно счастлив, ибо роль тени господина Принца[7] ему вполне удалась. Так что со всех сторон неспокойно.

На случай гибели бедного де Санзеи, о судьбе которого так ничего и не слышно, я попросила у г-на де Лувуа разрешения купить должность командира полка с правом перепродажи штандартюнкерства[8]. Виконт де Марсилли выполняет при нем роль защитника моих интересов и обещает позаботиться об ответе; я, конечно, была бы рада получить его из рук самого г-на де Санзеи. Однако, поверьте, если у г-жи де Санзеи будут хоть малейшие претензии на этот счет, я, конечно же, не посмею стать у нее на пути, как из одного лишь почтения к Сент-Эрему не стала заводить речь о полке Короля; но когда-то Король лично поручил этот небольшой полк

Санзеи, а сейчас его просто так перепоручат кому-то еще. Г-н де Куланж полностью посвящен в эти дела. С мечтами о Пикардийском полке можно расстаться, коли не задаваться целью разориться[9] в ближайшие два года. Мало сказать *разориться,* но еще и *ославиться;* коль скоро стоять на грани разорения и при этом одалживаться, как это случалось ранее, ныне запрещено, то позора не избежать. Третьего дня неожиданно воскрес второй из Шенуазов, племянник Сент-Эрема[10]. Немцы взяли его в плен; вот где стоило бы поискать г-на де Санзеи. Во время поисков юного Фруле, прежде чем опознать бедного мальчика, обезображенного дюжиной ранений, пришлось приподнимать, переворачивать, пересмотреть полторы тысячи тел. Безутешная его родительница просит оставить в семье выкупленную ранее должность главного квартирмейстера; она плачет, стенает, умоляет и не поднимается с колен. Все обещают подумать; между тем на эту должность уже двадцать два или двадцать три претендента. По правде говоря, всякий день только и слышишь, что ни одно из случавшихся до маршала де Креки поражений не сопровождалось большим смятением и беспорядицей. В субботу у г-на де Помпонна видела его жену. Ее не узнать; беспрестанно в слезах.

Г-н де Помпонн и г-жа де Вэн просили меня передать Вам самые дружеские приветы; думаю, что если вдруг Вам понадобится обратиться к нему как к министру, то лучше будет в письме поставить его имя, а адресовать его г-же де Вэн, и не потому что ей так хочется, а потому, что так вернее.

Г-н де Помпонн толкует мне про какую-то неразбериху в Провансе; я про это ничего не слышала. Прошу просветить, о чем речь; он говорит, что виной всему де Кориолис, председатель парламента, который все никак не перестанет строить из себя истинного провансальца[11]. Я тогда задаю вопрос: “Ну, а г-н де Гриньян-то при чем тут?” — “Сам-то он ни при чем, — поясняет он мне, — но ведь у каждого из нас есть друзья, за них и хлопочут”. Не забывайте, что это Прованс. Он поведал мне еще о какой-то депеше по своему ведомству, которую, минуя его, адресовали напрямую г-ну Кольберу[12]. Мне показалось, что такое поведение весьма его задело, и он хотел бы знать, как такое могло получиться; пребывая в полном неведении, я попала в неловкую ситуацию. Говорю ему: “Уверена, что г-н де Гриньян тут ни при чем”. — “Об этом и речи нет”, — отвечает он. — “Ну, тогда, — говорю я, — это все проделки г-на д’Оппеда. И как вам такие замашки?” — “Меня они премного позабавили”, — заключил он. Я в тот день была явно в ударе, виданное ли дело, ни о чем не ведая, поддер-

жать разговор, словно ты в курсе событий. Дайте мне знать, из-за чего весь сыр-бор. Лучше, чтобы все оказалось именно так. Ла Гард выезжает через неделю; все время какие-то задержки. Вчера он у меня обедал; наговорились от души. Этого же желаю и Вам с ним в Гриньяне. Он беспокоится за здоровье господина архиепископа, да и на меня страху нагнал. Он захватит для Вас венгерской воды, башмаки и двенадцать коробков с пилюлями.

Не думайте, милая, что смерть г-на де Тюренна позабылась у нас столь же быстро, как прочие известия; не проходит и дня, чтобы о нем не вспомнили и не всплакнули:

Он грезится везде, ничто с ним не сравнится.

Эти строки как раз про него. Вы говорите, что воистину блаженны те, кого обошла стороной столь тяжкая утрата! Однако всеобщее внимание к ней лишний раз заставило вспомнить о доблестях сего славного человека. Известие о том, сколь потряс Вас Сент-Илер своим рассказом, весьма меня порадовало. Он выжил; будет теперь привыкать управляться левой рукой. Твердость и красота души еще сослужат ему добрую службу. Смею предположить, что известие о мелкой неудаче нашей армии изрядно Вас удивило; с самого рождения Вы и не слыхивали ни о чем подобном[13].Один лишь коадъютор[14] сумел использовать все это во благо, добавив тем самым блеска и свежести своей торжественной речи, успех которой, по меньшей мере в глазах придворных, составила именно эта ее часть, умные же головы воздают ей должное целиком, от начала и до конца. В субботу они с нашим красавцем аббатом отобедали у меня; общество любого из Гриньянов доставляет мне несказанное удовольствие.

К слову сказать, милая, кроме меня ни при дворе, ни по всей Франции Вам не сыскать другой такой матери, которая бы горевала при мысли, что ее родная дочь купается в любви, и почитала бы себя одну достойной чести коротать свои дни подле нее. Но таковы промыслы Фортуны, они обрекают меня на смирение вопреки мукам, о коих умалчиваю, полагаясь на Ваше во мне участие. И тогда письма наши друг к другу есть благо, ибо они лучшее, что у нас есть. Знаю, сколь утруждают Вас ответы на мои письма, сколь отвлекают они от соблюдения ваших светских приличий. Вы сетуете на недостаток новостей; а каково мне дважды в неделю читать про такое. Да ни одна книга не способна заменить этих никуда не годных, но писанных для Вас одной писем; готова ручаться, что Вы лишь наскоро проглядываете их. Но коль скоро Вы находите в них

усладу, моя милая, то мне этого и довольно. А тут еще наш толстяк-аббат наговорил мне всякого про Бретань. Понятно, что только известия о смятении в рядах бунтовщиков окончательно склонили меня в пользу того, чтобы ехать; он же уверен, что я просто решила воспользоваться оказией, словно бы лучшей до скончания века может не представиться.

Шевалье де Лоррен воротился к Месье как ни в чем не бывало; нашлась-таки добрая душа, воротившая его на праведный, а может, и гибельный для него путь. На эту незначительную новость никто и внимания не обратил; она, что пылинка, против гибели г-на де Тюренна и всего, что за этим последовало. И если Вам вдруг показалось, что подобные пустяки могли затмить столь значительные события, то Вы глубоко заблуждаетесь.

Г-жа д'Арманьяк разродилась сыном, у г-жи де Лувиньи тоже сын, а у г-жи принцессы д' Аркур — дочь, у госпожи Герцогини неделей раньше также родилась дочь.

Прикладываю пакет для Корбинелли, по моим расчетам, он должен быть сейчас в Гриньяне. В нем письмо от м-ль де Мери.

Наш кардинал все еще в Сен-Мишеле. Сейчас ему напишу, там хорошо. Аббат де Понткарре прямо светится от Ваших писем; он их обожает, читает очень внимательно, потом мне пересказывает и благоговейно хранит. Вы не можете себе представить, до чего живо и увлекательно Вы рассказываете о самых простых вещах.

Мадмуазель прибыла на купания[15]; в Фонтенбло она ехать не хочет.

Сердечно целую г-на де Гриньяна и своих внучат, но Вас, моя милая, в первую очередь. Это все чушь, будто материнская любовь восходит по ступеням до безумного обожания внуков; моя все так же на первом этаже, и уж коли эта малышня мне дорога, то единственно из любви к Вам. Прощайте же, моя несравненная и самая любимая. Если вдруг г-н де Вард все еще в Гриньяне, передайте ему привет, пишите мне больше о Вашем житье-бытье.

1. Ироничное высказывание о предыдущем письме, связанное с ритмичностью доставки корреспонденции. Дело в том, что письма, написанные по пятницам, всегда были вполовину короче писем, написанных по средам, где маркиза отвечала сразу на два полученных к тому времени письма дочери.
2. Без удовлетворения в этом случае оказались бы все те, кто не заявил о своих долговых претензиях в течение предшествующих шести лет. А так как претензии Мирпуа

были зафиксированы в брачном свидетельстве сестры его супруги, второй жены графа де Гриньяна, еще в 1666 г., то он полагал, что ему опасаться нечего.

3. *Расторжительные письма*, практика которых существовала вплоть до Великой Французской революции, предоставляли судьям право в случае обращения одной из сторон пересматривать, а при необходимости и отменять ранее принятые в ее отношении правовые акты, если будут доказаны несовершеннолетие или умственная неполноценность этой стороны.

4. Бандей, поверенный Мирпуа, с которым маркиза была хорошо знакома.

5. Окончательное решение по этому делу в пользу графа де Гриньяна будет принято лишь в 1677 г. в результате многочисленных судебных разбирательств.

6. Когда дочь в последний раз уезжала из Парижа, маркиза проводила ее до Фонтенбло.

7. Принц Конде только что отбыл к войскам в Германию. Действия Люксембурга были направлены на то, чтобы помешать слиянию армий Принца Оранжского и герцога Целльского.

8. Речь идет о возможности карьерного роста для Шарля де Севинье, сына маркизы.

9. Пикардийским полком командовал погибший Ла Марк, но эта должность стоила слишком дорого.

10. Его, как и первого племянника де Сент-Эрема, командира Королевского полка, считали погибшим.

11. Пьер де Кориолис — выходец из семьи, которая с 1568 по 1786 гг. дала семерых председателей парламента в Эксе и где он сам, будучи председателем, стоял во главе фракции нотаблей. "Строить из себя провансальца" в то время означало плести интриги, сутяжничать.

12. Так как Прованс сравнительно недавно был присоединен к Франции, то в международных отношениях он зависел от секретариата по иностранным делам, стало быть, от Помпонна. Вместе с тем по финансовым вопросам необходимо было обращаться к Кольберу, а по военным — к Лувуа, отсюда и путаница, о которой говорится в письме.

13. Начиная с 1646 г. французские войска ни разу не испытывали горечи поражения (исключая зарубежные экспедиции: Неаполь, Канди). Стойкость Голландии и отвод войск в 1672 г. официальная пропаганда не рассматривала как поражение французской армии.

14. Жан Франсуа Поль де Гонди Рец (1614—1679) — кардинал, коадъютор архиепископа Парижского, затем архиепископ. Один из предводителей Фронды. Родственник и друг маркизы.

15. По поводу принятия ванн в Париже пишет Франсуа де Бассомпьер в своих записках, что в Сене купалось одновременно до 4 тысяч человек. В июле 1666 г. д'Ормессон отмечает: "Стоит страшная жара, весь Париж с утра до вечера принимает речные ванны, среди мужчин, нимало не смущаясь, купаются и дамы".

Париж, среда 28 августа <1675>

По понедельникам больше писать не стану. Ума не приложу, как меня угораздило напутать тогда в датах. Знаю только, что писала Вам трижды: в понедельник, среду и пятницу, чтобы было что почитать. На этой неделе все оставлю как есть, ибо в понедельник уже писала, а потом вернусь к прежнему порядку. Если б можно было писать каждый день, я бы только порадовалась, впрочем, я иногда так и делаю, хотя ускорить отправку нет никакой возможности. С радостью я пишу только Вам, писать всем остальным душа не лежит, разве что по необходимости.

Истинно, не могу сдержаться, моя милая, чтобы лишний раз не помянуть г-на де Тюренна. Дело в том, что г-жа д' Эльбеф[1] приехала на пару дней навестить кардинала де Буйона, и вчера они пригласили меня к себе на обед, чтобы всем вместе погоревать о нем. Там же была и г-жа де Лафайет. Как хотели, так и вышло; до вечера проплакали. Она привезла с собой дивной работы портрет этого героического человека, а скорбная процессия прибыла только к одиннадцати часам; все они, бедные, были в трауре и плакали навзрыд. Зашли какие-то трое господ и, взглянув на портрет, чуть было не отдали Богу душу. От их стенаний сердце готово было разорваться в груди; никто не мог вымолвить ни слова. Камердинеры, ливрейные лакеи, пажи, трубачи — все горько рыдали, их настрой передался и остальным. Первый, кто обрел дар речи, взялся отвечать на наши скорбные вопросы. Мы спросили об обстоятельствах гибели. В тот вечер он намеревался исповедаться и тайно отдал для этого необходимые распоряжения, а на следующий день, в воскресенье, собирался принять Святое Причастие. Он весь был в мыслях о предстоящем сражении и, отобедав, в два часа пополудни вскочил на коня. Свою многочисленную кавалькаду он остановил в тридцати шагах ниже на склоне, а сам решил подняться на холм. "Дожидайтесь меня здесь, дорогой племянник, — велел он юному д'Эльбефу, — в таком окружении меня легко могут узнать". Ближе к вершине он встретил г-на д'Амильтона, который сказал ему: "Сударь, выше подниматься не стоит; вы рискуете попасть под обстрел". — "Да, да, — отвечает маршал, — я только на минуту. Смерть в мои планы на сегодня никак не входит; все будет хорошо". Тут он поворачивает в сторону Сент-Илера, который со шляпою в руке обращается к нему со словами: "Сударь, не угодно ли Вам обратить внимание на батарею, которую я приказал расположить вон там". Тронув поводья, маршал едва успевает сделать два шага вперед, прежде чем в него попадает

ядро, мгновением раньше оторвавшее Сент-Илеру руку вместе со шляпой; оно пронзает грудь нашего героя навылет, раздробив прежде кости руки. Сент-Илер остановившимся взглядом все еще смотрит в его сторону и видит, что он по-прежнему в седле. Конь испуганно метнулся к тому месту, где остался юный д'Эльбеф, голова всадника при этом ткнулась в луку седла. Конь внезапно замирает как вкопанный; тело сползает на руки порученцев. Маршал дважды медленно поднял веки, широко открыл рот, после чего замер навеки. Представляете, в это мгновение он был уже мертв; ядро вырвало кусок сердца. Крики, слезы. Г-н д'Амильтон приказывает всем замолчать и отрывает юного д'Эльбефа от бездыханного тела, в которое тот судорожно вцепился, зашедшись от рыданий. Набросили плащ. Перенесли в безопасное место. Замерли в молчании. Подъезжает экипаж; маршала отвозят в палатку. Едва живые от ужаса там собрались г-н де Лорж, г-н де Руа и другие, усилием воли им удается взять себя в руки, чтобы вспомнить о тяжком бремени, которое лежало на его плечах.

Во время походного отпевания в лагере слезы и стенания лучше всего выражали всеобщую скорбь. На офицерах траурная перевязь; бой затянутых в креп барабанов; пики опущены, мушкеты прикладом вверх. Одна только неподдельная скорбь могла сподобить целую армию слиться в едином крике. Оба родных племянника (старшему мешает сан)[2] присутствовали при прощании, и их состояние Вы можете себе представить. Г-н де Руа, весь израненный, велел нести себя на руках, ибо все происходило уже после отхода за Рейн. Мне кажется, что наш бедный шевалье тоже тяжко пережил боль утраты.

После того как армия простилась с прахом своего командира, горе выплеснулось на улицы. Рыдания сопровождали кортеж повсюду, особо отличился Лангр. Человек двести в глубоком трауре заняли место во главе процессии, за ними двинулась толпа народа; весь клир в праздничных одеждах. Была заказана торжественная месса, в какой-то момент объявили сбор пожертвований, чтобы покрыть пятитысячные затраты и оплатить переход до следующего по маршруту города. Что скажете, это ли не искренние свидетельства людской любви, это ли не признание величия заслуг?

В Сен-Дени процессию ожидают либо сегодня к вечеру, либо завтра в течение дня[3], толпы людей вышли навстречу, за два с лишним лье от города. Пока не возведут новую часовню, прах его будет покоиться в старой. В ней же пройдет погребальный молебен, а церемония торжественного прощания состоится позже, в Нотр-Дам.

Что скажете про такие наши развлечения? Как Вы догадываетесь, мы все-таки отобедали, а далее горестно повздыхали до четырех часов. Кардинал де Буйон справлялся о Вас, он уверен, что, будь Вы здесь, непременно пришли бы разделить нашу печаль. Я рассказала ему о Ваших тягостных переживаниях. Он исполнен готовности непременно написать Вам и г-ну де Гриньяну, а покуда велел передать уверения в его искреннем к Вам расположении, и добрейшая д'Эльбеф — тоже, ведь они с сыном лишились всего. Нехорошо пересказывать снова то, что Вам уже известно, но эти подробности из первых рук так меня потрясли, что мне захотелось наглядно показать Вам, как тут у нас "забывают" г-на де Тюренна.

Ваши планы относительно шевалье я целиком поддерживаю[4]. Свой ответ пусть он напишет Руссо[5], а я предупрежу, чтобы тот немедля принес его мне; мы напишем, что делать, чтобы Ваш переводной вексель попал кому нужно, тем более что сам Руссо отправляется в аббатство проведать господина коадъютора, после этого станет ясно, куда его адресовать; его братьям не советую: они почти всегда в отъезде.

Г-н де Ла Гард, впечатленный рассказами о доблести шевалье, недавно обмолвился, что попросил обоих братьев приложить все усилия, чтобы при сложившихся обстоятельствах попытаться помочь ему уже в этом году, и что оба они полны решимости и горят желанием сделать все возможное[6]. Наш добрейший Ла Гард сейчас в Фонтенбло, вернется через три дня, чтобы потом, наконец, тронуться в путь, чего, по его словам, страстно желает; но от жизни при дворе отказаться непросто.

Состояние бедной Санзеи ужасно. О судьбе ее супруга по-прежнему никаких известий. Его нет ни среди живых, ни среди мертвых, ни среди раненых, ни среди пленных; слуги, посланные ею на поиски, молчат.

Г-н де Ла Трусс, обронив было, что в день битвы он якобы слышал о его гибели, теперь молчит и не пишет ни строчки ни бедной Санзеи, ни г-ну де Куланжу. Приходится согласиться, что высокое положение с милосердием не в ладах[7]. Мы уж не знаем, чем утешить бедняжку, ибо она, похоже, вот-вот потеряет всякую надежду; было бы не по-людски не поддержать ее в такую минуту. Сама же я почти уверилась в гибели ее мужа. Кровь и пыль могли обезобразить тело до неузнаваемости. Его вполне могли не опознать и сразу же закопать. А может, его схватили и убили подальше от всех, могли и крестьяне спрятать тело где-нибудь за плетнем. Столь печальное развитие событий видится мне более вероятным, нежели все разговоры о пленении и отсутствии возможности дать о себе знать.

Аббат полагает наш выезд столь необходимым, что я не в силах ему противиться. Он, увы, не вечен; и коли есть на то его добрая воля, то я хочу воспользоваться этим себе во благо. Мы пробудем в отлучке месяца два, так что если вдруг г-жа де Пюисье, от которой мы все еще ждем известий, так и не выдаст нам эту ратификацию, то после Дня святого Мартина придется снова обращаться во Дворец[8]. Ну а если повезет и мы добьемся успеха, то все равно вернемся, ибо здоровье нашего добрейшего аббата оставляет желать лучшего, и ему не очень хотелось бы остаться на зиму в Бретани, о чем он говорит совершенно открыто, мне же остается притворяться, будто я ничего не понимаю; а вот тем, кто вздумал бы меня обмануть, я не завидую! Знаю, что зимой навалится скука. Долгие вечера унылы, как длинные перегоны. Однако же в ту зиму, когда Вы, моя милая, были тут подле меня, я не скучала вовсе; Вам же при Вашей молодости немудрено было бы и заскучать. Вспоминается ли Вам, как мы с Вами читали? И если бы мы могли тогда отгородиться от всего, что дальше этого столика и даже от книги, то все равно не угадали бы, что́ у нас впереди; на все воля Провидения. Я все не могу забыть Ваши тогдашние слова: *скука, она как грязь на дороге, из нее тоже надо выбираться; никому ведь не придет в голову замереть посередь месяца и из одного страха не попытаться прожить его до конца. Это как со смертью; нет никого, кто бы ни пытался избежать этого финала.* В Ваших письмах встречаются порой вещи, которые не получается, да и не хочется, забывать.

[243]
ИЛ 5/201

Добрались ли до Вас, наконец, мой друг Корбинелли и г-н де Вард? Я была бы этому очень рада; вот бы уж наговорились от души. А если Вы только и делаете, что обсуждаете всякие мелочи да смерть г-на де Тюренна, не пытаясь представить, что же изо всего этого выйдет, тогда что у вас, что у нас — все одно, и провинция ваша тут ни при чем.

Вчера с нами ужинал г-н де Барийон. Говорили только о г-не де Тюренне; он преисполнен самой искренней скорби. Вспоминал глубокую его порядочность, говорил о его безупречности, как ценил он бескорыстие истинной добродетели, как почитал ее высшей для себя наградой, а напоследок заключил, что тот, кто его искренне любит, кто отдает должное его заслугам, не может при этом сам не становиться лучше. В его кругу не терпели плутов и двурушников, и одно это возвышало всех его друзей над простыми смертными. К их числу он всегда причислял и нашего славного шевалье, которого любил и почитал, а тот, как и многие другие, боготворил этого великого человека. Такие люди приходят в этот мир далеко не каждое столетие. Не думаю, чтобы этого не ви-

дели и не понимали, во всяком случае, те, кого я знаю; одно сознание принадлежности к их кругу способно возвысить нас в собственных глазах.

Попробовала разобраться в датах. Ясно, что я написала Вам в пятницу 16-го; до этого в среду 14-го и в понедельник 12-го. Один лишь Паколе, да еще благоволение Монтелимара, неким дьявольским способом могли бы переправить мое пятничное письмо; посмотрите еще раз хорошенько на это чудо, а потом, чтобы снять у меня камень с души, напишите "среда, 30 число", а на следующем – "воскресенье"[9].

Но давайте поговорим еще чуть-чуть о г-не де Тюренне; было бы зазорно не вспомнить о нем. Вот что вчера рассказал мне наш миниатюрный кардинал. Вы ведь знакомы с Пертуисом[10] и знаете, с каким обожанием и преданностью тот относился к г-ну де Тюренну. Узнав о его гибели, он немедля подает прошение Королю: "Сир, я только что лишился г-на де Тюренна. Я чувствую, что мой разум не в силах смириться с этой утратой; будучи не в состоянии продолжать служить Вашему Величеству, прошу освободить меня от губернаторства в Куртре". Кардинал де Буйон помешал передаче этого письма, однако, опасаясь, что тот объявится лично, доложил Королю о тех последствиях, которые возымело на Пертуиса охватившее его отчаяние. Король, в полной мере разделяя боль его утраты, уверил кардинала в еще большем своем уважении к г-ну де Пертуису и попросил передать, чтобы тот оставил мысль об отставке, ибо хотел бы и впредь полагаться на его честность вне зависимости от состояния его духа. И таковы все, кто оплакивает сего героического человека. Оставалось еще поделить сорок тысяч ренты; г-н Бушера подсчитал, что после оплаты долгов и пошлины на наследство остается всего лишь десять тысяч ливров: каких-то двести тысяч франков на всех наследников, да еще при условии, что эти судейские крючкотворы чего-нибудь не придумают. Вот и все, что удалось ему скопить за полвека службы.

А вот еще одна история про геройство. Итак, шевалье де Лоррен надумал вернуться. Он распахивает дверь в кабинет Месье и с порога заявляет: "Месье, г-н маркиз д'Эффиа и шевалье де Нантуйе передали мне, что Вы высказали пожелание вновь оказать мне честь, позволив занять место подле Вас". Месье не стал отнекиваться, но посоветовал выразить Варангвилю сожаление по поводу случившегося. Появляется Варангвиль. "Сударь, – обращается к нему шевалье де Лоррен, – Месье пожелал, чтобы я объявил Вам, что сожалею обо всем, что произошло". – "Сударь, – восклицает Варангвиль, – и это все, что Вы можете предложить в качестве сатисфакции?" – "Сударь, – отвечает шева-

лье, — это все, что я имею Вам передать с пожеланиями здоровья и процветания". Месье поспешил прервать эту беседу, более походящую на шутовство. Тогда Варангвиль пытается зайти с другого бока: "Месье, — говорит он, — умоляю Вас попросить шевалье де Лоррена подтвердить его уважение и дружеское ко мне участие на будущее". Месье передает все это шевалье, на что тот отвечает: "Ах, Месье! Это, право, слишком для одного дня!" Таков венец всей этой истории. Вы не находите, что гнев, угрозы, возвращение, сатисфакция — все это было рассчитано загодя? Это ли не пример полной нелепицы? И если бы Вам хотелось, чтобы все случилось именно так, тогда Вы могли бы радоваться от души, словно бы слышали все собственными ушами.

Прикладываю записочку от г-жи де Пюисье, она лишний раз покажет Вам сколь приятен г-н де Мирпуа. Перестаньте забивать себе голову всеми этими делами. Как поживает господин архиепископ? У Вас не было мысли пригласить его к себе?

Прощайте же, моя самая милая, разлюбезная и бесконечно любимая. Сегодня вечером у маркизы д'Юксель я повидалась с г-жой де Бриссак и господином Главным. Этой герцогине и за тысячу лет меня не приручить. Мужчин я все-таки ценю больше, чем женщин. Осыпаю Вас поцелуями, дорогое мое дитя, и делаю это с такой нежностью, какую и представить себе невозможно.

1. Элизабет Де Ла Тур д'Овернь (1635—1680) — вторая жена герцога д'Эльбефа, племянница маршала де Тюренна. Ее сын — Анри, герцог д'Эльбеф (1661—1748).
2. Речь о герцоге де Буйоне, кардинале, графе де Лорже и графе де Руа, родных племянниках маршала. Церемония воинского прощания состоялась 12 августа в местечке Их-терсхейм.
3. Кортеж прибудет в Сен-Дени на следующий день, в четверг 29 августа, около 10 часов вечера. Церковное отпевание в Сен-Дени состоится 30 августа, а в Париже, в соборе Нотр-Дам, — 9 сентября. Известно, что была еще и третья заупокойная служба, которую также 30 августа отслужил Боссюэ в главной обители кармелитов в Париже, куда было доставлено сердце маршала.
4. Речь идет о денежной ссуде, необходимой для продолжения военной карьеры Жозефа, шевалье де Гриньяна, брата графа де Гриньяна.
5. Жан Руссо (из рода де Рец) — адвокат Парижского парламента. Его имя часто фигурирует в нотариальных документах семьи де Гриньян в качестве поверенного в делах.
6. Речь идет о сражении при Альтенхайме 1 августа 1675 г. Господин, приехавший в Версаль 5 августа, — граф де Сен-Пон, адъютант Тюренна. Двое других братьев графа де Гриньяна — Жан-Батист (1639—1697), коадъютор, позже

архиепископ Арля, и Луи (1650–1722), епископ Эвре, а позже Каркассона.
7. Ла Трусс состоял в родстве и с семейством де Куланжей, и с г-жой де Санзеи.
8. Дворец правосудия. В те времена год прерывался не школьными каникулами, а вакациями служащих в судах.
9. Ни в июле, ни в августе 1675 г. 30-е число ни разу не приходилось на среду, а г-жа де Севинье никогда не писала по воскресеньям. Речь может идти об ошибочно указанной дате в письме от пятницы, 16-го числа, доставленном в Гриньян с непостижимой, *дьявольской*, быстротой. Гном – волшебник Паколе – является одним из героев популярного рыцарского романа Средневековья "Валантен и Орсон". Он сделал себе деревянного коня, который летал быстрее птицы.
10. Ги, граф де Пертуис – в 1659-м капитан отряда мушкетеров личной охраны де Тюренна. В 1673-м командует кавалерийским полком. Продвинувшись по службе, в 1679 г. становится губернатором в Менене, а в 1680 г. получает чин генерал-майора.

Госпоже де Гриньян

Париж, среда, 29 июля 1676 г.

А теперь, моя милая, смена декораций, которая Вам должна понравиться не меньше, чем самим участникам. В субботу мы с Виллларами были в Версале[1]; дела там вот какие. Вы представляете себе утренний туалет Королевы, мессу, обед, так вот, нынче уже не надо давиться в толпе, когда Их Величества за столом, ибо ровно в три Король, Королева, Месье, Мадам, Мадмуазель[2], все наличествующие принцы и принцессы, госпожа де Монтеспан, ее свита, все эти придворные, дамы – словом, все, что зовется двором Франции, входят в роскошные покои Короля, где Вам приходилось бывать. Интерьеры божественны; сплошное великолепие. Никакой духоты. Можно без суетолоки перейти куда вздумается. На время партии в реверси[3] всё замирает, у каждого свое место. Вот Король (карты в руках у г-жи де Монтеспан), Месье, Королева и госпожа де Субиз, далее г-н де Данжо[4] со своим окружением, Лангле и компания. Тысячи луидоров рассыпаны на ковре; и никаких тебе жетонов. Я следила за игрой Данжо и при этом не переставала удивляться, какие же мы глупцы против него! Он весь в игре и выигрывает там, где любой другой обречен на неудачу. Ему до всего есть дело, он все обращает себе на пользу, он ни на минуту не позволяет себе отвлечься; словом, его манера играть – словно вызов фортуне! За десять дней – двести тысяч франков, сто тысяч

экю за месяц, и весь приход заносится в специальную книжицу. Он сказал, что это я принесла ему удачу, заняв столь подходящее и приятное его глазу место.

Я поклонилась Королю, как Вы меня учили; он отвесил ответный поклон, словно бы я в самом деле была молода и красива. Королева так подробно выспрашивала про мое нездоровье, как если бы речь шла о родах. Она, кстати, и Вас вспоминала. Господин Герцог[5], как водится, буквально осыпал меня любезностями. Маршал де Лорж набросился с расспросами о шевалье де Гриньяне, словом, tutti quanti[6]: сами знаете, с каждым надо перекинуться хоть словечком.

Г-жа де Монтеспан рассказала про свою поездку в Бурбон; в ответ расспрашивала про Виши и про то, как мне там жилось. В Бурбоне у нее не только колену лучше не стало, так еще и зубы разболелись. Я нашла, что спина у нее, как говаривала маршальша де ла Мейере, что твоя доска, ну а если без шуток, то ее красота просто поражает: едва ли не вполовину похудела, однако ни глаза, ни губки, ни цвет лица от этого нисколько не потеряли. Она была с ног до головы во всем французском по последней моде, головка в мелких буклях. Щеки почти полностью скрыты ниспадающими с висков прядями. Черные ленты в волосах, жемчуга не хуже, чем у маршальши де л'Опиталь[7], а к ним еще бриллиантовые серьги и подвески чистейшей воды, три-четыре усыпанных алмазами заколки, открытый лоб, словом, триумф красоты на зависть всем послам. До нее дошли слухи, что из-за нее-де Франция лишена возможности лицезреть своего Короля, и, поглядите-ка, она его вернула, Вам трудно представить то всеобщее ликование и тот блеск, коим воссиял при этом двор. И эта несуетливая суета изысканности продолжается с трех до шести. По прибытии очередного курьера Король выходит, чтобы ознакомиться с донесениями, затем возвращается. Льется музыка, он прислушивается, по всему видно, что ему хорошо. Из дам он обращается только к тем, для кого эта честь стала уже привычной. Игра заканчивается ровно к указанному выше часу, подсчеты просты, итог ясен; нет ни жетонов, ни записей. Обычный кон — пятьсот, шестьсот либо семьсот луидоров, большой — тысяча, тысяча двести. Для начала каждый ставит по двадцать луидоров, итого сотня, дальше тот, кто набирает больше всех взяток, доставляет еще десять. Если у тебя quinola[8], то ты забираешь все, плюс еще по четыре луидора с каждого, и все пасуют. А если масть у тебя длинная и ты проигрываешь, то сам в назидание доставляешь на кон шестнадцать луидоров. Все переговариваются, ничего не понять. "А у вас есть черви?" — "У меня две, а у ме-

ня три, у меня одна, а у меня четыре". Стало быть, в игре еще либо три, либо четыре. А Данжо все эти разговоры только на руку: он весь в игре, он анализирует, он продумывает ходы. Короче, я была просто восхищена его мастерством, вот уж кто видит карты насквозь, он наперед знает, у кого какая масть.

Итак, в шесть часов все рассаживаются по каретам, Король, г-жа де Монтеспан, Месье, г-жа де Тианж[9], а милашка д'Эдикур[10] на откидном сиденье, словом, что тебе в раю либо подле *Никеи во славе*[11]. Вы же знаете, как устроены эти коляски, все сидят в затылок, лиц не видно. Королева с принцессами заняли другую карету, а следом уж все остальные набиваются по своему усмотрению. Потом катание в гондолах по каналу; отовсюду доносится музыка. В десять едут обратно; смотрят комедию. Бьет полночь; подают medianoche. Так прошла суббота; мы, впрочем, уехали, еще до того, как все стали рассаживаться по каретам[12].

Если бы Вы только знали, сколько раз со мной заводили речь про Вас, сколь часто расспрашивали про Ваши новости, а сколько вопросов задавали просто так, лишь бы спросить, скольких из них мне удалось незаметно избежать, скольким до этого не было дела, а мне до них тем более, тогда бы уж Вы воочию увидели этот "l'uniqua corte!"[13] Надо признать, однако, что никогда ранее там не было столь приятно, и все уповают на продолжение. Госпожа де Невер чудо как хороша, чудо как скромна, чудо как наивна; ее красота живо напоминает о Вас.

Г-н де Невер, как водится, самый забавный из Робинов[14], жена его так и пышет к нему страстью. Правильностью своих черт м-ль де Тианж[15] даст фору сестре. Г-н дю Мэн просто неподражаем; с его острым умом он позволяет себе говорить немыслимые вещи.

Г-жа де Ментенон, г-жа де Тианж, *гвельфы и гибеллины*[16], представьте только, все тут. Стараниями милой принцессы де Тарант Мадам буквально осыпала меня знаками внимания.

Г-жа де Монако[17] осталась в Париже.

Намедни господин Принц удостоил своим вниманием г-жу де Лафайет, тот самый "alla cui spada ogni vittiria è serta"[18]. Как можно не растаять от подобной милости, тем более что он не очень-то расточителен на них в отношении дам? Все его разговоры только про войну; как и мы, он весь в ожидании известий. Те, что доходят из Германии, вызывают трепет. Говорят, однако, что из-за таяния снегов в горах Рейн настолько поднялся, что противник более нашего пребывает в замешательстве. Рамбюр[19] был застрелен по неосторожно-

сти одним из своих солдат во время перезарядки мушкета. Осада Эра[20] продолжается, там уже есть погибшие среди лейтенантов гвардии и солдат. Армия Шомберга[21] в полной безопасности.

Г-жа де Шомберг снова меня возлюбила, поэтому наш барон[22] купается пока в лучах благосклонности своего генерала. Этот *хвастунишка* бездельничает, как, впрочем, и все остальные; пусть себе поскучает; если захочет контузию какую получить, то пусть сам себе ее и устраивает. Да хранит их всех Господь в этой праздности! Таковы, милая моя, все эти утомительные детали: либо они покажутся Вам скучными, либо придутся по сердцу, вот только безразличной остаться не дадут. Хоть бы у Вас случилось то самое настроение, когда Вы мне порой пеняете: "Ах, так Вы не желаете со мной говорить, так за что же тогда я обожаю свою мамочку, которая скорее умрет, чем вымолвит хоть словечко". Ну а коли вам взгрустнется, так это не по моей вине, как, впрочем, и Вашей вины не было, когда я опечалилась смертью Рюйтера[23]. В Ваших письмах случаются порой воистину божественные строчки.

Вы так занятно пишете про свадьбу, и это радует. Рассудок взял-таки верх, только вот поздновато уже. Постарайтесь, чтобы господин де Ла Гард на меня не гневался, и, как всегда, мои приветы г-ну де Гриньяну. Общность взглядов на Ваш отъезд вновь делает нас друзьями.

Вы полагаете, что я заострила свое перо исключительно для того, чтобы восхвалять доблести господина Главного[24]. Что ж, не без этого, однако мне казалось, что мой рассказ о его страстном желании возвыситься или, на худой конец, получить звание маршала Франции, как в старые добрые времена, больше походил на подтрунивание. Однако как это Вас задело; мир, увы, так несправедлив.

Вот и Бренвилье[25] так же казалось. Никогда прежде такое обилие преступлений не рассматривалось столь благосклонно; ее даже толком и не допросили. Кто-то внушил ей надежду на помилование, да так крепко, что она и мысли о смерти не допускала, уже на ступенях эшафота неожиданно произнесла: "Все ведь обойдется?" Наконец-то ее прах развеян по ветру, исповедник же, однако, говорит, что она святая. А ведь господин Председатель лично ей этого чудо-духовника[26] выбирал. Впрочем, Вам ведь случалось видеть карточных шулеров? Они тоже тасуют, тасуют колоду, а потом, отвернувшись, предлагают вам вытащить карту. Вы ее вытягиваете: во всяком случае, Вам кажется, что это Вы ее сами тянете, на самом же деле Вам ее ловко всучили. Беспро-

игрышный вариант. Маршал де Вилеруа сказал недавно: "После этого дела Пеннотье точно пойдет по миру". На что маршал де Грамон метко возразил: "Не раньше, чем прекратятся его званые обеды"[27]. Такие вот нынче шуточки. Думаю, Вы не удивитесь, если я скажу, что поговаривают о сотне тысяч экю, розданных нужным людям; истинная невиновность не нуждается в расточительности. Впрочем, чтобы написать обо всем, что мне известно, надо просидеть целый вечер. Ваши рассказы об этой премерзкой особе весьма занятны. Вы должны быть удовлетворены: куда-куда, а в рай-то ей дорога заказана; более того, столь подлую душонку надо бы вообще держать отдельно от всех. "Убить гораздо вернее и короче"[28]: тут мы с Вами согласны; это ведь сущий пустяк в сравнении с тем, чтобы целых восемь месяцев день за днем травить родного отца, удваивая дозу в ответ на его нежную привязанность и заботу.

Передайте все это господину архиепископу, мне же для облегчения страданий об этом поведали люди из окружения господина Председателя. Я показала Ланжерону[29] свои руки и ноги почти по колено, дабы он смог послужить Вам живым свидетелем. У меня есть тут одна мазь, которая, как уверяют, творит чудеса. Я же не живодер, чтобы принимать ванны из бычьей крови, да еще в самую жару[30]. Одна Вы, дочь моя, способны избавить меня от всех недугов. Если б только г-н де Гриньян мог представить себе радость, которую он доставил мне, согласившись на Ваш приезд, то она одна послужила бы утешением в те полтора месяца, которые ему предстоит провести в одиночестве.

Г-жа де Лафайет помирилась с г-жой де Шомберг. Та необычайно милостива ко мне, а ее супруг — к моему сыночку. Госпожа де Виллар спит и видит, как бы сбежать в Савойю, она заедет к вам по пути. Корбинелли[31], что ни говори, от Вас без ума. Он по-прежнему трогательно обо мне заботится. Наш Добрый Друг просит передать, что ждет не дождется Вашего приезда; он уверен, что и для меня это будет лучшим лекарством, Вы ведь знаете, как он меня любит. Часто вспоминаю Ливри, порой делаю вид, что начинаю задыхаться в надежде, что мне позволят туда выехать.

Прощайте же, любезная и любимая Вы моя. Не заклинайте меня любить Вас. О, право, ни о чем другом я и не мечтаю; и никто не посмеет упрекнуть меня, что я хоть в чем-то Вам отказываю.

1. До этого события г-жа де Севинье не бывала в Версале почти год.

2. Мадам — титул жены брата короля, Мадемуазель — титул незамужних племянниц и двоюродных сестер Короля, Месье — титул старшего из братьев короля.
3. Реверси — карточная игра, в которую обычно играют вчетвером либо впятером. Победителем считается тот, кто набирает наименьшее количество взяток.
4. Филипп де Курсийон де Данжо — доверенный Короля. Увлекался литературой и обладал безупречным вкусом. Сколотил состояние за игорным столом, где был удачлив благодаря точному знанию правил и необычайной наблюдательности. Его честность при этом всегда оставалась вне подозрений.
5. Господин Герцог — это Анри-Жюль де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский. По всей вероятности, они были дружны с дочерью г-жи де Севинье.
6. Вперемешку, но не в беспорядке (*итал.*).
7. Франсуаза Миньо, вдова фермера. В 1653 г. стала второй женой маршала де л'Опиталя, а позже тайной супругой короля Польши Яна Казимира после отречения того от престола. В воспоминаниях современников часто упоминаются ее драгоценности, вкус и умение их носить.
8. Валет червей (*итал.*). Судя по расчетам маркизы, за столом пятеро. Г-жу де Севинье, похоже, больше интересует величина ставок, чем техника самой игры.
9. Габриэль де Рошешуар, маркиза де Тианж, — старшая сестра г-жи де Монтеспан.
10. Г-жа д'Эдикур (1644—1707) воспитывалась в доме маршала д'Альбера, барона де Пона, которому они с сестрой Элизабет доводились племянницами. Была очень хороша собой. Вышла замуж за Мишеля Субле, маркиза д'Эдикура, от которого у нее родилась дочь. Г-жа Скаррон (будущая маркиза де Ментенон) воспитывала эту девочку вместе с детьми г-жи де Монтеспан, поэтому та была посвящена в личные дела королевской семьи.
11. Никея, героиня серии средневековых испанских романов "Амадис Гальский", восседала на троне в окружении принцесс, которые держали перед ней волшебное зеркало, где она любовалась отражением Амадиса Греческого, в которого была страстно влюблена. Обладала даром превращать в статую каждого, кто поднимет на нее глаза.
12. Г-жа де Севинье соединила в одном письме то, что увидела собственными глазами (до 18 часов) и то, что ей, видимо, рассказали позже.
13. "...с величием дворцовым". (Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим", VII. 13). Перевод В. С. Лихачева.
14. Робин — влюбленный пастух из пьесы средневекового трувера XIII в. Адама Горбатого. Со временем стал синонимом "глуповатого простака".
15. Диана-Габриэль де Дама — дочь маркиза де Тианжа, племянница г-жи де Монтеспан. По свидетельствам современников отличалась удивительной белизной кожи, красивыми глазами и длинным носом, который свешивался прямо к алым губам. Ее сравнивали с "попугаем с вишенкой в клюве".

16. В Средние века Гвельфы выступали защитниками Папы против притязаний германских императоров. Гибеллины, напротив, были противниками Папы. Их упоминание в письме указывает на соперничающие группировки при дворе. Возможно, что это намек на разгорающееся противостояние г-жи де Ментенон и г-жи де Монтеспан.
17. Катрин-Шарлотта де Грамон — дочь маршала Антуана де Грамона. В 1660 г. в возрасте двадцати одного года вышла замуж за г-на де Монако. Блистала при дворе и вместе с г-жой де Гриньян танцевала в балетных спектаклях; отличалась легкомыслием и свободой поведения.
18. "...меч коего всегда порукой был побед" (Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим", II, 69).
19. Луи-Александр де Рамбюр — сын маркиза де Рамбюра, полковник инфантерии, погиб в возрасте восемнадцати лет.
20. Эр — городок в Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
21. Фредерик-Арман де Шомберг (1619—1690) — выходец из Пфальца. В 1668 г. получил французское гражданство, а в 1675-м также стал маршалом Франции. Вторым браком был женат на Сюзанне д'Омаль д'Аркур, которая до замужества была большой жеманницей и подругой г-жи де Гриньян. Именно о ней здесь идет речь.
22. Шарль — сын маркизы.
23. Михаил (Михил) Адриансзон де Рюйтер или Рейтер (1607—676) — нидерландский адмирал.
24. Речь, по всей видимости, о графе де Люде, которым г-жа де Севинье одно время была увлечена.
25. Речь о Мари-Мадлен д'Обрей, маркизе де Бренвилье (1630—1676), знаменитой отравительнице. Она отравила отца, мужа, детей, двух братьев и сестер с помощью своего возлюбленного, капитана кавалерии Годена де Сент-Круа. 17 июля 1676 г. маркиза была казнена по приговору специального трибунала.
26. Ни общественное мнение, ни судьи не верили в то, что отравительница действовала в одиночку. Рассчитывали, что она назовет сообщников на исповеди. Но она так никого и не назвала.
27. Пьер-Луи де Рейш, сеньор де Пеннотье, был арестован 15 июня по делу г-жи де Бренвилье. Отравительница искусно использовала в своих целях нужных людей. Де Рейш был богат и пользовался дружбой и покровительством Кольбера. Отказ от проведения званых ужинов служил по тем временам первым свидетельством материальных затруднений, что и послужило поводом для шутки. Пеннотье вскоре вернулся к своим обязанностям и вновь стал давать званые обеды.
28. "Убить гораздо вернее и короче" (Мольер "Сицилиец", сц. XIII). Перевод с франц. З. Венгеровой.
29. Маркиз Жозеф Андро де Ланжерон (1649—1711) — морской офицер, представитель высшей аристократии Франции. В двадцать два года он уже капитан судна. С 1689 г. — командир эскадры, а в 1697 г. командует всеми военно-морскими силами Франции. В Мессине он влюб-

ляется в донью Корнелию Сигала, на которой решает жениться вопреки запрету Кольбера. Его берут под стражу и переправляют во Францию. Донна Сигала последовала за ним, но он к ней уже охладел. Именно тогда, в подражание басне Лафонтена "Стрекоза и муравей", появилось стихотворение, где действующими лицами были маркиз де Ланжерон, Корнелия Сигала, граф и графиня де Гриньяны.

[253]
ИЛ 5/201

30. Бурдело, личный лекарь семьи Конде, при приступах подагры предписывал принцу ежедневно какое-то время держать руки в пасти быка. Он же лечил и маркизу.

31. Жан де Корбинелли (1615—1716) — философ, друг юности и один из учителей маркизы де Севинье.

Григорий Стариковский
Мир Кристины

Славе Полищуку

1. *Остров* Монеган, *штат* Мэн

Прибрежные цветы раскачиваются и смотрят в небо. К противоположному берегу (противоположный — дикий, изрезанный скалами, излизанный прибоем, прекрасный) можно выйти по тропинке сквозь заболоченный подлесок. Даже когда лобелия льнула ко мне вогнутыми лепестками, я не верил и отворачивался, стыдясь сумасшедшей красоты. Ближе к берегу много хвойных деревьев: поверхность земли рыжевата, как будто земля наелась ржавого железа и забыла вытереть губы. Но даже хвоя в конце концов приедается. Я разглядывал бороздки и выемки, прочерченные водой на поверхности камня. Камень испещрен, как лист, от ритма к ритму, иногда зарифмован, как нутро ракушки, состоящее из нестрогих спиральных рифм. Я читал стихи, вдышанные в створы ракушек, оставленных приливом на базальтовых плитах.

По трапу почтового катера я спустился на берег и отправился разыскивать тропу, чтобы добраться до зазубренных скал, посмотреть, как петушатся дикие цветы на ветру и прибой рассыпает перед ними бисер соленой пыли. Четкое понимание цели моего путешествия сменилось терпкой, кружащей голову легкостью, тихим безразличием. Цветы лобелии вшептывали песни в мое сердце, убаюкивали память, как гомеровские сирены. Я постепенно забывал, зачем затеял эту поездку в новоанглийскую глухомань: города, краеведческие музеи, провинциальные библиотеки, заросший лесом лагерь военнопленных, мертвые немцы и русские — весь этот валежник встреч и наблюдений выгорал в льняном океанском воздухе.

© Григорий Стариковский, 2015

Тропа исчезала в зарослях голубики. Под конец прогулки я подвернул ногу и остаток времени до отплытия сидел на камне, погрузив правую ступню в ледяную воду. Разглядывал очерк материковой линии, моторки и парусники... Ира всегда говорит: *Приложи холодное, и все пройдет.* Я всегда прикладываю холодное. Вернее, прикладываюсь к холодному, как к изнанке этого, при первом прикосновении, теплого света. Восемнадцать лет назад мы приехали в эти края в отпускную неделю. Жили в хлипком флигеле, продуваемом океанскими бризами. По вечерам в нашей комнате летали стаи ошалелых мотыльков. Ира ловила их полотенцем, придавливала, выбрасывала в мусорную корзину. Я боялся мотылькового шороха. За продуктами мы ездили на плоскодонке — через широкий, мелкий залив. Когда вода прибывала, грести было легко, но при отливе океанское дно оголялось, я выпрыгивал из лодки и волоком тянул ее за собой. Ира сидела в лодке, держала на коленях сумку с покупками. В лавке торговали консервами: зеленым горошком, свеклой, кукурузой. Хлеб не имел вкуса, как дно залива, когда оно показывалось на свет — черное, илистое, чужое.

Вода холодная. Ветер свежий, занозистый. Взрослые загорают на камнях. Каждому пассажиру катера выдают памятку, в которой написано большими синими буквами: *Температура воды низкая, в океан заходить не рекомендуется, организм не справляется с быстрым охлаждением.* Так пишут взрослые, а детям плевать; с камня, похожего на кафедру проповедника, они ныряют в воду, проплывают несколько метров, выбегают на берег. Детям не страшно: *Мама, мама, посмотри, я угря нашел.* На острове живут художники. На восточной, дикой, стороне я видел мольберт с этюдом, довольно скверным. Живописец отсутствовал. Но художники здесь и вправду живут. Джимми Уайет, сын Эндрю Уайета[1], некогда купил здесь дом, но потом сбежал на материк. Тот самый Джимми Уайет, который дружил с Рудольфом Нуриевым и рисовал его до и после смерти танцора. На посмертном полотне Нуриев кланяется публике, поднимая мотыльковые руки.

Корявая, двухъярусная пристань. В магазинах торгуют изделиями местных ремесленников; хороши рукавицы — розовые, салатовые, разные, с глубоким, нежным начесом, из-за начеса узоры на рукавицах оплывают, туманятся. В кафе у пристани: две юные продавщицы, бывшие студентки, броси-

1. Эндрю Ньюэлл Уайет (1917–2009) — американский художник-классик. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

ли колледж, перебрались сюда на лето. Не жалеют, что бросили. *Что нам там ловить?* Хозяин кофейни носит штормовку и резиновые сапоги. Жалуется на хронический ревматизм. Время здесь забегает чуть вперед, опережает наше, Восточное. Атлантическое время висит на мобильнике. Туристы боятся опоздать на катер или на паром.

Я ждал, когда подойдет почтовый катер. Смотрел на будущих попутчиков и не мог понять, почему на их кроссовках, бутсах, свитерах, тишотках, джинсах, шортах — ни пятнышка грязи, ни одной хвоины, ведь многие из них приплыли на остров вместе со мной; так же, как я, лазали по скалам, бродили по заболоченным тропам. Мои носки, в девичестве — белые, приобрели бурый оттенок, шорты вымокли, пока я принимал ножную ванну, тишотка порвалась, зацепившись за еловую ветку. На обратном пути я раскрыл книгу, пытаясь отвлечься он тупой боли в ступне, но мой пьяный сосед, упитанный тип, горланил "Блюз Фолсомской тюрьмы". После каждого припева закатывал глаза в экстазе. *Говорила мне мать: не балуйся с пушкой, а я пристрелил мужика в Рино, только для того, чтобы увидеть, как он умирает... Теперь я надолго застрял в Фолсомской тюрьме, а время идет и идет...*

Капитан отклонился от курса, провел катер мимо двух базальтовых выступов. Один называется Выступом Старика, а другой — Выступом Старухи. Мы подошли к небольшому острову. Катер остановился, капитан сказал, что в одном из домиков на берегу — выводок строений, обшитых мышиной вагонкой — живет Бетси Уайет, вдова художника. Пассажиры тут же выбежали на палубу и принялись разглядывать поселение. Я спросил пожилую женщину: *Это правда, что Бетси живет в одном из этих домов?* Она ответила: *Правда, правда.* Она одна осталась на своем месте, не вышла на палубу вместе с другими. Возле ее ног растянулся сонный лабрадор.

2. В*искассет.* В*ид из застенка*

Джудит Саттер водит экскурсии. Живет через дорогу. Перед тем как открыть музей, приносит из дома два пластмассовых стула. Оставляет на лужайке перед тюрьмой. На всякий случай. Заботливая Джудит. Ее предки приплыли в Новую Англию из Германии. Эпидемия уничтожила половину пассажиров. Остальные, выйдя на берег, вместо обещанных молочных рек и плодородных почв, обнаружили дремучие леса и болота. Поселенцы построили дома, на вид — хлипкие, на самом деле — цепкие, живучие. Лютеранские церкви готовы

взлететь в небо. Если взлетят, то — вместе с городами, погостами. Немецкие пасторы живут долго. *Свобода*, говорят они, *это – Джизус в вашем измученном сердце.* В лютеранских церквях пахнет крашеным деревом. Историю здешних мест, начиная с приплытия баварских немцев, можно уместить в нагрудном кармане. Джудит гордится своим происхождением.

Стены тюрьмы сложены из гранитных блоков. Строение небольшое, на двенадцать камер. Крепкостенное, набыченное. Первую партию сидельцев привезли в 1811-м. Через год американцы воевали с англичанами: английские моряки, оказавшись в плену, смотрели сквозь узкие оконца на зауженный рукав залива, на пристань и на суда, уходящие в плавание. Джудит говорит витиевато: *В этом застенке самое страшное наказание – не муки совести, не вынужденное безделье в слякотных камерах, похожих на циклопьи норы, даже не кандалы, но вот этот вид на залив сквозь толстые прутья решетки.* Самое мучительное — каждый день видеть перед собой траву, утром изумрудную, вечером — с просинью, глядеть на отлогий берег, не имея возможности спуститься к воде и уплыть куда-нибудь. Лучше смотреть в темноту, в стену, к которой приторочены кандальные кольца.

Экскурсия началась с обхода казенной пристройки, где проживал начальник тюрьмы со своим семейством. Два манекена, женский и мужской, женский в трауре, мужской в вицмундире. Заштатное краеведение: патефон, швейная машинка "Зингер", заржавелый обод колеса, колченогое кресло. В этих краях сохраняют все, или почти все: мельницы, аптеки, церкви, погосты. Не то, что в "старой стране": там с аптеками и погостами не церемонятся. Я учился в 27-й московской школе, построенной на месте немецко-еврейского кладбища. Когда меняли трубы, в оголенной земле находили черепа и кости. Череп — хорошая замена футбольного мяча. Неплохо катится по газону. Надо только пинать аккуратно. Кости срослись с комковатым глиноземом. Белые кости, если отмыть их из шланга...

Я — единственный посетитель музея. Разнообразие приедается. Без человеческого присутствия швейная машинка — лишь тяжелый, прихваченный ржавчиной предмет. Музейная вещь мертва, если я не знаю, кто именно к ней прикасался, если неизвестен изгиб руки, заводившей патефон или глубина морщин между бровей вдовицы. *Просто "Зингер"* или *просто патефон* немногим отличаются от могильного камня, на котором стерто имя хозяина, дата рождения и смерти. Я сказал Джудит: *Спасибо, здесь я все посмотрел. Ведите меня в тюрьму.*

В камере было темно. Прожектор лежал в оцинкованном ведре. Джудит взяла его обеими руками. Вытянула руки, чтобы не запачкать блузку. Включила в сеть, навела на противоположную стену. Тотчас осветились надписи: даты, рисунки, обрывки стихотворений — все, что не стерлось, не исчезло в сырости. Вот карта мира: ободы полушарий, абрисы континентов. Ода географии, которой давно нет: вот Пруссия, вот Российская империя, вот английская колония там, где теперь Канада. Карта верная, сработанная каким-нибудь дебоширом-мореходом или учителем, отправленным в отсидку за долги. Чтобы не сойти с ума, он каждый день подолгу смотрел на карту и повторял про себя имена континентов и стран, названия мысов: Мыс Горн, Мыс Доброй Надежды... Только вот Персия почему-то находится в Аравии, но это ничего не меняет. Карта мира на стене камеры свидетельствует о стойкости духа (для меня теперь это очень важно) — воля на самом-то деле не там, за окошком, а внутри человека: захочет он быть свободным, и скажет себе "я — свободен", и будет свободен — в своем девятнадцатом веке. В двадцатом у него отобрали бы карандаш, превратили бы в зверя, извели бы душу, и редко-редко вспыхивала бы на периферии сознания шаламовская "сентенция". Хорошо гулять по этой тюрьме, разглядывать рисунки людей, не стертых в лагерную пыль... На противоположной стене запечатлен бравый солдат: ноги вывернуты в разные стороны. На яйцевидной голове — подобие треуголки, в правой руке он держит шпагу. Он размахивает шпагой, но совсем не страшен. Наоборот — смешон, а рядом еще один рисунок: фрегат, летящий по жирной, молочной побелке, летучий голландец, плывущий над кровлями обывательских берлог.

Я осматривал камеры, обитые железом двери, чугунные затворы. На стене мерцал стишок, выписанный аккуратным, опрятным (сказали бы аборигены) почерком: так в наших краях пишут только учительницы предпенсионного возраста. Почерк, очертания букв — еще одно напоминание о человеке, о приручении грифельного карандаша, о чуткости к форме букв, слов, знаков препинания. Старомодное изящество, которое не встретишь в нынешних ученических тетрадках. Теперь этот неоклассицизм от каллиграфии навсегда утерян. Кончилось время, когда почерк свидетельствовал не только о характере пишущего (аккуратный, взбалмошный, ленивый), но и о формировании характера через обязательную вязь и взаимную связность букв. Ученику говорили: сперва научись творить буквы, а потом уже пиши, что хочешь.

Джудит разрешила полистать факсимильную копию журнала прибытия и убытия сидельцев. На каждого заключенного заносили информацию: имя-фамилия, место проживания, время водворения, причина отсидки, краткое описание физических данных, возраст, время освобождения или перевода в другое исправительное заведение. Гроссбух находился в ведении тюремного начальника. Так, случайно, я оказался внутри гоголевской прозы, в реальности, параллельной "Мертвым душам". Я вспомнил помещиков, составлявших списки умерших крестьян. Вот, например, тюремщик-манилов: каждое имя заканчивается небольшой виньеткой, почерк томный, несколько даже мечтательный, выдающий человека задумчивого, мягкотелого. Такому надзирателю посещать бы исправно воскресную службу в соседней церкви, умиляться бы, а не заведовать тюрьмой. Не знаю, за какие такие заслуги он был назначен тюремщиком, но больше года манилов не продержался. Ах, как сладко домысливать: наверное, долгие лобызания с супругой отвлекали ее от стряпни, и сидельцы отощали без горохового супа и булочек, или новоанглийскому манилову надоело тянуть лямку служилого человека, и он подал в отставку и купил домик с садиком, и жена варила ему варенье с пенкой и вышивала сюрпризы. На его место заступил туземный собакевич, о крепком характере которого можно заключить по его основательному почерку (каждый кряжистый выгиб — скорее прогиб — буквы, как будто кричит: я — буква собакевича). Ни одна графа не пропущена, описание сидельцев сделаны весьма тщательно, даже с некоторыми излишествами: Сэм Томас, например, который проживал в Пилсбурге, 19 лет от роду, приговорен к трем месяцам отсидки за воровство яблок. Местный собакевич составляет избыточное описание: *Невысокого роста, волосы светло-каштановые, небольшая бородавка под носом, левый глаз меньше правого, правое ухо слегка оттопырено.* Или вот Джон Стелвич... Тюремщик сообщает, что *Стелвич – смугловат, плотного сложения, ходит немного подволакивая правую ногу.* Для кого предназначалась последняя подробность? Хромой Джон отбывал срок в кандалах, на жирной железной цепи, вживленной в гранитную стену. Иногда, правда, выходил во дворик под надзором тюремщика опорожнить корзину, заменявшую ночной горшок, поменять в ней соломенную подстилку. Стелвич приговорен за грабеж на большой дороге к трем годам заключения (скорее всего, за попытку грабежа). Иной приговор у Бенджамина Янга: ему вменялась в вину супружеская неверность и распутная жизнь. Попользовался насчет клубнички, а заодно заработал трехмесячный отпуск от

семейного узилища, вернее, поменял одно узилище на другое.

3. *Холтон*

Этот город можно взять в охапку и бросить в реку, и ничего от города не останется. Вздувшийся пластырь, налепленный на квадратные версты земли: вот-вот скукожится, совсем отлипнет. Центральная и единственная площадь, торговые точки по периметру площади. Деревянный, подвесной мост над рекой: дуговые арки — арфы с заледеневшими струнами. Древесина пропитана противогнилостным раствором. Перейдешь на другой берег, а там асфальтовая дорожка вдоль воды, сияет солнце и припекает, размывая случайную тень. Дорожка скоро заканчивается, истончается в тропинку. Мальчик подбегает к реке и запускает лодочку. Лодочка не хочет отчаливать. Он подталкивает ее. Лодочка плывет. Срез противоположного берега: в землю вверчены валуны, а над крутизной — сплошняком щерится лес, рахитичные деревья и цепкая поросль-падаль (из камня не вытянешь земляного сока; почвенный слой тонок). Это даже — не *дремучий* лес, а то состояние, которое следует за дремучестью. Если продираться сквозь заросли, ломая засохшие ветви, можно забрести в Канаду.

Как сторожевой пес, прикордонный Холтон уткнулся в канадскую границу холодным собачьим носом. Я люблю такие городки-городочки — за скрип вывески над швейной мастерской, за хрипотцу церковных часов в полдень, за почти прозрачную траву, растущую из каждой щели, за обязательные скверы с памятником воинам, павшим за Союз, — они вездесущи, бородатые истуканы с магазинной винтовкой Спенсера на бронзовом плече.

* * *

Руки говорят о человеке больше, чем глаза и губы. Его левая рука, жилистая и безвольная, подпирала подбородок, заросший недельной щетиной. В правой он держал бутылку голландского пива. Я сидел напротив и жевал вегетарианскую гадость. Он спросил, зачем я приехал в Холтон. Я ответил. Он поставил бутылку на столик, протянул руку (всю — от запястий до локтей — в царапинах и расчесах) и произнес: *Я — местный краевед. Могу вам пригодиться. Меня зовут Бо.*

Мы разговорились. Бо — дипломированный ботаник, хотя ботаником не проработал ни одного дня. Торговал мото-

циклами в Италии, гастролировал на Западном побережье с какой-то рок-группой, провел год в Ирландии, изучал гэльский. Вырос в Нью-Йорке. Руки говорят о человеке больше, чем глаза и губы. Безвольные руки вздрагивали, как пойманные рыбы на сухом песке. Узнав, что я преподаю латынь, спросил: *Как на латинском будет "дерьмо"?* Я ответил. Он продолжил экзаменовку: *А как – "голова твоя говенная"?* Я попытался выстроить фразу, но сбился. Он отхлебнул пива. Улыбнулся самодовольно.

Расскажите, пожалуйста, о лагере военнопленных. Я собираю информацию о русских, которые там оказались. Руки говорят больше, чем слова... Слова были сбивчивы, бестолковы. Он размахивал безвольными руками во влажном воздухе. Говорил о политике. Я не хотел никакой политики. Я хотел говорить о солдатах, взятых в плен в Нормандии. Он объявил, что мне он не завидует, потому что в каждой стране есть проблемы, но *твои люди насилуют сами себя, вы самые большие извращенцы.* Я подумал, обидеться мне или не надо. Не обиделся. Сказал, что это — не *мои* люди, а вообще люди, которые войну выиграли, но некоторые воевали за немцев. *Подумаешь*, ответил Бо, *войну выиграли. Когда она была, эта война? Вот она* (Бо раскрыл ладонь, как будто война лежала на ладони), и *вот ее нет* (он сдул невидимую войну). *Они, твои люди, больше ничего не умеют делать, только говорят о том, чего никогда не было... Они не мои, Бо, они сами свои*, ответил я. Он наклонился ко мне, как будто хотел поцеловать или ударить. Я расплатился и направился к выходу, но захмелевший Бо остановил меня: схватил за руку и прокричал: *Вообще не важно, кто за кого воевал, надо просто собраться всем вместе и вспомнить каждого, кто не выжил, немца, русского, героя и предателя, иначе вы все останетесь в дерьме.*

* * *

Черные мухи, по-нашему оводы, наверное, или слепни. Черные мухи жалят не вдруг, сперва налетаются всласть возле жертвы, высмотрят место побезопасней. Две-три мухи носятся вокруг головы. Траектория их стремительного полета — нимбообразна. Такой нимб был у женщины, охранявшей ангар возле летного поля: она пребывала в ореоле черноватой святости. Я спросил ее, как пройти к бывшему лагерю военнопленных. Она указала на ближайшую рощу.

Я отправился отыскивать лагерь. Прошел мимо сгоревшей двухэтажки, раскрытой с парадного входа, как книга. Огонь выжрал все — лестницу, панельную обшивку, окна, ав-

томобиль, оставленный в гараже. Возле взлетной полосы, где прежде стояли лагерные вышки, росли полевые цветы: маргаритки, кашка, куреслеп. В пролеске из-под бурьяна выглядывали низкие стены, вернее, то, что осталось от стен, а в центре бывшего помещения я рассмотрел выводок усеченных бетонных колонн. На миг показалось, что я набрел на развалины римской бани. Это был лазарет, в котором выхаживали оголодавших немцев.

Лагерь открыли 1 июля 1944 года на месте военного аэродрома. Первую партию — 300 человек — привезли из Массачусетса. Потом прислали еще 600. Прибывали по железной дороге, через Бангор в центр Холтона, потом на грузовиках — три мили — до лагерных ворот. 200 охранников сторожили лагерь. Комендант — Виктор Фелпс, из коннектикутской Национальной гвардии. Ему было хорошо за пятьдесят, слишком стар, чтобы воевать в Европе.

Привозили в пульмановских вагонах. Небритые, больные, в обносках. Те, которым можно было дать лет 25, еще не закончили школу, семнадцати-шестнадцатилетние призывники. Защитники Нормандии. В карманах хранили кусочки хлеба. Не хотели расставаться с хлебом. Думали, что хлебный мякиш — это все, что осталось от жизни. Каждому выдали одежду — ношеную солдатскую форму.

Два ряда колючей проволоки. 15 одинаковых бараков. По форме напоминали букву "Н": в "перекладине" располагался санузел. Утром и вечером поверка, воскресенье — выходной. При помощи университетских профессоров немцам устроили библиотеку в 4 000 томов. Каждое воскресенье справляли протестантскую и католическую службу. Остались фотографии: немецкий пленный, на заготовках древесины, остановился в зимнем лесу. Позирует. На другой фотографии немцы собирают картофель.

Их проверяли. В отдельной комнате расклеили фотографии: захоронения, газовые камеры, душегубки, люди в вагонах. Немцы входили в комнату по одному. Выходят, одни плачут, другие — красные, как вареные раки, третьи шипят злобно: *Зачем вы мне это показываете? Я здесь ни при чем, знать не хочу.* Они выпускали свою газетку "Дер Вахтер", гнали самогон из картошки, распевали американские шлягеры, вроде "Глубоко в сердце Техаса". В апреле 45-го перед самым концом войны отметили день рождения фюрера, расцветили бараки флажками со свастикой.

Из соседнего лагеря исчез молодой австрийский художник. Франц Бахер оставил объяснительную записку: *Сегодня я покидаю лагерь. Я живу для искусства, и в этом – причина побега.*

Если я продолжу работать на лесоповале, руки перестанут слушаться, и я не смогу рисовать. Побег оказался удачным. Бахер поселился в Нью-Йорке. Перебивался продажей собственных картин. Через несколько месяцев столкнулся на улице со своим земляком из Вены, военным переводчиком. Они знали друг друга с детства. Еврей Теодор Т. чудом спасся из нацистской Австрии, сперва оказался в Англии, потом в Штатах. Поговорили, разошлись. Через два дня к Бахеру явились агенты ФБР. Одни полагают, что встреча и арест — всего лишь совпадение. Другие считают, что Теодор выдал Бахера.

* * *

Марк Раефф, в будущем историк и профессор Колумбийского университета, в 1944-м — военный переводчик в Холтонском лагере. Он допрашивал прибывших, помогал заполнять карточки Красного Креста. Однажды Раефф услышал, как несколько человек переговаривались между собой по-русски. Раефф подготовил рапорт начальнику лагеря: *За очень небольшим исключением, русские почти сплошь – крестьяне, неграмотные. Образования у них нет, могут выполнять базовые функции, работая в фермерских хозяйствах. Многие воевали в армии Власова. Оружия им не доверяли, служили в подсобных соединениях, носили немецкую форму.* Русские не заполняли карточек Красного Креста. В лагере их было около сотни. Держали их здесь полгода, а в декабре 1944-го отправили в штат Айдахо, в другой лагерь, устроенный специально для русских военнопленных.

Фамилии всплыли только две, Никитин и Шибишев, если только фамилии эти не липовые. Пленные немцы потом вспоминали, что русские держались вместе, иногда собирались в столовой, пели *свои гортанные* песни, пили кока-колу. Русских посылали на уборку картофеля или на лесоповал — по сезону. Немцы говорили, что от русских толку не было, они ничего не умели.

Вспоминает фермерша. *Ехали как-то на фермерской машине в лагерь. В кузове группа русских и мешки с солью. Я веду машину. Слышу – кто-то дубасит кулаком по кабине. Останавливаю машину. Вижу – в кузове лежит русский, весь в крови, свернулся клубком, а вокруг стоят остальные, пинают его. Потом один из них, видимо, тот, который просил остановить грузовик, кивает на мешки с солью. Одного не хватает. Русский крутит пальцем, мол, разворачивайся. Я возвращаюсь в кабину, разворачиваю грузовик, проезжаю метров пятьсот и вижу недостающий мешок. Русские жестами показывают, что тот парень, который валяется в крови на дне кузо-*

ва, разорвал мешок и выбросил его на дорогу. Около мешка лежит горка соли... Вскоре русских отправили в пересыльный лагерь, а потом вернули на родину... Выжил ли кто-нибудь из них в сталинской России? Немцы пишут, что нет, всех расстреляли. Как предателей... Американцы сдержали слово, данное людоеду. Страна-освободительница добивала своих пащенков, чисто работали герои-смершевцы во рвах под Мурманском... Ничего не осталось от той войны, кроме пыли лагерного альбома в холтонской библиотеке. Только дунь на эту пыль, и не будет ее.

4. Мир Кристины

Темпера — сухой пигмент, смешанный на воде с яичным желтком. Уайет растирал пигмент между пальцами. *Пигмент, сросшийся с желтком, — обещание новой жизни,* говорил художник. Темпера не прощает погрешности, совершенства тоже не прощает. Для Эндрю Уайета это — вечная битва с драконом, с желанием достичь высшей точки мастерства. Совершенство формы изнуряет сердце. Уайет ищет золотую середину между безусловной ясностью предмета, между его обреченностью на бытие и червоточиной медленного умирания — в каждом предмете есть своя червоточина, надо только ее уловить. Когда работаешь с темперой, говорил Уайет, возникает ощущение, как будто ты находишься внутри кокона. Чувство сухого одиночества. Есть в темпере временна́я растянутость, как в египетской мумии.

Картина 1. “Ее комната”. Настежь открыта дверь. Дверь песочного цвета. Старинный немецкий сундук времен Войны за независимость, на крышке сундука покоится большая раковина. На подоконнике — ракушки, выстроенные по росту, одна за другой. В подслеповатой оконной слюде плоится океанская вода. В тот день случилось частичное затмение солнца. Бетси наблюдала затмение на берегу залива. Сыновья катались на лодке в устье реки... Настороженность воздуха, быть может, даже светобоязнь. Тень минутной робости перед возможной судьбой. Если внимательно всматриваться в картину, можно разглядеть автопортрет художника на круглой дверной ручке. Микроскопический портрет на полированной меди. Что остается после сильного удара двери об стену? Истончение звука в беззвучие. Художник нам говорит: *Дверь с шумом распахнулась, но вы не слышите ни единого звука, потому что на мгновенье вы оглушены.* Да, наверное, так и есть —

частичное затмение солнца претворено в окончательное затемнение слуха. Вот они, диссонансы, червоточины: крышка сундука слегка наклонена, как будто теряет равновесие, вода кривится в окнах, уже подпорченная недостатком света, левое окно чуть ниже правого. Это сказание о воздухе, из которого забрали половину света, о воровстве воздуха и — одновременно — повесть о протестантской незамутненности, четкости видения. "Прозрачность" Уайета — не более, чем зоркость полевого бинокля, наведенного на глухой лес. Иногда Уайета называют *хладнокровным хирургом, совершающим операцию над пациентом*, но для меня этот художник — не столько разрез, сделанный скальпелем, сколько шрам, оставшийся после операции.

Уайет сперва работал карандашом. Карандаш — рапира, которая накалывает на бумагу отдельно взятый миг. Плод каждого взгляда — бабочка образа, чем быстрее пришпилишь к бумаге, тем лучше. Сперва карандаш, потом акварель. Акварель позволяет схватывать образ быстро, еще до того, как первый импульс-укол оформится в замысел. Он рисовал десятки набросков, бросал ненужные на пол. Некоторые эскизы хранят следы подошв.

* * *

Картина 2. "Герани в окне дома Олсонов". Сквозные красные цветы. Они стоят на подоконнике ближнего окна, но как бы продолжены в створе дальнего, которое обращено к заливу. Рядом с дальним, на полочке — черно-оранжевая перчатка, оставленная Алваро, братом Кристины. Кристина сидит в синей полосатой рубашке. Она похожа на пугало — поношенная рубашка и слипшиеся волосы цвета вороньего крыла, перекошенные волосы, словно ворóны, которых отстреливают фермерские дети, а потом вешают на гвозди, и ветер раздувает черные перья. Уайет говорил: *Кристина всегда оказывалась в нужном месте в нужное время.* Она остается в тени, предоставляя стенам, окнам, предметам в комнате рассказывать о ней. Заостренные алые блики герани выхватывают сполохи света из окна, выходящего на залив. Герань — любимый цветок Кристины.

Здесь, в дома Олсонов, возникло редчайшее для меня ощущение принадлежности: я вернулся домой. И еще — я ощутил присутствие брата и сестры, которые жили здесь. Без Кристины и Алваро Олсонов нет новоанглийского, летнего

Уайета. Олсоны десятилетиями сопутствовали художнику. Брат и сестра Олсоны — бедняки. Кристина — инвалид, в инвалидной коляске сидеть не хотела, ползала — из спальни в кухню, потом в гостиную, цеплялась за подоконники и дверные косяки. Алваро колол дрова, косил траву. Присматривал за сестрой... Уайет подарил нам картины, в которых явлено полнейшее приятие судьбы человеком, обреченным на страдание. Олсоновская живопись Уайета — это эпическое повествование о женщине, претворяющей боль в гордость, в бессрочный жемчуг почти метафизической самодостаточности.

Экскурсовод, бывшая учительница, разговаривает с нами, как с шестиклассниками. Показывает репродукцию "Мира Кристины". Говорит экскурсовод: *Вот она здесь – моложавая, но на самом деле ей 55 лет* (усмехается экскурсовод); *вот она сидит на склоне холма, на котором стоит дом, где мы сейчас находимся. Она серьезно болела, не могла ходить, поэтому сидит на земле, подогнув ноги, и смотрит вверх – в сторону своего дома. Она не воспринимает немощь как беспомощность, самая страшная обида – пожалеть ее. Кристине Олсон болезнь досталась по наследству от отца, шведского моряка, который оказался в этих краях случайно и женился на 34-летней старой деве* (снова усмехается экскурсовод). Добавлю — издали кажется, что Кристина вот-вот взлетит над землей, начнет левитировать, но, если подойти ближе, можно увидеть, как она скребет по земле кривыми пальцами, как будто пытается войти в нее.

Картины 3 и 4. После смерти Кристины и Алваро Уайет возвращается в их дом. Вот синяя дверь, исцарапанная, с двумя поперечными досками. *Прекрасная голубая дверь*, написал Уайет в своей автобиографии. Беленая притолока. Швабра, побитое ведро, оставленное в чане, сковородки висят на стене. Голубая дверь справа — это Кристина, она (дверь) уже никогда не откроется; и та, левая, затемненная полусумраком дверь, которая — Алваро, она тоже закрылась навсегда. Здесь находилась кухня Кристины, здесь она пекла пироги с голубикой, а потом ползла до лестницы, оставляла глубокую тарелку на нижней ступеньке и кричала Уайету, работавшему наверху: *Эндрю, пирог готов.* Через год Уайет пишет "Конец Олсонов" — крышу дома с высокой кирпичной трубой. Труба напоминала художнику о голосах бывших хозяев. На самом-то деле Уайет изобразил кирпичное ухо (чуть не написал "око"): *Это не то ухо, которое прислушивается к вам, это – ухо, к которому прислушиваетесь вы.*

* * *

В детстве захлебывался от жажды — разрушить миропорядок, хотя бы искривить его до неузнаваемости. Мать возила Эндрю в магазин игрушек, баловала, покупала солдатиков. Дома он высыпал "маленьких людей" из картонных коробок. Война была главным делом его маленькой жизни. Война и рисование. Потомок цюрихских немцев готовил солдат к сражению, расставлял в боевом порядке, подгонял оловянную артиллерию. Порядок — явление красоты во взаимном расположении вещей. Мальчик любил порядок строя обреченных на смерть. "Маленькие люди" исполняли свой долг. Уайет вспоминал: *Мне казалось, я мог различить ухмылку на их раскрашенных лицах.* Там, где краска на мундире стерлась, там — фантазировал он — *запеклась смертельная рана.* Он давал им имена, рисовал оловянных, пластмассовых ратников: вот они идут в атаку, сходятся в рукопашной, умирают от снарядов и пуль. Когда "маленький человек" умирал, мальчик восторженно вскрикивал, хватал солдатика за холодное горло, а раненый — подсказывало воображение — корчился на окровавленной земле. Немцы. Франц́узы. Англичане. Американцы. Воины, павшие в Великой войне. Шлем, рюкзак, противогаз, винтовка со штыком. Раскрашенные, скуластые физиономии. Эндрю разглядывал газетные вырезки с фотографиями немецких солдат в заостренных шлемах, снимки летчиков-асов. Мертвые солдаты или еще живые, в окопах.

Картина 5. "Патриот". Ральфу Клайну семьдесят один год. Он владелец местной лесопилки, постоянный участник весенних парадов в День памяти. На парады приходил в военной форме. По улице шествовали ветераны, потом полицейские и пожарники, потом работники добровольной дружины Скорой помощи. Замыкал шествие школьный оркестр. Остальные стояли на тротуарах, размахивали флажками. Узкие губы Клайна почти срослись. Выбритое лицо, бесцветные, слезящиеся глаза, морщины возле глаз, облысевшая голова, она как будто живет отдельно от туловища (Уайет долгое время не мог забыть эту голову-луковицу). На кителе повисли две кучые медальки. Ральф помнит каждую мелочь своей бурной молодости, его память — прозрачная вода. Он похож на нашего школьного военрука Николай Семеныча. Глаза также слезились, губы — два тоненьких червячка. Подполковник запаса, артиллерист. Рассказывал, как воевал в Корее. Летчики в истребителях ругались отборным русским матом. Николай Семеныч командовал артиллерийским расчетом; он улыбал-

ся навстречу собственной памяти... "Патриот" — рассказ о натяжении морщин, пропитанных порохом и отравляющими газами. Образ раз и навсегда исполненного долга. В своем старом армейском кителе он похож на кардинала эпохи Возрождения. Когда Уайет писал портрет Клайна, художник вспоминал детство, отцовскую студию, запахи газет, фотографии генерала Першинга[1] или Чарльза Уайтлиси, командира "Потерянного батальона"[2], гимнастерку солдата, погибшего в Сербии в начале войны. Под кителем Ральф Клайн носил гимнастерку такого же покроя.

Тело мертвого солдата, как панцирь краба на пляже в Новой Англии. На безлюдном пляже. Вода ледяная, обдающая мороженым кипятком. Только дети могут здесь плавать, но дети разошлись по домам. Чайки выклевывают остатки крабьего мяса. Кто отпоет и оплачет мертвое олово, затянутое в мундир? Ребенок-ахилл хватается за карандаш и зарисовывает свободное плавание тела по загробной реке. Военная слава рассыпается, как птичий щебет... Есть еще слово, кривящее родную речь. Слово не позволяет превратиться в мертвое олово... Мы выросли на костях наших братьев. В нашей земле покоятся кости, которые никогда не станут воинами, сколько эту землю не вспахивай, не насыщай драконьими зубами.

* * *

Картина 6. "Горячие каштаны". Этого мальчика звали Аллен Мессерсит. Он продавал каштаны возле трассы № 202. Две глубокие колеи, оставленные в суглинке машинами. Джинсы, курточка а-ля Эйзенхауэр, лыжная шапочка. Д. Эйзенхауэру очень понравилась эта картина, он выпросил ее у художника: *Пусть пока повисит в Белом Доме.* Уайет вместе с картиной послал Президенту пригоршню жареных каштанов... Мальчик похож на верстовой столб, пенсильванский курос, с нашивкой на правом рукаве. Время, наверное, март, земля сырая, и

1. Джон Джозеф Першинг (1860–1948) — генерал американской армии, участник испано-американской и Первой мировой войн. Единственный, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание в армии США — Генерал армий Соединенных Штатов.
2. "Потерянный батальон" — легендарный сводный батальон американской армии, попавший в окружение в самом конце Первой мировой войны. Из 554 человек только 194 вышли из окружения. Командовал батальоном майор Чарльз Уайт Уайтлиси.

кустарник темен, в редких просветах воздуха за кустарником садится солнце. Там, где дорога исчезает на повороте, в щелях между трассой и землей лежит снег. Несколько тонких полос. Снег подчеркивает шероховатость земли. Возле ржавой железной бочки, где покоятся горячие угли, рассыпана серая соль прожженной угольной крошки. Каштаны спрятаны под фольгой в оцинкованной емкости. Из-под фольги истекает теплое дыхание каштанов. Сегодня покупателей не будет, но тепло под фольгой сохраняется. Мальчик, как лезвие желтой травы, которую треплет ветер. Хранитель тепла. Скоро наступит вечер. Сквозящий, мартовский, с заморозками. Сколько еще осталось каштанов. Он смотрит на дорогу. Дорога пуста.

Нью-Сити, 2014

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

Michael Zantovsky *Havel: A Life.* – Grove Press, 2014

В Америке вышла пятисотстраничная биография Вацлава Гавела, которую написал его друг и прессекретарь Майкл Зантовский – в настоящее время чешский посол в Англии. Автор не претендует ни на научную бесстрастность, ни на всеохватность своего труда. Но зато никто другой не смог бы увидеть Гавела – одного из самых выдающихся людей нашей эпохи – со столь близкого расстояния.

В рецензиях на книгу авторы выделяют разные стороны личности Гавела, по-разному относятся к нему как к президенту, по-разному интерпретируют высказывания. Уже одно это свидетельствует о том, каким многогранным человеком был Вацлав Гавел. Да и то сказать: если не считать Черчилля, с его Нобелевской премией по литературе, какой другой писатель тринадцать лет правил европейской страной в XX веке? Издатель новой биографии дает Гавелу такую краткую характеристику:

Вацлав Гавел – интеллектуал; смелый художник; страстный защитник прав человека; политический диссидент и политический заключенный; президент сначала объединенной Чехословакии, а потом разъединенной Чехии; бесстрашный провидец и при этом человек, полный противоречий, раздираемый сомнениями и самокритикой. Его биография – история замечательной личности, преодолевавшей ужасные времена.

Примером разного отношения рецензентов к Вацлаву Гавелу является интерпретация динамики его жизни. В газете “Уолл-стрит джорнэл” политолог Кирчик превращает (правда, полушутливо) жизнь Гавела в историю “гадкого утёнка”:

Жизнь Гавела, родившегося в 1936-м, содержит все элементы волшебной сказки. Сын богатого землевладельца, чью собственность отнял коммунистический режим, Вацлав оказался аутсайдером, был лишен права на высшее образование из-за “буржуазного происхождения” и стал самым артикулированным критиком режима, за что расплатился пятилетним тюремным сроком, едва его не убившим. С падением “железного занавеса” Гавел стал лидером революции – такой мирной, что ее прозвали бархатной. Народ выбрал его президентом новой Чехословакии, и с тех пор все жили долго и счастливо.

Другой рецензент прямо говорит, что "положение изгоя при коммунистическом режиме стало тем горючим, которое воспламенило" творчество Гавела, включая его политическую эссеистику. То есть он делает из Гавела мстителя — вроде графа Монте Кристо. Однако биограф пишет, что Гавела всегда, с юности, искренне заботили жизни других людей — его сограждан. Более того, он чувствовал свою личную ответственность за их судьбы. В 1978 году огромной популярностью пользовалась статья Гавела "Сила бессильных" — притча о зеленщике, который каждый день вывешивал в витрине плакат с коммунистическим призывом, а однажды взял и не повесил. Статья взывала к спасительной для страны коллективной ответственности.

В 1977-м Гавелом и его кругом была составлена "Хартия-77" в защиту прав гражданина. Ее подписали 1883 человека, и каждый подписант был наказан властями.

В 1979-м Гавел возглавил Комитет по защите несправедливо осужденных. За эту деятельность он получил четыре года тюрьмы, откуда вышел в 1983 году с хронической пневмонией. А в мае 1989-го в кафе на берегу Влтавы Гавелом и другими диссидентами было составлено обращение к руководству страны с предложением реальных перемен. Под этим обращением, названным "Несколько фраз", было уже поставлено 40 000 (!) подписей. Страна была готова к переменам.

Некоторые рецензенты считают, что биограф Гавела преувеличивает значение диссидентства в Чехии. Виктор Себестиан пишет в журнале "Спектейтор":

Горстка диссидентов не могла сломать "железный занавес" хотя они и проявили необычайное мужество. Дело сделали другие факторы: Советы проиграли войну в Афганистане; в 1980 году упали цены на нефть.

Вряд ли экономическое объяснение применимо к советской системе, которая семьдесят пять лет крепко держалась, притом что цены на нефть поднимались и падали и огромные средства тратились на войны и революции — от Кубы до Йемена. Что до диссидентов, то они, выразив в словах то, о чем все молчали, и сделав тайное явным, подломили важную (а может быть, и важнейшую) опору советского строя — идеологию.

В судьбе Гавела всегда сталкивались две его ипостаси: государственного деятеля и политика, с одной стороны, и писателя, свободного художника, выходца из пражской богемы — с другой. Зантовский так описывает жизнь Гавела в период между "Пражской весной" 1968 года и протестным движением 89-го:

Гавел пил, курил, спал с красивыми женщинами, слушал рок-н-ролл и баловался психотропными средствами. Это было безвременье, когда стагнация сопровождалась некоторой степенью гедонизма. Мы переходили с одной вечеринки на другую, пили, ложились в постель с совершенно незнакомыми женщинами и просы-

пались иногда в тумане, иногда в отчаянии. Многим из нас казалось, что так будет всегда.

Но когда арестовали популярную группу музыкантов по нелепому обвинению "в нарушении спокойствия", Гавел поднял на их защиту пражских интеллектуалов. С этого и началось его противостояние советской власти: петиции, аресты, тюремные сроки. Его известность росла, а обращение "Несколько фраз", написанное после очередного ареста и звучавшее в эфире по всем западным радиостанциям, сделало Гавела известным всему миру. Осенью 1989-го с выступлений студентов началась "бархатная революция", и среди её лозунгов был клич — "Гавела — на Град!" (то есть во дворец президента). Рецензент Себестиан пишет в журнале "Спектейтор":

Многие недоумевают, что дало Гавелу, не имевшему административного опыта, ощущение того, что он может быть лидером революции и главой государства. Зантовский отвечает на это так: "Он выглядел иногда человеком не от мира сего, но люди знали о неколебимости его принципов".

Отсутствие управленческого опыта было действительно полным. Зантовский вспоминает о начале президентского срока Гавела и о его "длинноволосых" советниках:

Их знание военной сферы было нулевым. Министром обороны должен быть генерал, но Гавел боялся, что генералы настроены просоветски. Интервьюируя кандидатов, он спрашивал, что они читают на ночь.

Гавел объявил всеобщую амнистию, выпустив на свободу не только политзаключенных, но и уголовников. Экономист Андерсон пишет в журнале "Бизнес — Новая Европа":

Гавел отказывался найти и даже просто одобрить партию, которая бы руководила переходом к рыночной экономике. Это позволило Вацлаву Клаусу — министру финансов (который позже стал президентом) — вести очень узкую экономическую политику. Гавел лишь слабо протестовал, когда Клаус строил рыночный капитализм без институтов его регулирования.

Любопытно, что все западные рецензенты считают и отделение Словакии от Чехии провалом Гавела-президента. Действительно, сердце замирает от радикальности такого шага — страна стала почти вполовину меньше. Понятно смятение Гавела, который был против отделения, но не решился ему противостоять, хотя даже референдум показал, что лишь 36 % словаков — за отделение. Андерсон пишет:

Разделение Чехословакии в 1992 году было согласовано политиками: Клаусом, уже премьером, и его словацким коллегой Мечиаром. Гавел не нашел компромисса и принял спорное решение — не выступать перед избирателями и не противостоять разделению, коль скоро оно будет мирным.

"Гавел, — пишет Зантовский, — обладал почти религи-

озной тягой к примирению. Он отказался судить чехов, замешанных в преступлениях советского режима, он извинился перед Германией за послевоенную высылку судетских немцев, он избегал конфронтаций и неизменно выбирал путь диалога, стремясь скорей понять, чем демонизировать позицию оппонента".

Надо добавить, что пацифистом он не был — он одобрил бомбардировки Сербии, которые совершались, как он писал, "в гуманитарных целях". (Опасная позиция для президента, обязанного оценивать не стремление к гуманитарной цели, а его реальный результат.) Многие думают, что Гавел был слишком хорошим человеком для должности президента. В последнем обращении к народу он сказал: "Всем, кого я разочаровал своими идеями и действиями, для кого я просто ненавистен, я приношу искренние извинения и надеюсь на прощение".

"Как президент, — пишет Себестиан в журнале "Спектейтор", — он сделал фатальную ошибку: слишком долго оставался на сцене".

Его целью было "вернуть страну в сердце Европы". Если бы он покинул офис, когда Чехия была на пути в НАТО и в Европейский союз, он бы ушел с достоинством. Но он остался на тринадцать лет. Он не поддался коррупции власти, но он был соблазнен идеей своей незаменимости.

И всё же Вацлав Гавел останется одним из главных героев XX века. "Его настоящее наследие, — пишет экономист Андерсон, — реальная победа романтической "бархатной революции", ставшей для всего мира поразительным примером мирного свержения диктаторских режимов".

The Selected Letters of Elia Kazan / Ed by Albert and Marlene Devlin. — Alfred A. Knopf. 2014

Элиа Казан — один из тех американских театральных и кино-режиссеров, которые вошли в когорту лучших режиссеров мира. Он работал в середине XX века, и в список его шедевров входят удостоенный Оскара фильм 1949 года "Джентльменское соглашение" с Грегори Пеком; фильм 51-го года "Трамвай 'Желание'" с Марлоном Брандо и Вивьен Ли; экранизация романа Стейнбека "К востоку от рая", премированная в Каннах; и ставший вехой в американском кинематографе фильм "В порту" с Брандо и Родом Стайгером — тоже получивший Оскара в 1955 году. Сейчас вышел том избранных писем Казана, и в одном из характерных писем, датированном как раз 1955-м триумфальным годом, он писал Джону Стейнбеку:

Сколько бесценного времени прошло, и как мало я его использовал. Я спрашиваю себя: "Это — всё?", "Всё делалось только ради этого?!" Иногда я чувствую себя, как разрекламированный, но бесправный источник благополучия семьи. Я делаю то, чего ждут от

меня жена, родные и общество, а вовсе не то, что я хотел бы делать. Я воображаю, какой волнующей и полной может быть жизнь, но что-то не пускает меня броситься за ней.

В это время Казану было сорок пять. В его послужном списке, помимо создания (вместе с Ли Страсбергом) знаменитой "Актерской студии", уже были легендарные спектакли — по пьесам Теннесси Уильямса "Трамвай 'Желание'" и "Кошка на раскаленной крыше" и по пьесе Артура Миллера "Смерть коммивояжера", а также несколько его лучших фильмов. К 1955 году он уже успел заслужить горячую любовь американской интеллигенции и затем, в одночасье, потерять ее.

В 1952 году на пике славы Элиа Казана вызвали в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Он подозревался в симпатиях к коммунистической партии, членом которой недолго состоял в молодости.

Напомним, что семья Казана происходила из анатолийских греков, которые были чужаками даже в Греции. К комплексу изгоя добавил эмоций опыт иммиграции. Не так уж и удивительно, что в юности он соблазнился идеями братства народов и социального равенства. В 20–30-е годы американские и европейские интеллектуалы с энтузиазмом принимали многообещающие идеи коммунизма, и только позже, узнав подробности их применения на практике в одной отдельно взятой стране, в ужасе отшатнулись от "великого эксперимента".

Элиа Казан был таким отступником, и в 52-м году, по требованию Комиссии, назвал имена бывших однопартийцев. Важно, что он назвал имена, уже известные Комиссии, но культурная элита не приняла в расчет столь слабого оправдания, и Казан стал изгоем. Думаю, элита не была бы так безжалостна к нему, если бы он назвал имена членов нацистской партии, но партия коммунистов искуснее прятала свои преступления. Тем не менее, донос есть донос.

Откровенность перед Комиссией Маккарти дала Элиа Казану возможность работать. Кто-то сказал о нем: "Казан променял душу на плавательный бассейн". Ложь. Если он и променял душу, то не на богатство, а на творчество, и это — самая трагическая сделка с дьяволом.

Американская академия, несмотря на осуждение общества, в 1955 году присудила фильму "В порту" премию Оскар. Не приняли идеологического отношения к искусству и жюри международных фестивалей в Каннах и в Венеции, наградившие специальными призами фильмы Казана "К востоку от рая" и "В порту".

В сборнике "Избранные письма" выбор писем часто объясняется желанием редакторов избежать повторений в темах, затронутых Казаном в автобиографии 1988 года "Элиа Казан. Жизнь". А там подробно и на редкость искренне описаны, кроме истории с Комиссией, его бурные отношения с женщинами. Но и в сборнике опубликовано много писем Ка-

зана к его первой жене, в том числе одно из самых волнующих и безжалостных откровений, адресованных женам:

Я не думаю, что мужчина может прожить жизнь без любовных связей, без проступков и безрассудств, не подскальзываясь и не оступаясь. Я не хочу тебя ранить. Я люблю тебя и только хочу тебе помочь. Правда, все, что я делаю, не ведет к этому результату. Но, в отличие от тебя, я не пытаюсь быть примером совершенства. И не чувствую себя таким уж виноватым.

Вероятно, поводом для письма были подозрения жены относительно его романа с Мэрилин Монро. Казан часто заводил любовные связи, но не потому, что ему чего-то недоставало в жизни, а потому что для него это и была жизнь, ее необходимая составляющая. С первой женой Молли Тэтчер они прожили вместе тридцать один год и вырастили четверых детей, но их брак был тридцатилетней войной и закончился, как положено на войне, смертью одного из воюющих. Умерла Молли — от кровоизлияния в мозг, в возрасте пятидесяти двух лет. Казан прожил еще сорок лет, был дважды женат и умер в девяносто четыре года.

Письма Элиа Казана не являются образцом эпистолярного жанра. Рецензент сборника, театральный критик Чарльз Ишервуд, пишет в рецензии в "Нью-Йорк таймс":

Он беззаботен даже относительно знаков препинания — как будто жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на тире и апострофы. Но несмотря на торопливые фразы (или благодаря им), его письма доносят до читателя всю сиюминутную полноту эмоций — с такой непосредственностью и силой, которая искупает недостаток эпистолярного дара. Его неутомимая энергия и непобедимая сила желаний брызжут с каждой страницы книги. Яркость его сложной и противоречивой натуры даже в сугубо деловых письмах все время прорывается то там, то тут, как фонтаны фейерверка.

О Голливуде Казан пишет: "У всех все есть, кроме того, ради чего стоит жить". Но эта ядовитая наблюдательность не изменяет ему и при взгляде на себя: на свою воинственность, на вечное ожидание отпора, на постоянное состояние боевой готовности. "Я всегда работаю из окопа, — признается он драматургу Одету, — а если окопа нет, то я сам его рою". Ли Страсбергу он пишет:

Я сильно сомневаюсь в себе, особенно в сфере интеллекта. Я способен сделать фильм от начала до конца, но лишь на убеждениях (чаще всего эмоциональных), которые у меня есть относительно каждого кадра. Еще я умею долго сохранять в памяти чувства и настроения из личного опыта. Вот на этом заряде я могу сделать фильм.

В Америке либеральные коллеги Казана до самой его смерти в 2003 году не простили его предательства середины 1950-х. Когда в 1999 году девяностолетнему Казану вру-

чали Оскара за выдающиеся достижения в киноискусстве, многие в зале не только не аплодировали, но демонстративно убрали руки за спины. Историк Артур Шлезингер опубликовал яростный отклик на этот эпизод:

Либералы ждут, чтобы Казан просил прощения. Да они должны сами просить прощения – за то, что десятилетиями активно помогали сталинизму.

При самом различном отношении к истории с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, в одном сходятся все: и режиссеры, и актеры, и критики – Элиа Казан сыграл центральную роль в становлении американского театра и кино. Помимо создания главной школы американских актеров – "Актерской студии", – он боролся (правда, безрезультатно) за создание национального репертуарного театра по примеру Англии и Франции; и был пионером в борьбе за право режиссера (а не продюсера) обладать полным контролем над фильмом. Его называют "актерским режиссером" – за исключительное умение работать с актерами, но он и с драматургами работал со столь же поразительным успехом. Словом, Элиа Казан был "режиссером творцов". Он писал:

Художники – единственная наша надежда. Только они пытаются докопаться до истины. Только они пытаются понять, кто мы и куда идем. Они выставляют напоказ наш стыд, будят нас от привычного безразличия; они кричат, когда больно нам всем.

Andrew Levy *Huck Finn's America. Mark Twain and the Era That Shaped His Masterpiece.* – Simon & Schuster, 2015

Обсуждаемая сегодня книга – исследование одного из ведущих специалистов по творчеству Марка Твена – профессора университета Балтера Эндрю Леви. Книгу он назвал "Америка Гека Финна. Марк Твен и эпоха, сформировавшая его шедевр".

Роман Марк Твена "Приключения Гекльберри Финна", вышедший в 1884 году, считается до сих пор самой читаемой в Америке книгой после Библии и Шекспира. Ни один заметный критик не сомневается в том, что этот роман – литературный шедевр. Однако нет другого произведения американской литературы, которое с момента его выхода в свет и до сих пор столько бы раз переосмысливалось, критиковалось, переоценивалось, издавалось с купюрами, временно изымалось из библиотек или вовсе запрещалось. Сам Марк Твен, видимо, предвидел неприятности, потому что снабдил первое издание романа таким предупреждением:

Лица, которые попытаются найти мотивы в этом повествовании, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем

мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.

Гонения на роман "Приключения Гекльберри Финна" активизировались дважды: первый раз – при жизни автора – в конце XIX века, а следующий раз – почти через сто лет – во второй половине XX века. Этот второй период я хорошо помню: книгу, несмотря на несомненный аболиционизм автора, интерпретировали как расистскую и кое-где начали изымать из школьных библиотек. Варианты такой интерпретации всплывают до сих пор. В книге "Америка Гека Финна" профессор Леви пишет:

Современная борьба вокруг "Гека Финна" – это борьба против "слова на букву Н" (имеется в виду оскорбительное для афроамериканцев слово "ниггер", которое повторяется в книге двести раз – разумеется, в репликах персонажей романа). А поскольку "Приключения Гекльберри Финна" традиционно считается литературой для детей, то обилие оскорбительных слов у многих сейчас вызывает сомнение в уместности изучения этого романа в средней школе. Однако в те времена, когда книга увидела свет (в 80-х годах XIX века), шум вокруг нее был поднят совершенно по другому поводу.

80-е годы XIX века были в Америке (помимо всего прочего) годами радикальных перемен в отношении общества к детям и их воспитанию. Детей впервые стали рассматривать как некий социальный класс. От медицины отпочковалась отдельная область – педиатрия. В городах впервые появились площадки, оборудованные для детских игр. Резко увеличилось число так называемых общественных школ. Реформаторы отстаивали принцип обязательного школьного обучения. Консерваторы считали это гарантией испорченности подрастающего поколения. Поднималась компания против газет, злоупотреблявших детальными описаниями жестоких преступлений. (С этим, кстати, соглашался и сам Твен, писавший, что газета подает ему "самоубийство перед каждым завтраком – как коктейль, а к основному блюду поспевает убийство".) Широко обсуждалось обществом вредное влияние на подростков так называемых dime novels – грошовой, бульварной литературы. Леви пишет:

Сейчас мы понимаем "Гека Финна" как детскую литературу, но с серьезным подходом к расовой проблеме. Во времена Марка Твена все было наоборот. Книга считалась легкой историей с комическим чернокожим персонажем, в которой, однако, автор задевает серьезную и актуальную тему – воспитания детей. По понятиям тогдашних рецензентов роман изобиловал насмешками над серьезными дебатами об отношении общества к детству.

И действительно, словно в пику воспитательной серьезности своего времени, Марк Твен предлагал в качестве лекарства "для маленького отродья: стакан успокоительного

чая с чайной ложкой мышьяка". А при конвульсиях советовал "сутки вымачивать пациента в кадке с водой". При этом его детские персонажи — и в "Томе Сойере", и в "Приключениях Гекльберри Финна" были не просто детьми, но людьми. Среди них были люди с задатками благородными и низкими, были, как пишет Леви, "и жертвы, и злодеи".

Твен мастерски описывал упрямое нежелание детей подчиняться правилам, их склонность к кощунствам, их самодостаточность и открытое сопротивление попыткам их "сивилизовать" (как сказал бы Гек). А в те времена принимать детскую литературу всерьез, писать отдельно о детях — о детях без взрослых — означало взять сторону реформаторов.

В том-то и дело, что Марка Твена нельзя перетащить ни на чью сторону. Он от души сочувствовал черным рабам, боролся за их свободу, но позволял себе и подшутить над ними (как, впрочем, и над всеми остальными). Вместе с романистом Джорджем Кэйблом Твен устраивал читки вслух из романа — диалогов Гека и беглого раба Джима, имитируя артистичность и образность безграмотного красноречия обоих героев. Публика смеялась, моралисты возмущались. Известные воспитатели юношества бледнели от ужаса, читая шутки Твена по поводу детей, однако именно он создал бессмертные детские образы: Тома Сойера, Бекки Тэтчер, Гека Финна, Тома Кенти. Возможно, Марк Твен всегда оставался сам по себе, потому что принадлежность к определенному лагерю неизбежно сужает горизонты, мешает видеть то, что делается в противоположном лагере. Благородные аболиционисты его времени возмущенно боролись против популярных в Америке конца XIX века спектаклей народного театра — "менестрель-шоу", где (помимо других номеров) белые комики, вымазавшись сажей, представляли чернокожих. Леви поясняет:

Иногда эти комические номера были издевательскими, иногда трогательными, и всегда аутентичными. Молодой Твен, вглядываясь в эти простонародные, ярмарочные, часто жестокие (и уже старомодные) представления, увидел, что при желании белый человек способен сказать что-то важное голосом чернокожих, высказать, словно сквозь вуаль, то, что у него на уме. И в "Приключениях Гекльберри Финна" — в этой бурной мешанине Шекспира с Шехерезадой, цирка с философией — Марк Твен импортировал жанр менестрель-шоу в большую литературу.

Роман о Геке Финне Твен начал писать летом 1876 года в Эльмире, штат Нью-Йорк, в маленьком кабинете, где, кроме него, обитало несколько кошек. Его любимая дочь Сюзи, тогда еще маленькая, — неисправимая лгунья и фантазерка, ведущая безнадежную войну с грамматикой, — была главным прототипом Гека. Может быть, потому его образ и стал таким бессмертным, что был согрет отцовской любовью гениального автора.

Те из российских читателей, кому повезло прочесть "Приключения Гекльберри Финна" по-английски, знают, что третьим бессмертным персонажем романа является язык. Текст романа состоит по большей части из знаменитых уже монологов и диалогов Гека и Джима — полуграмотного миссурийского мальчишки и безграмотного беглого раба. И из этих диалогов встают два философа (или, по меньшей мере, два пытливых ума) и два сердца, открытых доброте и сочувствию. Уже при первой встрече Гек обещает не выдавать беглого Джима, даже если все будут его считать (как выражается Гек) "бесчестным аблицинистом". Каждый момент в романе, где говорят Гек и Джим, или смешит вас, или трогает и погружает в глубокую печаль. И за их беседами, "словно сквозь вуаль", проглядывает портрет Америки кисти Марка Твена.

Авторы номера

Аюкава Нобуо [1920–1986]. Японский поэт, критик, один из основателей поэтической группы *Арэти* [*Пустошь*, 1947–1960].

Автор модернистской лирики о Второй мировой войне.
Перевод выполнен по изданию *Ooka Makoto, Tanikawa Shuntaro. Gendai-no shijin 2: Ayukawa Nobuo (= Contemporary poets 2: Ayukawa Nobuo) / Takanashi Shigeru* [Tokyo: Tyuokoron-sha, 1984].

Витторио Серени Vittorio Sereni [1913–1983]. Итальянский поэт. Лауреат поэтических премий Академии деи Линчеи [1972], Виареджо [1982] и Багутта [1982, за переводы из французской поэзии].

Автор стихотворных сборников *Алжирский дневник* [*Diario d'Algeria*, 1947], *Обломки поражения* [*Frammenti di una sconfitta*, 1957], *Ближайшие окрестности* [*Gli immediati dintorni*, 1962], *Человеческие инструменты* [*Gli strumenti umani*, 1965], *Изменчивая звезда* [*Stella variabile*, 1982]. Переводчик стихов А. Камю, Г. Аполлинера, Э. Паунда, Р. Шара, У. Карлоса Уильямса, А. Френо и др. На русском языке стихи Серени публиковались в *ИЛ* [1968, № 1] и различных антологиях.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Алжирский дневник* [*Diario d'Algeria.* Milano: Mondadori, 1965].

Генрик Ворцель Henryk Worcell [1909–1982]. Польский прозаик и публицист.

Автор трех романов, в том числе дебютного романа *Заколдованные столики* [*Zaklęte rewiry*, 1936], семи сборников рассказов, нескольких сборников репортажей и очерков. В *ИЛ* опубликованы его рассказы [1983 № 10].
Рассказ *Вотан уедет на поезде* [*Wotan odjedzie pociągiem*] впервые опубликован в еженедельнике *Zycie Literackie* [1963, № 17].

Дариуш Томаш Лебёда Dariusz Tomasz Lebioda [р. 1958]. Польский поэт, прозаик и литературный критик, лауреат нескольких польских литературных премий.

Автор более двадцати поэтических сборников, в том числе *Самоубийцы из-под большого автомобиля* [*Samobójcy spod wielkiego wozu*, 1980], *Поле умирающей сизоворонки* [*Pole umierającej kraski*, 1988], *Плачь, мое поколение* [*Płacz, moje pokolenie*, 1990], *Череп Декарта* [*Czaszka Kartezjusza*, 2003], *Продавец жаворонков* [*Sprzedawca skowronków*, 2013] и др., а также сборника рассказов *Мальчишки с кладбища Святой Троицы* [*Chłopcy z cmentarza Świętej Trójcy*, 1997] и более десятка литературно-критических книг.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Череп Декарта* [*Czaszka Kartezjusza.* Warszawa: IBiS, 2003].

Янош Хаи Háy János [р. 1960]. Венгерский прозаик, поэт, драматург. Лауреат премий Милана Фюшта [2001],

Автор романов *Джигердилен (именины сердца)* [*Dzsigerdilen (a szív gyönyörüsége)*, 1996], *Парень* [*A gyerek*, 2007; рус. перев. 2014], *Подземный гараж* [*Mélygarázs*, 2013], сборника рассказов *По эту и по ту сторону брака* [*Házasságon innen és* túl, 2006], сборников стихов *Боги* [*Istenek*, 1998], *Теплая двер-*

Атилы Йожефа [2002], Шандора Мараи [2009] и др.

ная ручка [*Meleg kilincs*, 2008], *История одного любовного стихотворения* [*Egy szerelmes vers története*, 2010], пьесы *Сын дяди Питю* [*A Pityu bácsi fia*, 2005] и др.
Публикуемый текст взят из книги *Выбраться к солнцу* [*Napra jutni*. BUDAPEST: EURÓPA KONYVKIADO, 2014].

ПРИМО ЛЕВИ
PRIMO LEVI
[1919–1987]. Итальянский писатель. Лауреат премий *Стрега* [1979], *Виареджо* [1982], *Кампьелло* [1963, 1982] и др.

Автор книг *Человек ли это?* [*Se questo è un uomo*, 1948; рус. перев. 2001], *Передышка* [*La tregua*, 1963; рус. перев. 2002], *Если не сейчас, то когда?* [*Se non ora, quando?* 1982], *Периодическая система* [*Il Sistema periodico*, 1984; рус. перев. 2008], *Канувшие и спасенные* [*I sommersi e i salvati*, 1986; рус. перев. 2010] и др. Перевел роман Ф. Кафки *Замок*.
Публикуемые стихотворения взяты из книги *В нежданный час* [*Ad ora incerta*. MILANO: GARZANTI, 2004].

ГАСПАРЕ ДОРИ
GASPARE DORI
[р. 1967]. Итальянский драматург.

Автор пьес *Дон Джованни Тенорио* [*Don Giovanni Tenorio*, 1997], *Рецепт* [*La Ricetta*, 1999], *Долгий путь слонов* [*Il lungo cammino degli elefanti*, 2002], *Сражение в Люксембургском саду* [*Battaglia al Giardino del Lussemburgo*, 2002], *Послеполуденный воскресный невроз мясника-орденоносца* [*Nevrosi domenicopomeridiana di un macellaio pluridecorato*, 2004] и др.; автор монологов для театра *Хурия* [*Houria*, 2002], *Лилли* [*Lilli*, 2002].
Публикуемая пьеса *Алмазы* [*Diamanti*, 2003] прислана автором в рукописи.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ЛИВЕРГАНТ
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель *Почетного диплома критики зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], *Фицджеральд* [2015]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

ГЕНРИ ВАЛЕНТАЙН МИЛЛЕР
HENRI VALENTINE MILLER
[1891–1980]. Американский писатель и художник.

Автор романов *Тропик Рака* [*Tropic of Cancer*, 1934; рус. перев. 1992], *Черная весна* [*Black Spring*, 1936; рус. перев. 1994], *Тропик Козерога* [*Tropic of Capricorn*, 1939; рус. перев. 1996], составивших автобиографическую трилогию, *Сексус* [*Sexus*, 1949; рус. перев. 2004], *Плексус* [*Plexus*, 1953; рус. перев. 2000], *Нексус* [*Nexus*, 1960; рус. перев. 2009] и др.
Эссе *Бенно – дикарь с Барнео* [*Benno, The Wild Man From Borneo*] взято из сборника *Мудрость сердца* [*The Wisdom of the Heart*, 1937], эссе *Гамлет. Письмо*

[*Hamlet: a Letter*] — из сборника *Космологический глаз* [*The Cosmological Eye*, 1939].

Мадам де Севинье
Madame de Sauvigney
[Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье]
[Marie de Rabutin-Chantal]
[1626–1696]. Французская писательница.

Автор самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия. Ей принадлежит афоризм *Чем больше я познаю людей, тем больше люблю собак.*
Публикуемые письма переведены по изданию *Переписка. Тт. I, II, III. Комментарии и аннотации Роже Дюшена* [*Correspondance. Volumes I, II, III Texte etabli, presenté et annoté par Roger Duchêne.* Gallimard, Bibliothèque de la Pléïade, 1972].

Григорий Геннадиевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его записки *По Ирландии* [2008, № 7], *Нотегоот* [2009, № 12], *Копенгаген* [2012, № 5], *Мраморная крошка, или Итальянские каникулы* [2013, № 6], а также переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], М. Уолтерс [2010, № 7], эссе [2007, № 6] и стихи [2015, № 2] Ш. Хини.

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Переводчики

Артем Третьяков
[р. 1982]. Поэт, переводчик с японского. Кандидат филологических наук.

Его стихи печатались в журнале *Урал*.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Третьякова
Переводчик с японского, докторант Университета искусства и дизайна в г. Киото.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Петр Епифанов
[р. 1963]. Переводчик с итальянского и французского языков.

Автор стихов, прозы, статей, посвященных жизни и наследию Симоны Вейль. Среди предметов особого интереса — литература Ренессанса и барокко, итальянская поэзия XX века [Джузеппе Унгаретти, Дино Кампана, Клементе Ребора, Пьеро Джайе, Витторио Серени, Антония Поцци, Альда Мерини и др.]. В его переводе вышли книги С. Вейль *Формы неявной любви к Богу* [2012]; А. Поцци *Слова. Стихи 1929—1938 гг.* [2013], переводы печатались также в журнале *Континент*. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Д. Унгаретти [2011, № 2; 2014, № 8], Д. Кампана [2012, № 10] и А. Поцци [2013, № 6].

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле, Е Анджеевского, Э. Ментцеля, Т. Ружевича, А. Барта, З. Хаупта, П. Черского и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Владимир Леонардович Штокман
[р. 1960]. Переводчик с польского. Финалист конкурса Польского института книги на лучший перевод стихов и прозы Чеслава Милоша [2011].

В его переводах публиковались стихотворения классиков польской литературы Л. Стаффа, К. Иллакович, К. Вежинского, Ю. Чеховича, К. И. Галчинского, Р. Брандштеттера, Ч. Милоша, К. К. Бачинского, С. Лема, Т. Ружевича, Э. Стахуры, Р. Воячека и др., а также современных польских поэтов. В *ИЛ* печатается впервые.

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дери [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], премии *Иностранная литература* [2011], премии Милана Фюшта [2011], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

Переводил произведения Л. Немета, М. Сабо, Д. Конрада, И. Кертеса, Я. Хаи, П. Фаркаши, Ш. Мараи, М. Корниша, Л. Дарваши, Л. Краснахоркаи, С. Эрдега, Д. Ийеша, Д. Драгомана, И. Силади, Д. Петри, И. Оравца, Б. Балашши, Ф. Кёльчеи, Л. Сабо и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Поэт, переводчик. Профессор Литературного института имени А. М. Горь-

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли, стихи Умберто Сабы, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Марио Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

кого, Почетный профессор Сиенского университета [Италия], Почетный доктор Римского университета *Сапиенца*. Командор ордена Звезды Итальянской Солидарности, лауреат премии Монтале [1983], Государственной премии Италии в области художественного перевода [1996], премий *ИЛлюминатор* [2001], *Монделло* [2010], *Венец* [2011], *Мастер* [2012], За вклад в литературу поэтического фестиваля *Поэстате* в Лугано [2013].

Татьяна Юрьевна Ребиндер
Переводчик с английского, преподаватель английского языка в институте имени Сурикова.

В ее переводе вышла книга Э. Мортона *Анджелина. История без купюр* [2012] и пьесы А. Рэнд *Идеал* и *Ночью 16 января* [2012]. Автор статей в журнале *У Книжной полки*. В *ИЛ* печатается впервые.

Валерий Михайлович Николаев
[р. 1942]. Переводчик с итальянского.

В его переводе публиковались произведения Т. Гуэрры, Э. Моранте, А. Табукки, А. Барикко, Н. Амманити, С. Бенни, А. Николаи, Л. Лунари, Г. Дори, Д. Пайетты, Р. Реджиани, А. Альтери, М. Драго, С. Дациери, Э. Веско, М. Листри, С. Винчи, Л. Ликальци, О. Капеллани и др.
В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы А. Табукки [1997, № 9].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934—2011]. Переводчик с испанского, португальского, французского, польского языков. Лауреат премий *ИЛ* [1993], *Иностранной литературы* [1995], *ИЛлюминатор* [2001], *Мастер* [2007].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского и др.; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996], премии журнала *Дружба народов* [1999], премии *Александр Невский* [2010], обладатель *Почет-*

Автор книги, посвященной истории, культуре и литературе Испании, *Тема с вариациями* [2014], пьесы-сказки *Свищет птичка-невеличка* [2014], цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко, ряда работ по истории Первой мировой войны. С 1977 г. печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, М. Мачадо, Р. Гомес де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассет, А. М. Матуте, С. Вальехо, испанские народные сказки, ис-

ного диплома критики зоИЛ [2013].

панская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского, эссеист. Лауреат премии Инолиттл [2000], обладатель *Почетного диплома критики зоИЛ* [2010], кавалер ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Манрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса. В *ИЛ* в его переводе опубликованы романы М. Пуига *Крашеные губки* [2004, № 2] и *Падает тропическая ночь* [2010, № 10], книги А. Монтерросо *Черная Овца и другие басни* [2007, № 7], фрагментов книги Х. Бенета *Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая* [2009, № 12], рассказы Г. Ньельсена *Марвин* [2010, № 10], О. Бустоса Домека [2013, № 4], А. Ди Бенедетто [2014, № 9] и Пиньеры [2015, № 1], а также *Из сборника сценариев и сюжетов "Мелодраматическая судьба"* М. Пуига [2013, № 4].

Мария Игнатьева [Мария Юльевна Оганисьян]
Поэт, эссеист, переводчик с испанского и каталанского языков, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка. Живет в Барселоне.

В ее переводе в *ИЛ* опубликованы стихи Жузепа Карне [2010, № 11].

Юрий Николаевич Гирин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик с испанского. Доктор филологических наук.

Автор монографии *Поэзия Хосе Марти* [2002], книг *Поэтика сверхпредельности. К интерпретации художественных процессов латиноамериканской культуры* [2008] и *Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность* [2013], статей по истории латиноамериканской литературы и теории культуры. Переводил Х. Х. Ареолу, В. Уйдобро. В его переводе вышла книга Л. Сеа *Философия американской истории* [1984]. В *ИЛ* в его переводе напечатаны стихи в книге Пабло Неруды *Дом на песке* [2004, № 10], *Инвекции* Х. Х. Арреолы [2005, № 12], рассказы М. А. Кироа [2006, № 7], статья Ф. Ортиса [2015, № 1] .

Юлия Леонардовна Оболенская
Испанист, переводовед, доктор филологических наук, заслуженный профес-

Автор более 115 научных работ, пособий, монографий, в том числе *Мифы и легенды народов Испании* [2004], *Диалог культур и диалектика перевода. Судьбы произведений русских писателей 19 века в Испании и Латинской Америке* [1998], *Художественный перевод и межкультур-*

сор, заведующая кафедрой иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ, руководитель Центра иберо-романских исследований.

ная коммуникация [2010], научных, научно-популярных и энциклопедических словарей.

Анастасия Юрьевна Миролюбова
Переводчик с испанского, итальянского, французского, английского, кандидат филологических наук, доцент.

Автор статей по компаративистике, сопоставительной стилистике; литературе Испании и Латинской Америки; итальянской литературе. Переводила с испанского Ф. Гарсиа Лорку, М. де Унамуно, Х. Кортасара, А. Бьоя Косареса, Х. Л. Борхеса, М. де Сервантеса и др.; с итальянского — Г. Гвиницелли, Л. Медичи, Ф. Феллини, Т. Гуэрру, У. Эко, А. Барикко и др.; с французского — А. де Монтерлана, Ж. Жене, А. Жарри, А. Роб-Грие и др.; с английского — С. Рушди, М. А. Сэлинджера. В *ИЛ* публикуется впервые.

Евгения Викторовна Афиногенова
Филолог, переводчик с испанского и португальского языков, профессор испанского языка, литературы и культуры в Университете Маркетт [Милуоки, Висконсин, США].

Автор книг и статей по истории испанской литературы, философии, искусства и туризма. В ее переводе со старо-испанского опубликована книга *Лапидарий, или Книга о Камнях* А. Мудрого. В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Игоревна Киеня
Переводчик с испанского и каталанского языков, член Союза писателей Москвы.

В ее переводе публиковались рассказы С. Эсприу, П. Кальдерса, Ф. Аялы, повесть М. де Педролу *Временное пристанище*, роман Х. Пардо *А теперь пора умирать*, философский трактат Х. Антонио Марины *Анатомия страха* и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы М. Барбаль и документальная проза Ж. Пла и Ж. М. Эспинаса [2010, № 11], главы из книги *Истории страсти* Р. Монтеро [2011, № 5] и др.

Александр Севастьянов
[р. 1971]. Историк, переводчик с испанского.

В его переводе опубликованы книги Х. А. Марка *Жди меня в Гаване* [2010] и М. Ланды *Крокодил под кроватью* [2010]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Андрей Федорович Кофман
[р. 1954]. Литературовед, латиноамериканист, писатель, доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Лауреат Российской национальной премии в области детской литературы [2006].

Автор монографии *Латиноамериканский художественный образ мира* [1997], книг *Тьерра Аделанте!* [2003], *Света* [2006], *капитаны* [2007], *Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки* [2009], *Испанский конкистадор. От текста к реконструкции типа личности* [2012].

Марина Анатольевна Абрамова
Переводчик с каталанского языка. Доцент кафедры истории зарубежной литературы МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор курса истории каталонской литературы. В ее переводе [в соавторстве] вышли книги Ж. Мартуреля *Тарант Белый* [2005], Б. Бенета *Море*, новеллы К Мензо. В *ИЛ* публикуется впервые.

Татьяна Ивановна Пигарева
Переводчик с испанского и каталанского языков, кандидат филологических наук, руководит отделом культуры Института Сервантеса в Москве.

Автор книг *Автобиография Москвы. Частная коллекция городских историй и Мадрид*. В ее переводе опубликованы эссе Ортеги-и-Гассета и Сальвадора Дали, манифесты каталонского авангарда, стихи М.-Ма. Марсал, Сальвата Папассейта и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи Х. Гильена [2005, № 7].

Елена Юрьевна Калявина
Музыкант, филолог, переводчик с английского и польского языков. Победитель конкурса на лучший перевод стихов Т. Ружевича [2013], рассказы *Четыре затрещины* Ф. С. Фицджеральда и *Танец блаженных теней* Э. Манро в ее переводе дважды [2012 и 2013] входили в шорт-лист премии Норы Галь.

В ее переводах опубликованы романы Р. Кляйн, Э. Страут, Э. Уортон, К. Мак и Д. Кауфман, рассказы Ф. С. Фицджеральда, Э. Манро, впервые на русском языке опубликована поэма Дж. Керуака *Море* из романа *Биг Сур*, переводит стихи У. Блейка, Р. Л. Стивенсона, Э. Дикинсон, С. Тисдейл, П. Г. Вудхауза, Ф. С. Фицджеральда и др. — с английского языка, Б. Лесьмяна, В. Шимборской, Т. Ружевича — с польского. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Т. Ружевича [совместно с А. Ситницким; 2014, № 6], Ф. С. Фицджеральда [2014, № 6] и Р. Брука [2014, № 8].

Сергей Борисович Райский
[р. 1952]. Переводчик с французского.

В его переводе опубликованы книги Д. де Вильпена *Сто дней Наполеона Бонапарта, или Дух самоотречения* [2003], М. Турнье *Полет Вампира* [2004], Б. Сандрара *Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской. Жизнь как поэма* [2010]. Участник проекта *Транссибирский экспресс Блез Сандрар*[2010]. В *ИЛ* опубликован его перевод отрывка из романа В. Н'Зонде *Сердце сынов леопарда* [2012, № 7].

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.4.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 8530.
Тираж 3200 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.ru
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

[6] 2015

РОМАН ЛУИСА ДЕ ЛИОНА “ВРЕМЯ НАЧИНАЕТСЯ В ШИБАЛЬБЕ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “НЬЮ-ЙОРКЕР” / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ / “НЕВИДИМАЯ ТЮРЬМА. СЦЕНЫ ИЗ ИРЛАНДСКОГО ДЕТСТВА” ПЭТА БОРАНА / ДЖОН АПДАЙК В РУБРИКЕ “НИЧЕГО СМЕШНОГО” / ПЕРЕПЕРЕВОД: ПОЭМА ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА “ЛИТТЛ ГИДДИНГ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России, подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2015, №5, 1–288

ISSN 0130-6545 15005
9 770130 654770